АНДРЕЙ СТОЛЯРОВ
АЛЬБОМ ИДИОТА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Повести о таинственной магии Петербурга. Писатель находит тайну «абсолютного текста», в результате чего из слов создает людей, которые начинают реально жить… Из-под привычного облика города проступает его второе лицо – загадочная Ойкумена, очарованное королевство, где замерло время, но идет яростная война за власть… Останавливается сердце Санкт-Петербурга: прорастает трава на улицах, превращаются в болота площади, начинается смешение эпох, мифов, реальности… «Петербургский текст» во всех своих воплощениях.

- Андрей Столяров
  -
  - Ворон
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая
  - Альбом идиота
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
  - Сад и канал
    - 1. Зверь пробуждается
    - 2. Зверь мучается
    - 3. Зверь умирает
    - 4. Сад и Канал
- notes

○ 1

Андрей Столяров
Альбом идиота (сборник)

© Столяров А. М., 2015
© ООО «Литературный Совет», 2015

* * *

Ворон
Повесть

Глава первая

Дверь мне открыла Ольга. Она чуть помедлила, словно ожидала увидеть кого-то другого, и лишь потом наклонила голову:

– Здравствуй.

Я ждал.

Она повернулась и неохотно позвала:

– Антиох!..

Голос утонул в громадной черноте коридора. Скрипнула половица. Под обоями вдоль стены пробежал легкий шорох.

– Почему без света? – поинтересовался я.

Ольга промолчала, опустив неприязненные глаза.

Тут же что-то посыпалось в глубине квартиры. Грохнула дверь. Яркий солнечный прямоугольник пересек доски пола.

В освещенном проеме выросла человеческая фигура.

– Ага! – закричал Антиох. – Вот кто мне нужен!

– А ты в этом уверен? – осторожно спросил я.

Однако Антиох, уже каким-то образом очутившись в прихожей, дергал меня за рубашку.

– Пошли, пошли!..

Ольга отвернулась.

Плохо дело, подумал я.

Мы двинулись по коридору. Он тянулся до бесконечности, и я каждый раз поражался его необыкновенным размерам. Хоть на велосипеде езди. Как это Антиох сумел отхватить такую квартиру? Комнат семь или восемь. Зачем ему столько? Живут они в двух, а другие стоят заброшенные – дурея от старости и безлюдья. Щелкают пыльные стекла, шелушатся и рассыхаются подоконники, с тоской заглядывают в эту сонную пустоту времена года.

– Садись!

Мы уже были в комнате, и я щурился от внезапного солнца. Антиох нетерпеливо толкнул меня, и я сел на подвернувшийся, к счастью, стул.

– Слушай!..

Лихорадочно зашелестели страницы.

– Есть безусловный, бесконечный и вечно действующий субъект, или Я. Вечно действуя, безусловное Я порождает из себя, как собственную противоположность, не-Я, или внешний мир. Внешний мир хотя и противопоставлен Я, но не существует в качестве безусловно независимого от Я; в свою очередь то Я, которому противостоит природа, или не-Я, не есть уже

безусловное Я. Таким образом, безусловное Я в самом себе разделяется и переходит в ограничивающие друг друга, противоположные друг другу и уже не безусловные Я и не-Я.

– Ну? – внезапно остановившись, спросил он.

– Что – ну?

– Чувствуешь?

– Нет.

– А если подумать?

– По-моему, бред какой-то, – честно признался я.

Антиох зажмурился и со стоном замотал головой. Рассыпались по плечам дикие волосы. Он зарос больше, чем полагается нормальным людям. Вдруг отшвырнул книгу, и – бах! – ручейком под обоями потекла рыхлая штукатурка.

– Сейчас, сейчас… Где-то здесь… Но где… Ах, чтоб тебя!..

Теперь можно было разглядеть комнату. Солнце заливало ее целиком и, по-моему, еще больше подчеркивало царящий здесь хаос: подушку, валяющуюся на паркете, перевернутый вверх ножками стул, выпотрошенное нутро кое-как поставленных друг на друга коричневых книжных полок. Из угла скалило желтоватые зубы пианино, на котором, насколько я помнил, никто никогда не играл, а совсем рядом со мной, на диване, почему-то застеленном скомканным шерстяным одеялом, свесив почти до пола деревянные ноги в загнутых башмачках, уныло сидел Буратино. Полосатый его колпачок съехал на бок, а заточенный, будто шило, нос выдавался, как и положено, далеко вперед. Очень натуральный был Буратино: большой, раскрашенный, совсем как живой.

Я даже немного отодвинулся от него.

Но главное, везде, куда ни посмотришь, были навалены книги. На полу, на столе, на диване, на облупившемся подоконнике. Они лежали стопками и поодиночке, открытые или с торчащими изнутри потрепанными закладками, в большинстве своем чистые, но иногда исчерканные меж строк густыми чернилами. Их было потрясающее количество – горы мыслей, океаны мудрости, бездны неутоленных страстей.

Летний июньский воздух звенел пылью и метафизикой.

Чтобы прочесть их, нужна была, вероятно, целая жизнь. Если вдобавок не есть, не спать и не ходить на работу.

Я с уважением посмотрел на Антиоха. Он между тем вытащил откуда-то, чуть ли не из-за батареи, толстенный увесистый том темно-синего цвета и, постанывая от нетерпения, искал в нем нужное место.

Вдруг поднял указательный палец.

– Вот! Нашел!.. Действительность есть самостоятельное

отношение. Она обладает моментом явления, или наличного бытия, которое есть отношение к самому себе, и моментом в-себе-бытия, или сущности своего наличного бытия. Началом знания является непосредственное, лишенное определений понятие бытия; по своей бессодержательности это понятие представляет собой то же самое, что и ничто. Как мышление такой пустоты ничто в свою очередь есть бытие и благодаря своей чистоте – такое же бытие, как и первое. Следовательно, между бытием и ничто нет различия.

Он восторженно поглядел на меня.

– Слушай, а давай я тебя подстригу, – предложил я, усаживаясь поудобнее. – Жарко ведь так. Ты только не сомневайся – я немного умею.

– Значит, не понял, – разочарованно сказал Антиох. – Подожди, подожди, а тогда вот это?

Он быстро перелистнул страницу.

– Реальное, или нечто, отличное от другого реального, сначала равнодушно к нему, так как в своем инобытии оно вместе с тем есть и в себе. Различие одного нечто и другого сначала заключается в границе как в середине между ними, в которой они есть одновременно и суть, и не суть.

Он взмахнул синим томом.

– А теперь?

– Ты здесь когда-нибудь прибираешься? – терпеливо спросил я.

Антиох вздрогнул, будто наткнувшись на невидимое препятствие. Беззвучно пошевелил губами и наконец жалобно спросил:

– Неужели так-таки ничего?

– Почему ничего? – смягчился я. – Все понятно. Начало знания в инобытии… которая… эта… одновременно суть и не суть.

Он молчал.

– Но я думаю, что она все-таки – суть, – твердо сказал я.

– Кто она?

– Инобытие.

– Я тебе еще раз прочту – медленно.

– Нет, не надо!

Антиох выронил книгу. Она громко ударилась о паркет и, мгновение постояв на твердом своем корешке, развалилась на две половины.

– Они догадывались, – сказал он почти неслышно. – Они догадывались, но не всегда осмеливались верить этой невозможной догадке. И Кант, и Фихте, и Гегель, и Спиноза,

и Бюхнер… И Шопенгауэр, и Кроче, и Ван-Фогт, и Бергсон… Между бытием и ничто нет различия…

Только сейчас я понял, как мне здесь неудобно сидеть. Стул, утонувший ножками в книжных завалах, опасно кренился. Я попытался было найти равновесие, но он выскользнул из-под меня и мягко повалился на бок. Пришлось перебраться на подоконник. Мне было очень не по себе. Я еще никогда не ходил по книгам.

Антиох поворачивался за мной, как локатор.

– Мироздание основано на ритме, – не переставая, говорил он. – Единичное слово не играет особой роли. Только ритм отделяет вымышленный мир от существующего. Лепит фактуру. Ничто есть просто неоформленное бытие…

– Я, собственно, вот зачем, – сказал я, боком сдвигая стопку книг, чтобы устроиться. – У нас в институте появилось место лаборанта. Ты как, случайно не интересуешься?

– Это замкнутый ритм, – сказал Антиох. – Глухой и темный. Совершенно непроницаемый внешне. Видишь только свое отражение. Бледное лицо в черной воде. А под ним, оказывается, странная жизнь – шевеление водорослей, паническая суета мальков, медленный ход багровых тихих улиток…

– Работа не так чтобы до упора, – сказал я. – Не переломишься. К тому же один день библиотечный, то есть свободный. Опять же зарплата – тебе, вроде, не помешает?

– Надо учиться смотреть изнутри, – сказал Антиох. – Видеть сразу оттуда. Воспринимать не форму, а содержание. Чувствовать самую суть – тогда, может быть, и получится…

– Главное, начальник у тебя будет покладистый, – сказал я. – Вот за это просто могу поручиться. Давить не станет. Когда и отпустит пораньше. На редкость приличный и порядочный человек. Сейчас таких поискать. Я начальник. Меня повысили.

Секунд пять Антиох внимательно смотрел на меня, а потом крепко зажмурился и сказал:

– Вероятно, можно создать другой мир. Ничуть не хуже. Такой же вещественный, как и этот, даже, наверное, интереснее. Они это знали. Они подошли вплотную к той крайней черте, которая отделяет вымышленное от реального. Нужно было сделать еще один шаг. Всего один. Им не хватило смелости или, быть может, воображения…

И тут я сдался. Я всегда сдаюсь, когда кто-то ставит себя рядом с Гегелем. Я вот, например, не ставлю. Мне и в голову не приходит. Гегель – это Гегель, а я – это я. И еще я подумал, что Антиох сильно изменился за последнее время: весь как-то высох, потемнел как папирус, движения у него стали резкие.

В глазах появился сухой непреклонный блеск. Он напоминал мне пророка, который в любую минуту может взять в руки посох и пойти по дорогам, предвозвещая очередную боговдохновенную истину. Ничто его не остановит. Ничто не смутит его и ничто не заставит уклониться от цели. Он либо победит, либо погибнет.

Таким бессмысленно возражать.

Я тоже немного прикрыл глаза.

Этим летом необычайно цвели тополя. Свежие пупырчатые сережки, как гусеницы, в неисчислимом множестве высовывались из почек. Клейкие оболочки лопались. Тревожный шорох цветения наполнял весь город. Мириады белых хлопьев текли в воздухе. Медленно и светло вздувался в оцепенении улиц густой летний буран. Пух колеблющейся белизной лежал на карнизах, собирался вдоль тротуаров, сугробами пены плыл в зеленоватой воде каналов. Началось это неистовство примерно неделю назад и с тех пор все усиливалось – шалея и доходя до безумия. Словно сам воздух ежесекундно рождал распадающиеся облака горячего тополиного снега.

И одновременно навалилась оглушающая жара. Волны прозрачного зноя бродили по площадям и набережным. Небо сразу же выцвело – как будто вылиняло в рассоле. Камень обжигал. Душный блеск градусников уходил за отметку «тридцать». Плавился асфальт – приклеивая к себе подошвы. Трещали стекла. Фиолетовый воздух дрожал от земляных испарений. Пустынным маревом клубились задыхающиеся проспекты, и по дну их, пыхтя натужными выхлопами, ползал городской транспорт.

Невозможно было существовать в эти дни. Сознание меркло. Люди со слабым сердцем падали прямо на улицах. Во множестве путали адреса, не узнавали старых знакомых. В учреждениях мертвели брошенные кабинеты, а из магазинов уже к полудню исчезали даже редкие покупатели. Духота пропитывала влажные стены квартир. Глохли телевизоры. Вода из кранов шла теплая и вызывающая отвращение к жизни.

Голос Антиоха вывел меня из дремоты.

– Создать новый мир! – торжественно вещал он, посверкивая глазами. – Своим воображением овеществить все, что в нем должно быть. Сделать людей, землю, ночной звездный купол. Само необъятное миросоздание… И – раствориться в нем. Ведь все приходится создавать из себя. Другого материала нет. Чем больше мой мир, тем меньше я сам. И тем бледнее, тоньше все это.

Он шире распахнул невидящие глаза.

– Помнишь, мы говорили об «абсолютном тексте»?

– Нет, конечно, – сказал я, обмахиваясь потной ладонью. – И не надейся. Не хватало мне еще – помнить…

– Он есть, – очень серьезно сказал Антиох. Вдруг замер и повел пальцем точно по невидимой строчке. Голос у него налился внутренним звуком. – Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. Кончились городки и сторожки, вошли в степи Дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По дальнему краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки – желты, зелены. Скрипом телег, ржанием лошадей наполнилась степь. Вековечной тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста – ни дорог, ни троп. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней…

У меня вдруг слабо кольнуло сердце. То ли духота так подействовала, то ли утомительное сияние льющегося в комнату солнца. Однако стены в выгоревших обоях как будто заколебались. Комната задрожала и расплылась в искрящемся бледно-зыбком тумане. Дунул прямо в лицо горячий ветер. Волнами пошла шелковая трава, простершаяся до горизонта. Ударил в нос острый запах земли. Крикнула птица и, складывая треугольные крылья, стремительно понеслась над степью. Я вздрогнул. Белый матерый волчина со вздыбленной на загривке шерстью строго смотрел на меня. Желтели глаза. Палочки вертикальных зрачков в них быстро сужались и расширялись. Вот он чуть дернул ушами, повел назад головой, прислушался. Долетело невнятное: скрип… скрип… скрип… оклики… щелканье, по-видимому, длинных кнутов… Синее бездонное небо распахнулось над степью. Я не мог повернуть головы. А волк не сходя с места перебрал мускулами напряженных ног, махнул хвостом, попятился и вдруг как призрак исчез в колышущемся разнотравье…

Очнулся я от того, что Антиох сжал мне плечи. Пальцы у него были жесткие, и он с острым любопытством вглядывался в меня, вытянув шею.

Жадно спросил:

– Что, что, что?

– Ну ты и того – совсем уже… – обалдело сказал я.

– Видел?

– Фу-у…

Он стал быстро-быстро обкусывать ноготь на большом

пальце.

– Было так: все померкло, как будто выключили электричество. Некоторое удушье, не хватает воздуха, стеснение в сердце. И вдруг, сразу – малиновое солнце, лес, громадные черные ели – скрипят и стонут. Синие лишайники. Крохотные такие, яркие огоньки на папоротнике. Птицы поднимаются из сумеречной травы и тянутся вдаль, к закату…

– Пошел ты куда подальше, – ответил я, окончательно приходя в себя. – Ерундой тут занимаешься, черт те чем…

– Я тоже не отчетливо представляю, – отпуская меня, с сожалением сказал Антиох. – Чувствовать – чувствую, а вот увидеть пока не могу. Все – мутно, мутно, как через плохое стекло.

Он поднял с пола книгу, по-моему, какого-то немецкого автора, открыл ее наугад, задумчиво скользнул глазами по тексту и вдруг не торопясь, как будто в этом не было ничего особенного, начал выдирать оттуда страницу за страницей – с мучительным треском.

– Ну ты это как-то уж чересчур, – сказал я растерянно.

В голове была пустота, и слипались тяжелые веки. Меня ужасно клонило в сон. Напрасно, видимо, я решил его навестить. Ему уже ничем не поможешь. Пустое это занятие.

Кто-то нетерпеливо тронул меня за локоть. Буратино, до этого как деревянный сидевший в углу дивана, оказывается, сполз оттуда и стоял теперь вплотную ко мне, держа двумя пальцами прищемленную папиросу.

– Огоньку, дядя, не будет? Пересохло от ваших разговоров, – хрипловатым голосом сказал он. – Ну чего уставился? Спрашиваю, огоньку у тебя не найдется? – И не дождавшись ответа, махнул рукой. – А, ладно… все вы тут чокнутые…

– Странная игрушка, – сказал я, машинально отталкивая колючий нос.

– Сам ты игрушка, дядя, – обиделся Буратино. – Залил бельмы к вечеру, ничего не соображаешь.

И вдруг, дернувшись крепенькой головой вперед, больно укусил меня за палец мелкими, пронзительными зубами.

Глава вторая

Неделю спустя я возвращался домой с работы.

Было уже довольно поздно, день сгорел, а легкий пепел его развеялся. Тени белых ночей витали над городом. Настоящей темноты не было: в просветах каменных улиц стояла беловатая мерклость.

Переулок, где находился мой дом, тянулся от проспекта до набережной канала. Он был узкий, как будто здания, вначале построенные вплотную, немного раздвинули, и зиял подворотнями, подкарауливающими случайных прохожих. В звериных оштукатуренных пастях сгущался мрак.

Очень неприветливый был переулок.

Я невольно оглядывался.

Однако за спиной неизменно оказывалась серая асфальтовая пустота, и летящее эхо шагов лишь подчеркивало мое одиночество.

Светили желтые окна.

И все-таки предчувствия мучили меня не напрасно. Когда до моей парадной, приоткрывающей двери в лестничную темноту, оставалось всего метров пятьдесят-семьдесят, под аркой ближайшей ко мне в этот момент подворотни шевельнулась притаившаяся фигура.

Я замедлил шаги.

У нас в переулке это бывает. Вот так, иногда совершенно молча, стоят по два, по три человека. Неизвестно, зачем они тут стоят и чего ждут в такое позднее время, но – стоят почему-то и ждут, с неприятным упорством разглядывая всех проходящих мимо. Облегченно вздыхаешь, когда они оказываются где-то сзади, и тем не менее еще долго чувствуешь на спине их оловянные взгляды.

Ощущение это не прибавляет радости жизни.

Я не то чтобы испугался, но на всякий случай взял немного левее. Фигура тоже взяла немного левее. А когда я свернул вправо, пожалуй уже ни на что не рассчитывая, фигура переместилась туда же, загородив мне дорогу.

Первое, что до меня дошло, – это дворник. Причем дворник, как будто сошедший с картинки позапрошлого века: сапоги гармошкой, метла, серый от пыли фартук, борода лопатой, а на широкой груди – кругляш металлической, по-видимому тяжелой бляхи. Интересно, что выглядел он очень естественно – не как ряженый, а как человек, привыкший именно к такого рода одежде. Даже метла у него, по-моему, была самая настоящая:

полустертые от работы прутья, обвязанные веревкой вокруг палки.

Дворник чуть двинулся, и она слабо шаркнула по асфальту.

– Так что, ваше благородие, премного вами довольны, – внезапно сказал он. Откашлялся, как паровоз. Молодцевато выпятил грудь. Свет попал на бляху, и она засияла надраенным серебром. – И супруга наша, Анастасия Брюханова, тоже за вас бога молит…

– Э… очень рад, голубчик, – с чувством ответил я.

– Так что, ваше благородие!..

– Прекрасно, голубчик…

И я попытался быстренько проскочить мимо.

Однако дворник стоял как скала. Я налетел на него, ушибся и отступил назад.

Дворник этого, кажется, даже и не заметил.

– Не дайте пропасть, ваше превосходительство, – сказал он очень жалобно. – Окажите такую милость. Чтоб отпустил, значит, меня обратно. Нет мне жизни: все мое – там, я – здеся… Он вас послушает, богом молю, ваше сиятельство!.. Не виноватый я, медаль у меня за беспорочную службу… Супруга – тоже моя, Анастасия Брюханова… И детишкам прикажу, как есть, ваше высокоблагородие!..

Железная, видимо никогда нечесаная борода его росла прямо от глаз. Лоб был низкий и такой морщинистый, словно его сплющили при рождении.

Дворник дохнул, и меня качнуло могучим запахом чеснока.

– Разумеется, можешь идти, голубчик, я тебя отпускаю, – поспешно сказал я.

И – наступило молчание. Нехорошее какое-то, сокрушительное, словно все звуки в мире стали неслышимыми. Не доносилось даже обычного городского шума, и в этой угнетающей тишине дворник моргнул, а потом подумал и моргнул еще раз.

– Так, – наконец произнес он суровым голосом. – Дурочку, значит, валяешь? Отвертеться, хочешь? – Уронил метлу. Она треснулась об асфальт. Сдвинув медвежьи брови, плотоядно посмотрел на мои сандалии. Интересно, чем это они ему приглянулись? Самые обыкновенные сандалеты, сорок второго размера.

Нехорошее молчание затягивалось.

– Ни в коем случае, – быстро сказал я примирительным тоном. – Просто вы просили вас отпустить – пожалуйста. Идите куда хотите, я вам не препятствую. Даже наоборот. А я, соответственно, извините, в другую сторону…

И я сделал вторую попытку бочком-бочком проскочить мимо.

Такую же неудачную, как и первая.

Потому что дворник в ту же секунду мощно поднял руку.

– А вот это как же? – спросил он.

И рука его была похожа на окорок в мясном магазине. Хотя, пожалуй, окороки обычно поменьше. Однако главное заключалось даже не в этом. Главное заключалось в том, что эта рука крепко и уверенно сжимала топор. Настоящий топор: деревянная заглаженная хватаниями рукоять и вороненое лезвие со светлой кромкой.

Сердце у меня упало, как камень.

А дворник для убедительности, вероятно, поднес топор чуть ли не к самому моему лицу и повернул так, что слетело с лезвия тусклое лунное отражение.

– Тот самый, – пониженным голосом объяснил он. – Которым на канале. Верно, верно – мой топорик. Под лавкой у меня, значит, произрастал… Ты чего думаешь? Я его из тысячи отличу…

Я смотрел как загипнотизированный.

Дома вдруг придвинулись. Глухо зашумели деревья в саду, стиснутом тремя глухими торцами. Выгнутый, как кораблик, лист ткнулся в ограду. Сверкнули ее черные звенья. Воздух загустел.

Стало тесно.

– Или, может, подкинуть его? – уже совсем одним хрипом спросил дворник. Дико и неожиданно подмигнул мне морщинистым веком. – Уж так он мне надоел, так надоел. Это походить с ним надо, чтобы понять, как надоел. И не нужно совсем, а берешь. Руки себе отмотал, пальцы вон как опухли. Корку хлеба, значит, не ухватить… – он чуть ли не в глаза мне ткнул трясущимися толстыми пальцами. Я заметил ногти, расшелушенные на заусенцы. – А подкинуть, – тревожно сказал дворник, – и дело с концами. Не моя это забота, знать ничего не знаю… Домик-то я приметил где стоит – за мостом, все как раньше. И квартирку евонную в четвертом этаже знаю. Цела, значит, квартирка… Вот и подкинуть туда. Будто просмотрели его, в горячке-то и не заметили… Или во дворе брошу, так даже лучше, обронил и все, никакого с меня спросу…

Он осторожно, как бык, повел из стороны в сторону глазными белками в сетке прожилочек. Ноздри у него, опять-таки по-бычьи, расширились, вывернув наружу густую волосяную поросль.

– А то иногда думаю: может, кровью смоет? Может, он того, значит, и ждет, чтобы кровь, как написано, оказалась? Наворотят же сюжет, прости господи!.. – со стоном сказал дворник. Боюсь я этого… Думаю и боюсь… Это же – как? С ума

сойдешь раньше… А с другой стороны, ежели кровь – она великую силу имеет…

Он смотрел на меня с потаенной надеждой.

– Ни за что, – сказал я в каменную тесноту переулка.

Голос мой сухой пылью осыпался на мостовую.

Тем не менее дворник обрадовался и, к моему облегчению, даже опустил топор.

– Нет? Говоришь, нет? Ну, ты человек ученый, тебе виднее. Думаешь, не одобрит он, если кровь снова окажется? Ну и правильно. Этакая страсть. Кто же одобрит? Я и сам, вот те крест, пугаюсь, а куда денешься?.. Ох, книги, книги, значит, вся муть – от них…

Он вдруг всхлипнул нечеловеческим басом. Прижал свободную руку к груди.

– Смилуйтесь, ваш-сок-родь! Пущай вернет меня в пятый том собрания сочинений! Сотворю что-нибудь – грех, пропаду совсем…

Казалось, он сейчас рухнет на колени.

– Все сделаю, – клятвенно пообещал я.

И не сводя с него глаз начал отступать под арку, к проходному двору.

Дворник не двигаясь белел фартуком.

– Прощения просим, если что, ваше сиятельство! – донесся его молящий голос.

Конечно, будь я в своем уме, я бы через этот двор ни за что не пошел. Он тянулся на километр – глухой, как шахта, и такой же пустынный. Серая каменная кишка, которую вырубили и забыли. Стены – толщиной в метр. Тяжелая кровля просела. Узкие двери черных лестниц заколочены досками. Штукатурка осыпалась. Мрачно проглядывали кровавые, древние кирпичи. Лампы висели редко и непонятно зачем – голые, пыльные, едва сочащиеся желтизной. Арки домов смыкались – дневной свет не попадал сюда никогда. В гулких нишах, распирая бока, стояли ребристые мусорные бачки. Не знаю, уж кто рисковал ими пользовался. Однако все – с верхом, так что мусор высыпался на гололобый булыжник. Здесь, вероятно, водились и привидения. Тоже какие-нибудь особые, помоечные, самые завалящие. Наверное, вечно простуженные, худые, в заплатанных балахонах из ветоши. Собирались, скорее всего, по ночам – вылизывали добела старые консервные банки, жаловались на судьбу и всевозможные хвори. В общем, классический антураж. Кладбище времени. Двор «Танатос».

И тишина здесь стояла прямо-таки удручающая. Звук шагов, как летучая мышь, беспомощно метался под сводами. Он был

не в состоянии вырваться из объятий камня. И словно вспугнутый этим бестолково тычащимся во все щели эхом, откуда-то из хитрых подвалов, из дровяной сырости и пахнущей плесенью черноты, наперерез мне, беззвучно, как по воздуху, ступая пружинистыми лапами, выбрался и остановился посередине дороги здоровенный котище.

Сердце у меня опять упало.

Потому что котище был действительно выдающийся: типично дворовый, наглый, серый в полоску, с перекошенной от бесчисленных драк широкой бандитской мордой. Усы у него топорщились бодрой проволокой, а облезлый кончик хвоста высокомерно подрагивал. По всему чувствовался кот-философ. Видел он все это в гробу и в белых тапках. Ничем его не проймешь.

– Кис-кис, – позвал я тихо и очень глупо.

Громадные зеленые глаза презрительно дрогнули. Кот уселся, зевнул, обозначив пасть белыми, чуть изогнутыми клыками, небрежно почесал скулу задней ногой и, потеряв ко мне интерес, с достоинством прошествовал к щели в парадную.

Вероятно, мне следовало сплюнуть через плечо. Есть такое правило, когда кошка перебегает тебе дорогу. Чтобы не случилось потом какого-нибудь несчастья. Только выглядело это по-идиотски, и я воздержался.

Правда, как тут же выяснилось, совершенно напрасно. Потому что едва я пересек воображаемую линию кошачьего хода и, пройдя еще пару шагов, оказался у поворота, опять ведущего в переулок, как за очередной аркой, где пологом провисала между двумя полудохлыми лампочками темнота, точно в ночном кошмаре, шевельнулась человеческая фигура.

Надо было все-таки сплюнуть, обреченно подумал я.

Однако события развивались вовсе не так, как можно было бы ожидать.

Человек, стоящий в тени, одернул пиджак, который был ему явно коротковат, и торжественно, как на параде, сделал два шага, поднимая босые ноги в домашних тапочках. Воткнул в висок напряженную, как деревяшку, ладонь.

– Поручик Пирогофф! К вашим услугам!

– Вольно! – автоматически ответил я.

И, как оказалось, ответил правильно. Поручик тут же осел, словно из-под него выдернули подпорку, отставил вбок ногу и выпятил грудь, прикрытую несколько великоватой рубашкой.

– Рассчитываю только на вас, сударь, – громко сказал он. – Зная, что происхождения благородного. И чины также имеете.

Он ожидающе замолчал.

– Могу дать десятку, – с готовностью предложил я и как в тумане достал из кармана соответствующую купюру.

– Сударь! – он горделиво вскинул голову. – Поручик Пирогофф еще ни у кого не одалживался! Да-с! – и моя десятка мгновенно исчезла. – Несчастные обстоятельства, сударь. Изволите обозреть, в каком состоянии пребываю.

Я изволил. Состояние было не так чтобы очень. Пиджак на поручике, явно с чужого плеча, был действительно коротковат: рукава едва-едва дотягивались до костлявых запястий, также явно коротковаты были и брюки, а на рубашке, которую, по-моему, даже и не пытались гладить, не хватало двух пуговиц.

– К тому же! – гневно продолжил поручик. Щелкнул голыми пятками, и звук, как ни странно, получился очень отчетливый. – Извольте посмотреть, сударь, страница пятьсот девятая!..

Он тыкал в меня толстой, потрепанной книгой.

Выхода не было. Я осторожно принял в руки увесистый том. На странице пятьсот девятой, набранной убористым шрифтом, говорилось, что какие-то немецкие ремесленники – Шиллер, Гофман и Кунц – очень нехорошо поступили с военным, который приставал к жене одного из них. Мне вдруг что-то такое припомнилось. Что-то очень знакомое, давнее, еще со школы.

Фамилия военного была – Пирогов.

– Это вы? – напрямик спросил я.

Поручик затрепетал ноздрями.

– Помилуйте, сударь, как бы я мог? Жестянщик, сапожник и столяр, – с невыносимым презрением сказал он. – А в тот день… Я отлично помню… Находился в приятном обществе, что может быть засвидетельствовано… У Аспазии Гарольдовны Куробык. Не изволите знать, сударь? Благороднейшая, возвышенной души женщина…

– Книгу возьмите, – попросил я.

Поручик сделал отстраняющий жест.

– Как непреложное доказательство клеветы. Честно скажу вам, сударь, ожидал-с!.. Уважаю искусства – когда на фортепьянах играют или стишок благозвучный. Художнику Пискареву – наверное, слышали? – многажды оказывал, так сказать, покровительство. И сам, в коей мере не чужд…

Он выпятил грудь так, что рубашка на ней разошлась, картинно выставил руку и прочел с завыванием:

– Ты, узнав мои напасти, / Сжалься, Маша, надо мной, / Зря меня в сей лютой части, / И что я пленен тобой.

– Многие одобряли. У нас в полку. Генерал, барон Шлоппенпумпф, прослезился лично… Вот что значит, когда – истинно благородное чувство… А вы, сударь, прошу прощения,

случаем, не поэт?

– Это Пушкин, – сказал я. – Александр Сергеевич написал.

Поручика даже шатнуло.

– Украл! – страшным шепотом произнес он, перекосив бледную физиономию. Схватился за жидкие волосы и несильно подергал, словно боясь оторвать. – Слово чести! Ведь вот – сочинить не может, так непременно украсть! Я его – на дуэль!

– Мяу! – пронзительно раздалось за моей спиной.

Я оглянулся. Тот самый котище сидел на середине прохода. Задрал бандитскую морду и буровил меня зелеными немигающими глазами.

– Брысь! – топнул поручик.

Вдруг успокоился и вытер лоб скомканным носовым платком.

– Сами видите, сударь, что делают. Позор на всю Россию. А у меня знакомые: корнет Помидоров, князь Кнопкин-второй, госпожа Колбасина… Я же не могу… Тираж сто тысяч!.. Господи боже ты мой, зачем же такой тираж? Это же сто тысяч людей его купят. Конечно, не все из них грамотные. Которые и просто так. Но благородные прочтут непременно…

– Мяу!

– Значит, так, сударь, – нервно сказал поручик. – Чтобы опровержение во всех газетах. То есть, мол, прошу поручика Пирогова не считать описанным в такой именно книге… И, сударь, сударь, чтоб безусловно указали номер страницы!..

Я только торопливо кивал – будет исполнено.

– И дальше, сударь. Войдите, наконец, в мое положение. Мне полагается квартира, жалованье, провиант – кто его выдаст? И как я пока тут считаюсь – в походе или военные действия? Тогда – лошадь, и кормовые, и прочие, так сказать, надобности. Опять же – денщик мой там где-то застрял. Как же я, сударь, в походе без денщика? Подлец, между прочим, необыкновенный: пропьет все до нитки, как есть, останусь в чем мать родила – в одном мундире.

– Поможем, – проникновенно заверил я.

Он приподнялся на цыпочки и вытянул тонкую шею.

– Так я могу надеяться?

– Вне всяких сомнений!

– И лошадь, и кормовые?

– Слово благородного человека!

– Вашу руку, сударь! – с энтузиазмом воскликнул поручик.

Ладонь у него была теплая и чересчур влажная. Он долго тряс мне все кости, а затем вытер слезу, которой, по-моему, не было.

Сказал взволнованно:

– Благородство – его ничем не скроешь. Мне бы еще носки,

сударь, какие-нибудь, и я – ваш вечный должник!

– Носки? – тупо переспросил я.

– Носки, – подтвердил поручик.

– Зачем носки?

– Затем, что не положено в благородном звании – без носков.

Блеклые зрачки его вдруг расплылись, как два зыбких облака, щеки дернулись и детали лица заколебались, будто отражение в легкой воде.

– Ой-ей-ей, опять эта штука!.. – испуганно воскликнул поручик.

Я уже окончательно перестал что-либо понимать.

В голове у меня звенело.

Я вздрогнул.

– Мя-я-у!.. – длинно и хищно раздалось где-то уже совсем рядом.

Глава третья

Прошло еще несколько дней.

Жара не спадала, и от знойного, неумолимого солнца воздуха на улицах становилось все меньше. Коробилась раскаленная жесть на крышах, трещал булыжник, выкрашивались гранитные поребрики тротуаров. Воробьи, раздвинув жалкие крылья, еле-еле ковыляли по размякающему асфальту. Улицы и проспекты были погружены в прозрачный огонь. Пересыхали каналы. Медленная, горчичного цвета вода шевелила тину на круглых камнях. Гнили узловатые водоросли. Бурый йодистый запах распространялся по городу.

Каждый день радио севшим голосом сообщало, что последний раз подобная температура регистрировалась в тысяча каком-то тараканьем году – чуть ли не в эпоху Петра, если, конечно, тогда производились замеры. Ссылались, естественно, на циклоны, антициклоны и геопатогенные зоны, якобы расположенные под городом. Последнее я вообще считал полным бредом. Тем более что газеты в эти странные дни выходили ломкие, пожелтевшие и не вызывали доверия. Казалось, что время умирало раньше, чем его успевали запечатлеть. Серое, словно из дымного войлока, небо влачилось над городом. Дым из кирпичных труб вытягивался по нему и стекал вниз, к окраинам.

Институт, где я был теперь руководителем группы, пустел на глазах. Все кто мог под любыми предлогами или даже совсем без оных уходили в краткосрочные отпуска. Руководство института не возражало. Работать в таких условиях все равно было нельзя. От жары вздувался пузырями линолеум, и в лабораториях стояла вонь горячей резины. Стреляли чернилами авторучки, оставленные на солнце. Вода в стаканах мутнела и выделяла ржавые хлопья. Мухи черными зернами осыпались на подоконник.

Просто нелепо было чего-либо требовать в эти дни. Свою группу, точнее оставшихся от нее двух лаборанток, я отпускал домой уже где-то в двенадцать. Они, наверное, благословляли тот час, когда я стал их начальником. А потом для приличия выжидал немного и уходил сам.

Хлопала тугая дверь. Звенела пружина. Океан белого зноя распахивался передо мной необозримым пространством.

Начинались бесцельные и бессмысленные шатания по всему городу. Я наматывал километры по жарким улицам, где не было ничего, кроме пустоты и света. Пенным прибоем шумела кровь

в тесных висках. Блистая, кружились стекла. Зыбкая амальгама солнца испарялась с карнизов. Я пересекал площади, задыхающиеся от одиночества. Как волдырь, сиял надо мной чудовищный купол Исаакиевского собора. Гулкой памятью, эхом винтовок окутывались дома на Гороховой. А зеркальные лики витрин с высокомерием взирали на это странное время. Я проходил мимо дворцов, казалось вылепленных из чистого зноя. За дубовыми рамами, въевшимися в стекло, царила прохлада: озноб нежных люстр, сумрак, золотая пыль коронаций, разноцветный льдистый паркет, выхваченный из небытия переливами дерева. Забытые лица смотрели с темных полотен. Слабо мерцал багет, и, мучаясь, брела через бесконечную анфиладу тень убитого императора.

Я попадал в кривые, расползающиеся, как тараканы, переулки коломенской стороны. Кто-то создал их в бреду и белой горячке, сам, по-видимому, испугался – махнул рукой. Слезились от огня подслеповатые окна. Крыши в хребтах мертвых труб, давясь, натискивались друг на друга. Здесь и воздух был совершенно иной – прошлого века. И какими-то коричневыми подпалинами вылезал сухой мох из подвалов. Проглядывали на мостовой макушки булыжника. Крутилась зеленоватая пыль, возникшая как будто из сновидений. Словно переворачивался циферблат и время текло обратно. Казалось, сейчас, царапнув кирпич, вывернется из безымянной щели бричка, похожая на стоптанную босоножку, длинно скрипнет рессорами, накренится из стороны в сторону и неторопливо загрохочет ободьями по голому камню. Заспанный кучер с соломой в свалявшихся волосах встрепенется и дико поведет вокруг опухшей физиономией. Однако успокоенный видом серых галок и голубей, рассевшихся где попало, опять уронит голову на колени, покачиваясь в такт каждому шагу своей суставчатой лошади.

Ростовщик с бессмертными, необыкновенно выразительными глазами уже полтора столетия бродил здесь, мгновенно оценивая каждого встречного, полы цветного халата мели по булыжнику, и великий писатель с быстрым и надменным лицом взирал в холодной усмешке на съеденные временем домишки и флигели, на покосившиеся фонари, на жалкую окраинную мостовую, выше вздергивал бровь, и безнадежная скука овладевала изношенным сердцем его.

Однако рано или поздно я выходил на канал. К трем серым мостам, парящим в воздухе.

Здесь были особые обстоятельства.

Ольга возникла как будто из ниоткуда. Точно во исполнение некоего заклинания материализовалась из жаркого городского

воздуха. Никаких подробностей их знакомства Антиох мне не сообщил. Просто однажды скрипнула дверь в соседнюю комнату и из нее вышла девушка с разбросанными по плечам волосами. Антиох что-то буркнул, тем представление и закончилось. Я довольно долго не обращал на нее никакого внимания. Воспринимал просто как часть квартиры: в разговоры с ней не вступал, о жизни не спрашивал. Иногда даже забывал поздороваться. Тем более что и Ольга к общению со мной тоже, видимо, не стремилась, из комнаты выходила редко и в наших с Антиохом дискуссиях участия не принимала. Вообще была какая-то чересчур тихая. Именно так: скрипнет дверь, колыхнется стоячий воздух, а оглянешься – оказывается, что уже никого и нет.

Я даже внешность ее не слишком хорошо разглядел.

А потом Ольга вдруг начала проявляться. Чрезвычайно медленно, постепенно, как проявляется фотокарточка, положенная в слабый раствор: сначала отдельные линии, штрихи, какие-то размытые пятна, и вдруг этот неразборчивый хаос слипается и с удивлением обнаруживаешь связную живую картинку.

У нее было очень бледное, в голубоватых тенях лицо, будто выточенное из мрамора. Глаза серые и большие, подернутые выпуклой влагой. Бесцветные волосы иногда казались стеклянными. Ладони просвечивали насквозь, и из-за этого возникало чувство, что ей вечно холодно. Пальцы были точно из ломкого льда. Стоило прикоснуться к ним – и кожа сразу же начинала ныть от низкой температуры. Говорила она мало и неохотно, отчетливо выговаривая согласные. Будто на чужом языке, когда, стараясь сказать яснее, невольно подчеркиваешь фонетику. Голос звенел готовой лопнуть струной. Она никогда не смеялась и даже, по-моему, не подозревала, что существуют такие человеческие эмоции. Зато молчать могла, вероятно, целыми сутками. Ее это не тяготило, она глядела в ничто, которое не видел никто, кроме нее. Зрачки медленно суживались и расширялись. Веки подрагивали, как крылышки стрекозы, готовой к полету.

Было в ней что-то удивительно отстраняющее. Спросишь о чем-либо – ответит не сразу, а будто очнувшись и возвратившись из какого-то нездешнего мира. Поднимет брови, отвернется, точно ей неприятен звук голоса, и опять молча сидит, созерцая что-то невидимое. Можно было кричать ей в ухо, она бы даже не вздрогнула. Двигалась как сквозь сон – останавливалась и замирала на полушаге. Никогда никуда не спешила, но, по-моему, также и никогда никуда не опаздывала. Кажется,

она вообще не замечала времени и существовала, не ведая о немолчном дожде дней и месяцев. Вероятно, так же в соленой необозримости океана, в тишине, во мраке пустой воды и нечеловеческого пространства, нехотя, словно через силу надувая зонтики плавников, равнодушно живут полупрозрачные белые рыбы, светятся нежным фосфором, просачиваются сквозь глубины из одного конца света в другой, – безгласые рыбы, помнящие еще пустынные зори Земли и сейчас терпеливо ждущие, когда, знаменуя неизбежный финал, упадет огненный занавес.

Медленно течет разбавленная соленой водой легкая рыбья кровь.

Однажды она при мне порезала палец: больно, чуть не до кости полоснула руку ножом – не ахнула в тот момент, не побежала за пластырем, – лишь еще больше, до синеватости побледнела и закусила слабые губы. Рану перевязывать не пришлось, края слиплись, ни одна багровая капля не выступила наружу.

Больше об этом не вспоминали.

Казалось, она исключительно по обязанности смотрит длинный и скучный фильм, который уже не раз видела: все знакомо, каждый взгляд, каждый звук, надоело до чертиков. Смотреть, однако, приходится. Но ничего – сейчас вспыхнет свет, придуманная жизнь выцветет, стечет, как вода в песок, схлынет из памяти и не вернется уже никогда больше.

Теперь – Антиох.

Тут все было более-менее ясно.

Существовал некий Антон, Антоша Осокин, школьный приятель – сидели в те годы за одной партой, вместе мотали физкультуру, когда получалось, вместе бегали в кино на площади за театром. Он тогда был еще вполне нормальный, только много читал – прятал книги под раскрытым учебником. Вероятно, поэтому так все впоследствии и получилось. Слишком рано начал привыкать к вымышленным реалиям. Его прозвали Антиохом, когда проходили соответствующий раздел по литературе. Антиох, сочинитель стихов и трактатов, для друзей – попросту Кантемирыч. Школа забылась как сон, который исчезает при первых же проблесках солнца. Затем – в разные институты, потерялись, конечно, не виделись, вероятно, лет семь или восемь. Вдруг нос к носу столкнулись прямо на Невском проспекте. Я к тому времени уже давно все закончил и пахал младшим научным сотрудником в своем нынешнем заведении. Отчаянно лез вперед – головой, которая, как выяснилось, слегка на месте, и своими собственными руками, тоже приставленными, по-

видимому, куда требуется. Работал по двенадцать часов в день, без выходных, без праздников, обмораживал пальцы в криостате. «Свалил кирпич», то есть защитил диссертацию. Написал около двадцати статей, в том числе и для нескольких зарубежных журналов. Теперь открывались некоторые перспективы. Пока еще, конечно, не слишком радужные, но, по моим оценкам, уже достаточно обнадеживающие. В общем, дела у меня шли неплохо. А вот Антиох, оказывается, свой институт не закончил. Ушел то ли с третьего, то ли с четвертого курса по не вполне понятным причинам. Во всяком случае, говорил он о них не слишком охотно. И, сменив после этого несколько маловразумительных мест, наконец осел в какой-то, на мой взгляд, довольно-таки захудалой конторе. Что-то такое связанное со строительным проектированием. То есть старенькие компьютеры, кульманы, даже рейсшины, которыми пользовались, по-моему, еще в начале прошлого века. Короче говоря, удел идиотов. Я всегда втайне подозревал, что чтение посторонних книг на уроках хорошо не закончится. Так оно в итоге и оказалось. А сейчас он вроде бы что-то писал. Язык – это, оказывается, не способ выражения мыслей. Язык – это ни много ни мало – Дом Бытия. Где птицы мертвы падаху на кровли… Короче, призвание, голос свыше и все такое. Зарплата мизерная, пиджак потертый, пуговицы к нему пришиты разного цвета, манжеты рубашки выношены до белизны ниток, а ботинки такой откровенно вылинявшей окраски, что кажется, сохранились еще с военного времени. Вид у него, однако, был снисходительный. Дескать, разве можете вы, мещане и закоснелые обыватели, понять душу художника? Какие у вас, собственно, интересы? Водка и телевизор. А художник, даже когда сморкается, делает это не просто так, а с возвышенными намерениями. Вообще пребывает в мирах, недоступных простому смертному. Он, оказывается, только что переехал и жил теперь совсем недалеко от меня. Какой-то прямо фантастический вариант обмена: из новостроек – в самый центр города и без рубля доплаты. И главное – что на квартиру чуть ли не вчетверо большую, чем предыдущая. Вероятно, художники действительно пребывают в каких-то недоступным нам сферах. Мне бы такой вариант было не провернуть. Даже сам дом наводил на некоторые размышления: фигурная лепка по стенам, газовые рожки, разумеется не работающие, витражи в окнах на лестнице, облупленные мутноватые зеркала от пола до потолка. Удивительно, как их еще не поснимали для дач. У нас же кариатиду в четыреста килограмм утащат, только оставь. Не было нумерации на дверях и почтовых ящиках. Не было даже замков –

большинство квартир пустовало. Удивительно, что не поселились в них какие-нибудь ханыги. Я к нему заглянул в тот же день и с тех пор начал время от времени заходить. В основном, конечно, после работы, сильно выжатый, на подгибающихся ногах, вероятно, просто затем, чтобы слегка переменить климат. Научная сфера иногда имеет обыкновение душить прямо физически. А тут – спокойная обстановка, интеллигентная необременительная беседа о Гоголе и Достоевском. Я просто возвращался в человеческий облик после всяких своих коэнзимов и дегидрогеназ. Перемена среды – вообще великое дело. Антиох к тому времени уже нашел себе другую работу. Устроился сторожем, если не ошибаюсь, в какое-то хилое заведение. Сутки через трое, чтобы, значит, все свободное время отдавать творчеству. У меня, помню, уже тогда появилось некое тревожащее предчувствие. Словно вот только что все вокруг было тепло, и вдруг потянуло откуда-то сквозняком холодного воздуха. Такой, знаете, легкий озноб по коже.

Главное, я не понимал, чего он хочет.

Целыми днями Антиох как проклятый стучал на машинке – громыхающем металлическими суставами монстре, ровеснике, вероятно, еще первых автомобилей. Тысячи шелестящих страниц, забитых подслеповатым шрифтом, усеивали квартиру. Время от времени он собирал их в толстенные кипы, укладывал в папки и перевязывал крепким шпагатом. Папки затем пылились на полках или просто – наваленные в углу комнаты. Я ни разу не видел, чтобы Антиох развязал хотя бы одну из них. По-моему, он про них немедленно забывал. Кроме того, он прочитывал чертову уйму книг. Иногда читал сутками напролет, забывая, по-видимому, о сне, отдыхе и еде. Проглатывал их штук по пятьдесят в месяц. В основном беллетристика, но также – философия, критика, теория литературы, лингвистика, матанализ. Я просто не понимал, чем обусловлен его выбор. Сегодня он, например, читает «Золотую ветвь» Фрейзера, а завтра – уже «Гравитацию» Линна, Макартура и Уилсона. Сегодня – «Как перестать беспокоиться и начать жить», а завтра – «Самосознание европейской культуры XX века». Причем как из одного, так и из другого он делал длинные выписки, и потом эти полоски бумаги также катались и шелестели по всей квартире. Такой образ жизни. Это, конечно, не может не отразиться. Антиох отпустил волосы, и они, как у женщины, свисали ему на плечи. От бессонницы и, вероятно, от недоедания он истаял, нехорошо пожелтел и стал походить на схимника. Глаза двумя черными углями высверкивали на костяном лице. Он уже ни мгновения не мог оставаться на месте: вскакивал, убегал, возвращался,

паучьими цепкими пальцами извлекал книги из жутких развалов, буквально за считаные минуты высасывал их содержание, ронял после на пол, длинными безостановочными шагами снова прошивал комнаты. И все время говорил, говорил, говорил – пузырились губы, брызгали во все стороны странные, оборванные на половине мысли и фразы. Ничего было не понять в этом непрекращающемся монологе. Точно жестокий, невидимый глазу огонь изнурял его, не давая ни секунды покоя, и чем дольше пылал этот жутковатый огонь, тем все меньше и меньше оставалось от человеческой оболочки. Слова слипались в косноязычный бред, как будто их было больше, чем он успевал высказать.

Любопытно, что Антиох даже не делал попытки где-нибудь напечататься. Он не предлагал своих произведений издательствам и не посылал их в журналы. По-моему, эта мысль просто не приходила ему в голову. Впрочем, если бы такая попытка и была им предпринята, я не думаю, чтоб она принесла хоть какие-нибудь результаты. Дело в том, что Антиох писал какую-то очень странную прозу. Все, что он создавал, не имело ни формы, ни сколько-нибудь внятного содержания. Сплошной текст – без сюжета, без диалога и персонажей. Речь в себе, которая непонятно где начиналась и где заканчивалась. Там не было даже обыкновенных абзацев. Просто сотни страниц, забитых аккуратными черными строчками.

Это невозможно было читать. Фразы слипались, будто в толкучке, наслаивались и перебивали друг друга. Знаки препинания, как правило, блистали полным отсутствием. Антиох, видимо, не обращал внимания на подобные мелочи. Смысл едва брезжил, где-то очень смутно, за текстом. Иногда казалось, еще минута, вот-вот, еще буквально несколько строк, еще одно усилие – и наконец уловишь, о чем, собственно, речь: спадет с глаз пелена, зажгутся софиты и разноцветными лучами своими озарят чудесный кукольный мир, задвигаются фигуры, послышатся тихие голоса, словесный театр оживет, чтобы дать захватывающее представление. Однако никакие усилия не помогали, тьма сгущалась, язык ворочался в тине деепричастий и придаточных предложений, софиты в кукольном театрике не загорались, и постепенно я потерял всякую надежду понять здесь хоть что-нибудь.

В общем, я довольно быстро разуверился в Антиохе. Так, по-моему, не работают. Все-таки результат важнее процесса. Новая суть не рождается – так вот, случайно, из хаоса мутной пены; напротив, она концентрируется постепенно, чтобы потом как звезда внезапно вспыхнуть на небосклоне.

Я примерно так думал в то время.

А к тому же была еще и Ольга, плывущая в сумерках громадной петербургской квартиры. Дважды она мне снилась, колеблясь, словно отражение в лунной воде, и дважды я просыпался разбитый и без малейшего желания жить дальше.

Так она на меня удивительно действовала.

Вот почему, бесцельно чертя сухое, выжженное июньским огнем, безжизненное дно города, загребая ногами вялые листья, как шелуха ссыпающиеся с деревьев, часами будто сомнамбула простаивая на гнутых, каменных или деревянных мостиках через каналы, я потом неизменно, как маятник, влекомый путами тяготения, возвращался сюда – где напротив острова, обнесенного по берегам крепостной тусклой стеной, громоздился причудливый дом, украшенный лепкой и крохотными балкончиками, где изнемогали от зноя разлапистые деревья на набережной и где семь распахнутых окон на втором этаже глотали белую тополиную горечь.

Волосы у меня за эти дни выгорели до льняной желтизны, натянулась на лице кожа, перед глазами сталкивались радужные круги. Я очень плохо понимал – где я и кто. Словно навсегда потерялся на вылощенных дымных проспектах, в асфальтовых испарениях, смазывающих перспективу, в громоздких бурых и серых наплывах раскаленного камня. Гигантской каруселью вращался вокруг меня город. Сияли куполами соборы. Летел жаркий пух, вскипая вихрями на перекрестках. Памятники неизвестно кому недоуменно таращились мне вслед. Бухала в полдень пушка. Звенела по булыжнику бронза конских копыт. Солнце, проникая под череп, делало черноту мозга горячей. Я уже не мог отличить вымысел от реальности. И весь этот невозможный блеск, назойливое мерцание душной воды, шпиц Адмиралтейства, изъязвленный серый гранит, стиснувший улицы, вздутые простыни площадей, зевы парадных и подворотен, – все это сливалось в утомительный до головной боли, слепящий и медленный круговорот, в вечность, из которой не было иного выхода, кроме смерти, в загадочное и обманчивое видение странного мира, которое зыбким своим миражом, пыльным горящим воздухом, пространством солнца и камня неумолимо, мгновение за мгновением, впитывало разум, впитывало жизнь и не оставляло взамен ничего, кроме тоски и беспощадного света.

Глава четвертая

Далее события развивались так.

Где-то дня через три мне неожиданно позвонила Ольга и, по-моему даже не поздоровавшись, сообщила, что нам надо поговорить.

Кажется, голос у нее был тревожный.

– Когда угодно, – сдержанно ответил я.

Она замолчала, будто перерезали провода.

– Алло! – не выдержав, закричал я. – Ты меня слышишь?

Сильно подул в трубку.

Это было утро, воскресенье, я только что проснулся и стоял босиком у столика с телефоном.

– Очень плохо, – шепотом сказала Ольга.

– Да? – сказал я.

– Очень плохо.

– Что-нибудь случилось?

– Нет. Пока нет. Просто плохо. Очень плохо, и, видимо, будет еще хуже.

Снова – будто перерезали провода.

Молчание становилось невыносимым.

– Я могу к вам подъехать, – нерешительно предложил я.

Ольга немного подумала.

– Нет, пожалуй, не надо.

– Я все равно приеду теперь, – сказал я.

– Ну, тогда как можно скорее, – попросила она. – Лучше прямо сейчас. Ты мог бы прямо сейчас?

И сразу же раздались гудки. Словно кто-то с поспешностью заколачивал их мне в ухо.

Я бросил трубку.

Здесь можно было дойти пешком. И пешком, вероятно, было бы даже быстрее. Но такая отчетливая тревога звучала в Ольгином голосе, что я, выскочив из парадной, невольно свернул к автобусной остановке. Это, конечно, было ошибкой. Я все время забываю, что в центре города проще ходить пешком. Транспорт у нас сам по себе, а человек – сам по себе. В результате я, изнывая от нетерпения, минут двадцать бессмысленно топтался на остановке. В подошедший затем автобус я, разумеется, еле втиснулся и еще минут двадцать трясся, сжатый со всех сторон хмурыми пассажирами. Воздуха в салоне автобуса вообще не было. А перед каждым светофором на этом пути мы останавливались и стояли до полного изнеможения.

В общем, вместо получаса, который бы я потратил идя пешком, мне пришлось добираться по крайней мере минут сорок пять.

И то я считаю, что мне еще повезло.

А когда я, потный и раздраженный, все-таки выбрался из автобуса и, стремглав добежав до парадной, во весь дух, через две-три ступеньки помчался по темноватой после бурного солнца лестнице, то на середине ее, где сумерки особо сгущались, что-то тоже летящее, похожее на пушечное ядро, глубоко, до позвоночника вошло мне в живот.

А потом с чмоканьем вышло и село прямо на лестничную площадку.

По полосатому колпачку я узнал Буратино.

– Ну ты, дядя, дае-ешь… – констатировал он, поворачивая со скрипом голову из стороны в сторону. – Конечно, раз она у меня деревянная – давай, бей не хочу. Лупи по ней чем попало. Так что ли?

Я с некоторым трудом разогнулся.

– Ух…

– Тук-тук-тук, – по лбу, по затылку, по шее выстукивал себя Буратино. Наконец с удовлетворением заключил: – Вроде все цело. Молодец этот мой Карло, на совесть сработал. – Он поднялся и отряхнул короткие, как у ребенка, штанишки. – Ой, не стони, дядя. В конце концов, живой ведь остался. Скажи спасибо, что я тебя, например, носом не пропорол. Ну все, все. Лучше, раз уж мы повстречались, дай закурить человеку…

– Не курю, – выдавил я хриплым голосом.

– И напрасно! – назидательно сказал Буратино, качнув острым носом. Поднял указательный палец и посоветовал. – Надо начинать, дядя, тогда перестанешь бегать как угорелый…

– Стой! – сказал я. – Что там у вас происходит?

Буратино с отвращением освободил свой локоть.

– Заклинание духов… Ты туда, дядя? Оч-чень не рекомендую. Никакого удовольствия не получишь, а вот неприятностей можешь себе надыбать по самое это самое. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. – Грохоча, будто вязанка дров, он скатился по лестнице. Хлопнула дверь парадной, и я услышал, как тишину двора разорвал писклявый, действительно будто из дерева голос: – Варахасий! Дуй сюда, пещ-щерный ты человек!..

Я наконец отдышался и поднялся еще на этаж. Уличный свет здесь был приглушен толстым цветным витражом. Он, по-моему, изображал цветы на лугу. Тускло-красные и тускло-зеленые блики пятнами лежали на стенах. Площадка из-за этого выглядела

как сцена в театре. А немного ниже, где из трещинки в витраже золотой полоской вспарывал темноту плоский солнечный луч, переливалась в воздухе взбудораженная искристая пыль.

Дверь в квартиру была приоткрыта. Я поколебался и дал сначала один короткий звонок, а через секунду – другой. Ни единого звука не донеслось изнутри.

Тогда я просунул голову:

– Есть кто-нибудь?

Далеко, в темных недрах, распадались неопределенные трески и шорохи.

Я пошел по мрачноватому коридору, толкая все двери подряд. Остро заточенные пластины солнца разрубали сумрак у меня за спиной. Везде было тихо – голые стены и пустота. Я все больше нервничал, потому что все сильнее волновался за Ольгу. С момента ее звонка прошло около часа. За это время могло случиться все что угодно.

В комнате Антиоха был прежний чудовищный беспорядок. Жуткое нагромождение книг, осыпанных листками с машинописью. Сквозняком бумагу подбросило и вытянуло в пасть коридора. Было слышно, как она с легким шорохом скользит по стенам и полу.

Как-то Антиох мне сказал: «Чтобы написать десять страниц более-менее приличной прозы, надо сперва пропилить и выбросить десять тысяч страниц плохой».

Иллюстрировал он это личным примером.

Я бы умер, а столько не написал.

Один из листочков как-то сам собой оказался у меня в руках.

«Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить – дело минутное. Из лохмотьев он выдрал тесьму в вершок шириной и вершков в восемь длиной. Эту тесьму он сложил вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись пришивая, но он одолел и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто».

Я недоуменно пожал плечами.

«Что же касается того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила… Стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, через час (когда все уже кончится), войти и положить обратно.

Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал»…

Я бросил этот листок и поднял другой. Было ясное ощущение, что в квартире я не один. Кто-то невидимый

и неслышимый шел по длинному коридору, осторожно заглядывал в комнаты, темными глазами ощупывал ниши и антресоли.

У меня даже мурашки побежали по коже.

Глупости, вероятно – игра больного воображения.

«Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза… Он осмотрелся кругом – никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. “Так и есть, нет дома! Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь”. Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленьями; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! “Не рассудок, так бес!” – подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно».

Страница с подслеповатым шрифтом запрыгала у меня в пальцах. Я больше уже не гадал, откуда этот отрывок. Я не гадал, потому что теперь знал точно. Вот, оказывается, что означает топор! Было страшно за Ольгу, и мне это все чрезвычайно не нравилось.

Правда, что можно сделать в такой ситуации, я тоже не очень-то понимал.

Слабый протяжный звук донесся из коридора. Сомнений у меня больше не было: кто-то и в самом деле проник вслед за мной в квартиру. Причем идущий, видимо, старался двигаться как можно тише: шагнет – остановится, ждет пару секунд, потом – еще один шаг. Я вдруг почувствовал, как звонко и часто колотится у меня сердце. Колыхалась на окне тюлевая занавеска. Слабый сквозняк шевелил разбросанные по полу страницы. Деваться мне было некуда. Ручка дверей повернулась. Я стиснул зубы. Облитый солнцем, так что даже лицо его было смазано сияющим ореолом, возник в проеме дверей человек невысокого роста – замер, по-видимому привыкая к яркому свету, и повел подбородком, точно хотел растянуть кожу на горле.

– Виноват, – негромко сказал он.

Я мелко кивнул – точно клюнул.

– Квартира была открыта.

Я снова кивнул.

– Я бы не вошел так нечаянно, если бы знал, – вежливо сказал человек.

Он был одет во что-то из прошлого века: черный строгий сюртук, крахмальный воротничок – стоймя с отогнутыми

уголками, темный, довольно широкий галстук, завязанный крупным узлом.

– Собственно, я к Антону Григорьевичу…

– Прошу, – сказал я и сделал невнятный жест.

Человек заколебался, глядя на пол.

– Тут – книги…

– Это ничего, – сказал я.

– Вы думаете? Впрочем, неважно.

Он вошел, осторожно ступая, и с церемонной светскостью наклонил голову.

– Позвольте представиться: Иван Алексеевич. Милостивый государь?..

Я тоже назвал себя и даже отдал поклон, впрочем отчетливо сознавая, что мне до него далеко.

– Еще раз простите великодушно за нечаянное вторжение. Однако я хотел бы видеть Антона Григорьевича…

– Его временно нет, – объяснил я.

– Изволят быть?..

Я честно сказал:

– Не знаю.

Иван Алексеевич слегка помедлил. Сдул несуществующую пушинку с плеча и опять повел подбородком, словно преодолевая судорогу. Несмотря на тщательность одежд и манер, чувствовалась в нем какая-то неуловимая странность. Точно ему не хватало чего-то для завершения облика. Причем, видимо, чего-то очень существенного. Я вот только никак не мог сообразить – чего именно.

– Значит, не изволят сегодня присутствовать? – нерешительно сказал он. – Весьма печально. Мы с Антоном Григорьевичем должны были завершить одно… дело. Смею заверить, очень важное для меня дело. И мне было бы в высшей степени неприятно, если бы его пришлось отложить на… какое-то время…

Он явно чего-то ждал от меня.

– Завершите, – пообещал я.

Я уже поднаторел на обещаниях.

Иван Алексеевич несколько оживился.

– И чудесно! Чудесно, чудесно! Давно, знаете ли, пора. Но Антон Григорьевич все почему-то откладывал.

Я вдруг понял, в чем состояла его странность. У человека, как бы это ни дико звучало, отсутствовало лицо. Была голова – гладкие, аккуратные волосы, зачесанные немного на бок, уши по-волчьи острые, твердый подбородок, шея – в тугой петле галстука. А лица у него как такового не было. Вместо глаз, носа, губ клубились какие-то расплывчатые туманные очертания.

Причем самое любопытное, что иногда казалось, будто лицо у него все-таки есть: стоит лишь всмотреться внимательнее, и уловишь необходимую совокупность деталей. Но это впечатление было обманчиво. Детали вроде бы и проступали, но в общую картину не складывались. Так возникают иногда силуэты среди наползающих друг на друга фантастических облаков, а чуть сморгнешь, посмотришь буквально через секунду, и выясняется, что это – мираж, уже ничего такого не видно.

Между тем Иван Алексеевич с интересом оглядывался.

– Да, именно так я себе все это и представлял, – сказал он. – Вздернул плечи и сплел пальцы с розовыми, как у женщины, ухоженными ногтями. – Я здесь впервые, но именно так – хаос и запустение. Теперь, знаете ли, многое становится ясным.

В нем вдруг почувствовалась некоторая нерешительность.

Он повернулся ко мне.

– Надеюсь, я не позволю себе ничего лишнего, если попрошу, так сказать… осмотреть? Вы не подумайте только, что я в какой-то мере хотел бы… изменить образ. Нет-нет-нет! Это чисто профессиональное любопытство. Я ведь и сам… в определенном смысле…

– Ради бога, осматривайте, – сказал я, подразумевая комнату.

– Так вы не возражаете?

– Ради бога!

Но Иван Алексеевич, оказывается, осматривать комнату вовсе не собирался. Вместо этого он с откровенной жадностью уставился на меня. Будто на чучело. Будто на редкий экспонат в музее. Обошел вокруг, придирчиво до неприличия изучая. Вновь остановился, подумал, всплеснул ладонями.

– Пре-лест-но! Прямо-таки прелестно! Ведь может, когда захочет. И волосы, извините, тоже у вас натуральные? – протянул руку, чтобы потрогать, отдернул. – Простите великодушно, сударь, но вы, наверное, понимаете мое естественное волнение. Общая судьба, так сказать. Я, конечно, имею в виду… посмертное существование в качестве… образа. Надеюсь, я не задел вас этим сравнением? И глаза, посмотрите, совсем живые – испуг, растерянность. Это, кстати, самое трудное, чтобы глаза были живые. И костюм превосходный… материал… Наверное, современные моды?

Мне было неловко под его пристальным взглядом. Что он такого нашел? Я тоже невзначай оглядел себя. Вроде бы все в порядке. С чего это вдруг потребовалось так внимательно меня изучать?

– Право, прелестно, – легко покачивая головой, заключил Иван Алексеевич. Он был, казалось, удовлетворен осмотром.

В туманном пятне лица даже блеснуло нечто вроде зрачков. Хотя я мог, конечно, и ошибаться. – Простите за назойливость, милостивый государь. Кто вас писал?

– Э-э-э… – сказал я.

– Ну, кто автор?

– Э-э-э…

– Из какого романа? – чуть-чуть раздраженно спросил Иван Алексеевич. – Если, конечно, это не составляет тайны.

– Не понимаю, – честно признался я.

Он приветливо поглаживал подбородок – так и застыл.

– Ах, вот оно что… – и после тягостной паузы. – А я было подумал… Н-да!.. У вас что же, сударь, и кровь – красная? Хотя что это я? Разумеется, красная… Н-да!.. – он был, по-моему до некоторой степени озадачен. – Кстати, милостивый государь, раз уж мы с вами встретились… Я вот слышал, конечно совершенно случайно, что обо мне тут сложилось э-э-э… некое определенное мнение…

– Мнение?

– Да.

– Ну что вы, – возразил я, настороженный его тоном.

Он сделал быстрое движение.

– Говорят, говорят…

– Не может быть.

– Представьте себе, – и в голосе у него мелькнуло что-то враждебное.

Я вдруг подумал, что светскость, которую он проявлял, только кажущаяся. Манеры манерами, но под блестящим их обрамлением угадывалась некоторая жестокость. Воли он, должно быть, необыкновенной. Такие люди никогда никому ничего не прощают.

Иван Алексеевич будто угадал мои мысли.

– Право, это не так. Не так, не так, – сказал он с проникновенной искренностью. – Все это выдумки, личные обиды, сведение счетов. Современники всегда врут – почитайте мемуары. И если я, милостивый государь, буду иметь честь продолжить знакомство, то вы убедитесь сами, насколько литературные сплетни бывают далеки от реальности. – Он подошел к столу, заваленному бумагами. – Между прочим, вы случайно не знаете, зачем я понадобился господину Осокину? Живой человек. Или ему не хватает… так сказать… персонажей?.. – и мне снова почудилось, что у него холодно и опасно блеснули зрачки. Вот только зрачков у него по-прежнему не было. Как, впрочем, по-прежнему не было глаз и лица. – Я же, простите, не вурдалак, чтобы воскресать по ночам.

Мне оставалось только пожать плечами.

– Ну да-да, разумеется, вы знать не можете…

Он потянул со стола верхнюю страницу.

«Что же касается того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила… Стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, через час (когда все уже кончится), войти и положить обратно».

Отброшенная страница закувыркалась в воздухе.

– Не-на-ви-жу, – вдруг с неожиданной злобой произнес Иван Алексеевич. – Бедный студентик, изволите, с топором под мышкой. Ведь нелепость! Вымысел, согласитесь. И неправдоподобный вымысел…

– К-г-м… – дипломатично ответил я.

– Что, милостивый государь?

– К-г-м…

– Или это Антон Григорьевич занимается? – он демонстративно вздохнул. – Ну разумеется – чего можно ждать от человека, которому нравится *это*? Вам еще повезло – у вас кровь красная. А у меня? – он выразительно обвел то место, где, по идее, должно было находиться лицо.

Я несколько засмущался.

– Ну-ну, – сказал Иван Алексеевич. – Только не говорите, что вы этого не замечаете. Чрезвычайно неудобно жить – вот так. А все спешка, самонадеянность, суета, непонимание того, что представляет собой деталь. А между тем деталь играет в прозе колоссальную роль. Целое состоит из частностей. Мир возникает не из идей, а из отдельных, почти незаметных подробностей. Так можете и передать. Я почему знаю: у меня были в молодости некие сходные поползновения. Тоже увлекался сверх меры: дескать, озарение, новый Пигмалион, в моей власти превратить косную, тупую материю в трепетную и живую. Такие романтические порывы. Наделал массу глупостей, потом расхлебывал их долгие годы. – Он безнадежно махнул рукой. – Но я, заметьте, никогда не тревожил живых. Есть же какой-то предел, моральные категории, совесть, честь…

Он снова порылся в бумагах, выдергивая и быстро просматривая страницы. Вдруг замер, чуть вытянувшись, как будто пронзенный невидимой молнией.

Он даже, по-моему, перестал дышать.

– «Амата нобис квантум амабитур нулла». Это откуда здесь?

– Немецкий? – предположил я.

– Латынь, – строго поправил Иван Алексеевич. – «Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет». Странное соседство, вы не находите? Нет, запутался все же, Антон

Григорьевич, совсем запутался.

Это было единственное, с чем я искренне согласился.

– А посмотрите дальше! – воскликнул Иван Алексеевич. – «И везде невообразимая тишина – только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам, – оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно».

Он бережно положил страницу и сказал еле слышно, дрогнувшим голосом:

– Сороковой год. Двадцать седьмое сентября. Приморские Альпы.

А потом, будто все ему окончательно надоело, достал из внутреннего кармана серебряные часы на цепочке, – я видел такие лишь в фильмах о прошлой эпохе, – и с отчетливым мелодичным звоном откинул крышечку.

– Однако. Я полагаю, у господина Осокина есть особые причины, чтобы так задерживаться?

Я развел руками.

– Да-да, – сказал он. – Наверное, у Антона Григорьевича опять какие-нибудь неожиданные обстоятельства. Он – человек импульсивный. Всякое может произойти.

Учтиво поклонился.

– Ну что же… Был весьма рад.

Я тоже поклонился, чувствуя, что мне до него далеко. И уже облегченно вздохнул, когда Иван Алексеевич, придерживая дверь, задумчиво произнес:

– А ведь так продолжаться не может. Вы об этом подумали?

– Нет, – сказал я.

– А почему?

– Честно?

– Честно.

Я честно сказал:

– Я вообще об этом пока не думал.

Глава пятая

– Я сразу же оттуда ушла, – сказала Ольга. – Ты же знаешь, какой он бывает, когда начинает вещать. Просто невменяемый. Он всю ночь говорил о рассказе, который прочел недавно. Даже не рассказ, а всего лишь первая фраза: «Отец мой похож был на ворона». Это – до половины седьмого утра. Я засыпала сидя. Очнусь – горит лампа, Антиох машет руками, и тени от него как от летучей мыши. Он меня не отпускал, ему обязательно было нужно, чтоб кто-то слушал. Всю ночь объяснял мне, что написать можно было лишь так: «Отец мой похож был на ворона». Именно такая грамматика овеществляет. А если переставить «был» и сказать: «Отец мой был похож»… – ну и так далее, или переставить «мой»: «Мой отец похож был на ворона», то магии уже нет, фраза перестает быть наполненной звуком, волшебная грамматика распадается, следует просто констатация факта.

– А насчет стрекозы? – спросил я, припоминая.

– «Никогда не думал, что они летают по ночам»? – Ольга закрыла глаза и тут же споткнулась. Я осторожно взял ее под руку и повел дальше. – Стрекозы – это, пожалуй, было самое неприятное: ползали по стенам и шуршали, шуршали, шуршали… Копошение крыльев, глаза, знаешь, такие зеленые, во всю голову… А потом сбились в один комок и он повис над диваном… Черные лопухи, звезды, трава колышется… Ты голоса слышал?

– Нет.

– С подхихикиванием таким: «Дурень, дурень»! А оглянешься – рядом никого нет. Крапива в человеческий рост… Я в конце концов просто ушла. Вот – позвонила тебе, думала – увидит, придет в сознание…

– Там какой-то человек заходил…

– Человек?

– Ну да, сказал – Иван Алексеевич…

Ольга распахнула глаза и мелко, словно не веря самой себе, потрясла головой.

– Еще один человек? Он просто с ума сошел… Сколько можно? Он, видимо, даже не представляет, чем это все кончится…

Мы ступили на площадь, которая пустой тишью распахивалась за каналом, и, услышав эхо своих шагов, поспешно свернули в первую же попавшуюся улицу. Она вывела нас к саду, стиснутому чугунной решеткой, а за садом снова угадывался

канал, который колдовским полукругом очерчивал это место.

– Вот послушай, – негромко сказала Ольга. – Ты только не перебивай и не говори ничего, ты просто послушай.

Она вздохнула, словно желая набрать побольше воздуха.

«Что длится целый век, тому продлиться вдвое. / Пугая воробьев на площади Сенной, / кончается декабрь звериной бородою / и зарывает в глушь жестокою зимой. / Что времени забор, глухой и деревянный? / Что сено и мороз, и сонная труха? – / Во взгляде воробья под небом оловянным / проулок двух домов бледнел и потухал. / Так невозможно жить: стареющая каста / подвалов и дворов. Какой ударил час / на ратуше вверху? И, как больной лекарство, / глотает ночь шаги – поспешно и мыча. / Что ледяной канал? Что холод чудотворный? / Как сажа горяча небесного котла! / О, кто там впереди? О, это вышел дворник, / как в ступе помело, страшна его метла. / Очесок декабря, библейский и козлиный. / Дремучий частокол. Амбары и дрова. / Что циферблат – в Свечном? Что стрелки – на Перинной? / Что крыша – на Думской? Что – в Яме голова? / Что смотрит сквозь него пронзительно и ясно / впитавший белизну болезни за окном? / Но бог ему судья, его лицо прекрасно – / светлее, чем луна в канале ледяном. / Жизнь истекла. Декабрь – в полглаза и в полслуха. / Сенную лихорадь вдохнем и разопьем. / Кошмарный шрифт листа. Опять глядит старуха / в затылок. И молчит замерзшим воробьем».

Она закончила так же неожиданно, как и начала..

– Ты что-нибудь понимаешь?

– Нет, – сказал я.

– Вот и я тоже – нет. Впрочем, я иногда думаю, что и не должна понимать. Зачем понимать? Достаточно, если от этого – озноб и температура. У тебя от этого температура не поднимается?

– Нет, – снова сказал я.

Мы вошли за решетку и двинулись между деревьев, которые смотрели нам вслед. Высилась по левую руку оцепеневшая громада собора. В бледном небе отсыревали крыши и трубы. Дышать было нечем. Ночной петербургский воздух дрожал испариной.

– Он сейчас читает «Метафизику бытия» Герберта Хоффа, – сказала Ольга. – И одновременно – «Историю современной алхимии» каких-то двух авторов. Купил ее где-то за сумасшедшие деньги. Если он не читает, то пропадает в букинистических магазинах. Ты хоть догадываешься, зачем ему понадобилась алхимия?

– Нет, – ответил я в третий раз.

Надвинулась вытянутая как палец, суставчатая колокольня. Сквозь все три ее пустотелых фаланги просвечивала беловатая мерклость.

Вода в узком канале казалась коричневой.

– А может быть, это мы чего-то не понимаем? – сказала Ольга. – Прав как раз он. Мы – сумасшедшие, а он – абсолютно нормальный. Я же вижу, что он счастлив, в отличие от всех остальных. У него глаза – белые, ему кроме этого уже ничего не нужно…

Мы снова вышли на набережную и остановились у парапета. Ольга взялась за чугунную перекладину и крепко сжала ее. На меня она не глядела, как будто я для нее вообще не существовал.

Нет-нет, это, разумеется, невозможно, но она почему-то помнит открытую в ночь, длинную, каменную галерею, полукружья аркады, гроздья южных созвездий в горячем небе, мятущиеся смоляные факелы, ржание коней, крики, лязг ожесточенно сталкивающегося металла… Кто-то бежит по галерее, падает – диковинным украшением торчит стрела меж лопаток… И она подбегает тоже и видит вывороченное лицо с глазами из прозрачного камня… Ведь это, наверное, невозможно? Это, разумеется, невозможно, однако она откуда-то знает итальянский язык. Никогда не учила, а тут встретила группу туристов и поняла с первого же мгновения…А недавно листала журнал, случайно попавший в руки: старый Рим, собор святого Петра, палаццо Канчеллерия… И вдруг на секунду ей показалось, что она это все уже много раз видела…

Впрочем, это неважно. Гораздо хуже другое. Гораздо хуже, что она, оказывается, от него слишком зависит. Прямо-таки что-то противоестественное. Будто кукла на ниточках: дернули – и пошла, куда эти ниточки потащили, отпустили – и упала без вздоха, ничего своего, ни мысли, ни одного желания, ни поступка… Власть чужих пальцев, которые за эти ниточки дергают. Он скажет – значит закон, у нее уже нет своей воли. Ужасно, правда? За такое можно и возненавидеть. Но, что плохо, она не способна, по-видимому, даже на ненависть. Впрочем, на любовь она тем более не способна. Только – сидеть до половины седьмого утра и бесчувственно слушать, слушать, таращась на настольную лампу. Это для нее самое трудное – слушать не понимая. Склеиваются веки, и в голову как будто налили теплого стеарина. Это, видимо, от свечей, которые она купила в последнее время. Им уже два раза грозили полностью отключить электричество. И к тому же – выселить неизвестно куда. В подвал, например. Да-да, в последний раз грозили именно

в какой-то подвал. И что делать, если это и в самом деле будет подвал? Ему-то, разумеется, все равно. Он и в подвале может писать. Он может и при свечах.

– А почему вдруг решили выселить? – удивился я.

– Тут какая-то путаница, – с досадой сказала Ольга. – Оказывается, у нас нет ордера на квартиру. Непонятно, как он въехал сюда, самовольно что ли? Вообще ерунда – будто бы такого дома даже не существует. Его снесли еще в прошлом году, и теперь здесь по документам – пустырь. Ошибка, конечно. Но ведь эту дурацкую ошибку еще требуется исправить.

Она достала крошечный носовой платок и на секунду прижала его сперва к левому виску, а затем – к правому.

– Завтра пойду выяснять.

Меня по-прежнему рядом не было. Я для нее все так же не существовал.

Я наклонился и поцеловал ее в сухие твердые губы.

Ольга подняла брови:

– Ты это зачем?

В голове у меня перетекал жаркий туман. Светило тусклое небо, и от расплывчатого света его улицы – будто снились. Казалось, крепко зажмурься, потом открой глаза – и все исчезнет.

– Хотя – пожалуй, – сказала она через мгновение.

Мне, наверное, надо было встать и уйти.

Вместо этого я нерешительно обнял ее. Ольга вздрогнула, как от холода, но не отстранилась. Тогда я обнял ее уже увереннее. Она поморщилась и приоткрыла рот с полупрозрачными, будто из кварца, зубами. В этот раз поцелуй длился значительно дольше и прервался лишь потому, что неподалеку от нас в канале что-то сильно плеснуло.

Ольга вздрогнула и отстранилась.

– Что это?

– Не знаю, – сказал я, глядя на расходящиеся по коричневой жиже круги. Должно быть, рыба…

– С ума сошел! Какая здесь рыба?

– А тогда кто?

– Знаешь что, давай-ка пойдем отсюда, – сказала Ольга. Оторвала руки от парапета и тщательно, точно боясь заразиться, потерла друг о друга мраморные ладони.

– Чего ты боишься? – спросил я.

Она чуть передернулась:

– А вдруг оттуда вылезет что-нибудь, знаешь, этакое…

Все было безнадежно. Струи тумана стекали в воду по гранитным ступенькам. Мы снова пошли по набережной. Ольга пропустила меня, чтоб быть с внешней стороны от канала.

Я боялся дотронуться до нее. Серые неопределенные тени сползали с домов и скапливались на тротуарах.

Воздух состоял только из духоты.

– Он никогда не будет писателем, – сказала Ольга. – Мало того, его никто никогда не будет печатать. Он просто играет в гения, который не такой, как другие, и которому все позволено лишь потому, что он – гений. Этим обычно болеют в семнадцать лет, он заразился позже и потому, наверное, в особо тяжелой форме. Я думаю, что теперь ему уже не выздороветь. У него теперь год за годом будут одни неудачи. Он станет завистливым, злым. Он уже и сейчас злой. Он не может читать других – рвет книги.

Я промолчал.

– Знаешь, чего он хочет? – спросила Ольга. – Он хочет, чтобы придуманный мир был реальнее, чем настоящий. Чтобы жизнь, занесенная на бумагу, была такой же яркой, как и собственно жизнь, и чтобы в ней можно было существовать, любить и дышать, как и в самой жизни…

– Да, – сказал я.

– Он называет это – «абсолютный текст».

– Да, – сказал я.

Ольга ступала неуверенно, как слепая.

– Чушь, по-моему. Он считает, что если таким образом описать какого-нибудь человека, воображаемого, конечно, ну, например, персонаж какой-нибудь книги, то можно как бы воплотить его – перенести в наш мир. И он будет, как живой, жить среди нас.

– Дворник, – наугад сказал я.

Она вздрогнула.

– Борода лопатой… сплюснутый лоб… челюсть такая – впереди всей физиономии…

– Ты его видел?

– Фартук… метла… бляха…

Ольга в отчаянии взялась руками за щеки.

– Глупость какая. Я знаю, знаю – Антиох его выдумал…

– И топор, – сказал я, мучительно припоминая.

– Топор, – повторила она с некоторым трудом. – Так ты действительно видел его?.. Как плохо… Да – топор. Это, знаешь ли, тот самый топор, которым Раскольников убил старуху. Помнишь, у Достоевского?

– Читал когда-то…

– Дурацкая, на мой взгляд, идея. Что бы сказал о нем дворник? Может ли обыкновенный человек понять: взял топор и убил… Не из-за денег, заметь, переступить хотел…

– Постой… – сказал я.

– Вот он и придумал этого дворника. Целиком. В романе его нет. Описал внешность, дал имя, характер, ну там – привычки, от которых зависит индивидуальность… Он просто уже помешался на всех этих описаниях…

– Подожди… подожди!..

Я начинал задыхался.

– Что с тобой?

– Подожди!..

– Вот и я тоже, – медленно отпуская щеки, сказала Ольга. – Этот безумный дворник и меня тоже сводит с ума. Он мне снится, снится, я спать не могу. Закрою глаза – стоит…

– Руки, как окорок…

– Толстенные такие губы…

– Голос жалобный…

– Метет метлой воздух – ррраз!.. ррраз!.. ррраз!.. железный скрежет…

– И – топор…

– Покачивается, покачивается над асфальтом…

– Хватит!

Я даже не помню, кто из нас это выкрикнул – я или она. Может быть, и вместе. Мы резко остановились. Небо, кажется, чуть накренилось, и, кажется, чуть накренилась под нами раскаленная мостовая. Светящийся горизонт приподнял дома и улицы. Колокольня, к которой мы уже успели вернуться, словно перст, указывала куда-то наискось.

Впрочем, уже через секунду все пришло в норму.

– Он мне снится неделю подряд, – шепотом сказала Ольга. – Ты все врешь! Антиох его выдумал, выдумал! Понимаешь – выдумал!

Она глотала пустой жаркий воздух.

– Тише, – сказал я.

Тронул ее за локоть, направляя к дому.

Мы довольно поспешно пересекли пустынный проспект, правым своим концом вливающийся в такую же пустынную площадь, и оказались на другой стороне канала, где согнувшиеся от времени тополя доставали листьями почти до самой воды.

– Творец и глина, – сказала Ольга. – Этого ведь не может быть, правда?

Она со страхом заглядывала мне в лицо.

– Правда, – сказал я.

Я и в самом деле не верил, что такое возможно. Да и кто в наше довольно просвещенное время поверил бы в заклинание духов? Я вообще закоренелый материалист. Тот, кто кончил

университет, надолго проникается скептицизмом по отношению ко всяким паранормальным явлениям. Работа ученого не способствует мистическим настроениям. Когда ставишь опыт за опытом, проверяя и раз двадцать перепроверяя полученные результаты, довольно быстро убеждаешься в том, что в мире нет ничего такого – сверхчувственного. Или, как сейчас принято говорить, экстрасенсорики. Напротив, кругом – материя, сплошная материя, спасу нет, и кроме нее – ничего больше.

Вот разве что Буратино.

– Ужасный тип – грубый, наглый, – сказала Ольга, подрагивая точно в ознобе. – Он просто алкоголик, по-моему, уже с утра пьяный, глаза – красные, хлещет всякую гадость, которая подешевле, хохочет, дымит папиросами…

– Откуда он взялся? – спросил я.

– Ах, все это тоже начиналось как шутка. Вот, дескать, можно сделать игрушку из литературного образа: любимая сказка, отличный исходный материал, Алексей Толстой уже почти все сделал как надо, ерунда, осталось доработать совсем немного… Ну и притащил с улицы забулдыгу вот с таким носом, напялил на него колпак, футболку купил полосатую. Теперь так и живет у нас, – бренчит на гитаре, скандалы закатывает соседу этажом выше…

– Соседу? – догадываясь, сказал я. – Поручик Пирогов, вероятно, белобрысый такой?

Ольга кивнула.

– Похож на кролика. Антиох свихнулся совсем, подбирает то одного, то другого… Тоже – подарил ему свой костюм, дал денег, в гости почти каждый день ходит…

Перед нами поднялась на другой стороне канала багровая крепостная стена. Широкие окна в ней отражали мутное небо. По воде медленно плыли пригоршни тополиного пуха, и казалось, что это возникает призрак зимы, которая несомненно настанет.

– Нынешнюю жару тоже накликал он, – сказала Ольга. – Это невыносимое лето, когда не то что дышать – вообще жить не хочется. Он говорит, что таким образом смещается бытовая реальность, картина мира как бы плывет и в результате гораздо легче почувствовать иное пространство. То, которое существует за внешним…

Она запнулась и нерешительно освободила руку.

Дом был темен, как будто в нем никто никогда не жил. Мрачно поблескивали стекла на всех трех этажах. Только угловое окно сияло тускловатым яблочным светом. Штора в нем колыхалась, и пробегали по ней тени – в рогах и перьях.

Видимо, там, в комнате, где, вероятно, совсем не было

воздуха, в тишине норы, в нездоровом, потрескивающем и колеблющемся огне свечи невидимый для нас человек, склонившийся над столом, брызгая чернилами и продирая бумагу на длинных буквах, покусывая от нетерпения губы, лихорадочно, жутким почерком исписывал страницу за страницей – сбрасывал их потом на пол, тут же забывал о написанном, и колотящееся сердце его звенело от непрекращающегося восторга.

Ольга смотрела как зачарованная.

Веки ее дрогнули.

– Я не хочу туда, – шепотом сказала она.

Глава шестая

– На шести шагах! – яростно закричал поручик. – К барьеру! Я призываю вас в свидетели, господа, что продырявлю это говорящее полено в четырех местах!

– Но-но, без намеков, – предостерег его Буратино, взмахнув гитарой.

– Сударь! – срывающимся голосом обратился поручик ко мне. – Как человек благородный, будьте моим секундантом!

Дворник, который до этого неприятно отклонялся назад и вращал глазами, вдруг крепко взял его за лацканы пиджака, несмотря на ожесточенное сопротивление притянул и громко, словно вхлебывая кисель, поцеловал в бледный лоб.

– Вот за это и уважаю тебя, Петруха…

Потом поймал за воротник шарахнувшегося Буратино и тоже поцеловал, подняв над полом.

– Чурбачок ты мой дорогой…

– Слезу – убью, – задушевно пообещал Буратино, болтая ногами.

Со страшным звоном уронил гитару, обвязанную красивым бантом.

Я от неожиданности чуть сам не упал. На ногах удержался лишь потому, что Антиох очень вовремя подпер меня сзади.

– Это же Варахасий, – объяснил он, как будто ставя все на свои места. – Ты его не бойся, ничего, он добрый…

– Ой, да ехали на тройке с бубенца-а-ами! – внезапно завопил дворник.

– Ему сейчас главное, чтобы – чуть-чуть…

– Есть бутылка водки, – неуверенно сказал я.

Антиох вопросительно посмотрел на дворника. Тот сморщил лоб и подергал вверх-вниз головой, как лошадь от мух.

– М… м… м… – через некоторое время изрек он.

– Мало, – перевел Антиох.

– И, по-моему, еще бутылка вина.

– Ой, да мне б теперь, соколики, за ва-а-ами! – отчаянно завопил дворник.

Забытый Буратино извивался в его кулаке.

– Пусти, Варахасий, пещ-щерный человек, троглодит!..

Толстые пальцы разжались, и Буратино сверзился в аккурат на гитару, провалившись тощей ногой в дыру под струнами.

– Достаточно, – подвел итог Антиох.

Я все еще не мог спросонья прийти в себя. Они ввалились ко мне как дикий табун и сразу начали орать. Кажется,

это Буратино оскорбил чем-то поручика Пирогова. Или наоборот. Понять ничего было нельзя. Они кричали все сразу, и от гомона у меня уже начинало гудеть в ушах. Причем острый фальцет Буратино, казалось, перепиливал меня пополам, а звенящий от обиды и гнева голос поручика Пирогова хлестал тонким железом. К тому же дворник, Варахасий, как представил его Антиох, уловив меня в перекрест зрачков, припаянных к носу, непреклонным тоном потребовал чего-нибудь выпить.

– Ты человек или где?..

Я растерялся и делал множество мелких движений.

Поручик Пирогов между тем, не спрашивая никого, открыл дверцу серванта и, повозившись так, что звякнула внутри падающая посуда, извлек оттуда продолговатый полированный ящик, на кипарисовой крышке которого блеснула корона.

Поскреб ногтями – открыл.

– Извольте, сударь!

Обращенные встречь друг другу, лежали на черном бархате два пистолета с очень длинными дулами.

Я только моргал, поскольку никаких пистолетов у меня отродясь не было.

– Сударь, извольте!

Буратино, наконец выбравшийся из гитары, наскакивал на него, как петух.

– Долой царских офицеров-опричников!.. Расходись по домам, ребята!.. Ни к чему нам турецкие Дарданеллы!..

Поручик в ответ трепетал ноздрями.

– Как человек благородный!..

У меня по-прежнему гудело в ушах.

– Да дай ты им, дай, пусть стреляются, – сказал Антиох. – Ты же видишь, какой народ, не угомонятся иначе…

Я принял ящик с оружием.

– Стой! – неожиданно вклинившись между нами, крикнул дворник. – Говорю, стой! Чтобы все было культурно!

Он грубовато отобрал у меня ящик, согнутым пальцем зацепил Буратино за воротник и оттащил его к зашторенному окну. Вручил пистолет – дулом вперед:

– Держись, чурбачок!

К противоположной стене прислонил бледного и нервного поручика Пирогова:

– И ты не робей, Петруха…

Встал под люстрой и задрал волосатую руку.

– На старт… внимание… марш!..

Оглушительно грянули выстрелы. Комната дрогнула и заволоклась непроницаемым дымом. На мгновение все исчезло.

Послышался глухой и тяжелый удар. А когда дым рассеялся, кстати, как-то на удивление быстро, я увидел, что Буратино и поручик стоят на своих местах – невредимые, по-гусиному вытянув шеи и всматриваясь вперед, а точно посередине между ними обоими, как колода, на полу, лицом вниз лежит дворник.

Антиох нагнулся и слегка потрогал его.

– Варахасий…

– Ну?

– Ты жив?

– А вдали мелька-а-али огоньки, – сказал дворник. Подумал немного, посопел и добавил: – Маленькие такие огоньки… Можно сказать – огонечки…

Зачем-то постучал лбом об пол.

Звук был хороший, гулкий такой, уверенный.

– Встань, пожалуйста, – попросил его Антиох. – Ну, поднимись-поднимись, смотреть на тебя больно.

Дворник по частям поднялся и отряхнул колени ватных штанов.

– Чуть не упал, – сумрачно объяснил он.

Потом Антиох начал разливать по стаканам. Все, оказывается, были уже за столом и терпеливо взирали на это ритуальное действо. Как это получилось, я не очень-то понял. Словно повернулся круг и произошла мгновенная смена декораций. Сцена первая – они стреляются в комнате, сцена вторая – они в той же комнате, но уже все за столом. В промежутке как отрубило, никаких подробностей. Однако факт оставался фактом, декорации действительно изменились. На столе была даже скатерть, которую они где-то нашли. Стояла бутылка водки, и были криво порезаны колбаса, хлеб и сыр. Они, видимо, опустошили весь мой холодильник. Влажно дымилась гора сосисок, и Буратино, ухватив сразу две, жевал их – прямо с полиэтиленовой кожурой. В то время как поручик Пирогов, наверное еще не остывший от ссоры, косился на него и двигал в такт пустыми челюстями, примериваясь. Дворник же изучал наклейку на кильках в томате: щурил то один глаз, то другой, то, будто принюхиваясь, расширял ноздри. Лицо у него было очень сосредоточенное. Я хотел было предупредить, что эта банка валяется у меня еще с прошлого года, ботулин полезен не всем, иные от него умирают, но Антиох в ту же минуту сунул мне в руки стакан.

Водки там было так – на две трети.

– Однако круто берете, – заметил я.

– А посмотри на народ, – убедительно сказал Антиох.

– И что?

– Ты посмотри, посмотри…

Народ в лице дворника, сильно пыхтя, прилаживал к банке консервный нож. По нему вовсе не было видно, что алкоголь – это яд.

– А ведь мы тебя ждем, Варахасий…

– Сичас-сичас…

– Все – тебя одного…

– Серость свою показывает, – подтвердил Буратино.

– Ну, ишо секундочку, – пыхтя, попросил дворник и вдруг сильным движением разъял банку на две половины. Оказывается, он разрезал ее поперек. Красный томатный соус хлынул на скатерть. Дворник суматошно задергался, впихивая его обратно в банку, но оттуда взамен посыпались скучные пучеглазые кильки.

Антиох молча отобрал у него обе изуродованные половинки и придвинул стакан. Подождал, пока все не обратились к нему.

– За вечную жизнь!

Это он засадил.

Я даже вздрогнул.

– И-эх! – сказал Буратино, опрокидывая свою порцию в щель рта.

Поручик, как человек военный, уже занюхивал краем мятого рукава.

Я с сомнением посмотрел на свой стакан. Я пью редко, очень малыми дозами и не нахожу в этом никакого удовольствия. Что тут хорошего: накачиваешься разной дрянью, а потом ночью тошнит и голова – будто ее набили слежавшимися опилками. Терпеть не могу алкоголь. Особенно водку. Тем не менее из вежливости я тоже поднял стакан и вдруг заметил, что он уже совершенно пустой. Абсолютно пустой – один пустой воздух. Только по граням сползают тяжелые, будто ртутные капли.

Когда это я успел его осушить?

Я потряс головой.

– За вечную жизнь, значит, пьешь, а сам умер, – с причмокиванием облизывая пальцы, сказал дворник.

Он поедал кильку, выковыривая ее из двух полукружий. Ядовитый багровый соус капал ему на бороду.

Антиох весело мне подмигнул.

– Варахасий-то как освоился. Раньше все руку пытался облобызать, а теперь, видишь, хамит.

Дворник задумчиво посмотрел на меня, а потом – на него.

– Так ведь нет тебя, – очень серьезно сказал он. Сложил земляную ладонь ковшом и дунул, как будто в ней находилось что-то невидимое. Затем проследил полет этого невидимого

к потолку. – Фу! Улетел… – также очень серьезно сообщил он.

Антиох погрозил ему пальцем.

– Смотри, Варахасий, я тебя породил, я тебя и того…

– Кто умер? – не понял я.

Антиох засмеялся.

– За вечную жизнь, сам понимаешь, надо платить.

– Что-то дорого, – прикинув, сказал я.

– Цена здесь всегда одна. И вряд ли когда-нибудь будет иначе.

Поручик Пирогов уже некоторое время нетерпеливо смотрел в нашу сторону.

– Господа, господа, – расслабленно-капризным голосом сказал он. – Право, господа, скучная это материя… Лучше бы, как принято среди благородных людей, о чем-нибудь таком… ик!.. о возвышенном… Вот со мною вчера приключилась необыкновенная, можно сказать, история. – Он оживился, кончик носа и мочки ушей у него несколько покраснели. – Иду я, представьте себе, по улице, никого не трогаю, ну, везде, естественно, натюрморт, лето, естественно, воробьи, естественно, заливаются, в голове, естественно, легкость такая – необыкновенная… А навстречу мне, – вы слушайте-слушайте, господа! – тюп-тюп-тюп, этакое, значит, создание, волосы у нее распущены, платье, между прочим, до сих пор, честное благородное слово, не вру! Декольте дотуда же, чулочки прозрачные, и еще она, значит, бедрами, господа, туда-сюда, туда-сюда. Боже мой, откуда она только взялась! – он зажмурился, длинно причмокнул и снова открыл глаза. – Я, конечно, ей по-гвардейски: позвольте, мадемуазель, так сказать, нах хаузе цурюк битте. А она отвечает: папаша, голову сперва вымой, папаша… Просто ангельский голосок, никогда, господа, поверьте, такого не слышал! Я тогда намекаю ей, что, дескать, мадемуазель, самое время для нас нах хаузе битте цурюк. – Поручик изобразил пальцами, как намекает. – И что вы думаете, господа? И мы в Париже! – победно заключил он.

– В самом деле, – сказал Буратино, прикуривая от хабарика. – Пригласил, дядя, чтобы культурно провести время, а что мы имеем? Ничего не имеем, если говорить в результате. Он зажал сигарету зубами и потащил с дивана гитару. Прокуренным ногтем тронул струны. Объявил громко, как конферансье: «Итак, полька-бабочка!» – однако заиграл почему-то «Танец маленьких лебедей» из соответствующего произведения. Правда, лихо заиграл, профессионально, как будто с детства учился.

– Ну, – сказал Антиох, – покажем напоследок, как падают

звезды?

– Баба – оно баба и есть, – изложил Варахасий свою точку зрения на предыдущий вопрос.

Но поднялся и тоже вышел на середину комнаты. Поручик Пирогов, как девушка, стал между ними.

– Але! – торжественно сказал Буратино и с «Танца меленьких лебедей» действительно перешел на какую-то польку-бабочку.

В общем, кордебалет получился на высшем уровне. Было очень весело. Всем, кроме меня. Дворник откалывал такие коленца, что из пола от сотрясения вылезали перкетины. Извлек откуда-то грязный носовой платок и бурно тряс им, точно на деревенской свадьбе. С платка сыпались вот такие бациллы. Антиох подвывал и, вытянув к потолку руки, колебался всем телом, как водоросль. У него, по-моему, даже лицо стало зеленым. А, вероятно, уже совсем ошалевший к тому времени Буратино забрался вместе с гитарой на стол и там, как кузнечик, прыгал среди посуды. Кстати, играть он от этого хуже не стал. Однако все затмило поведение поручика Пирогова. Вероятно, решив, что ему как человеку военному и благородному участвовать в подобных развлечениях не пристало, он в какой-то момент замер посередине комнаты, бледный и вдохновенный, вытянулся в струнку, взмахнул невидимой саблей и парадным голосом завопил, так что на окне от звукового удара выгнулись шторы:

– По-о-олк!.. Слу-у-ушай мою команду!.. На его высокопревосходительство главнокомандующего великого князя Сергея Александровича – рысью!.. Арш!..

После чего начал маршировать, раздувая щеки.

– Бум-бум-бум!.. Бурубу-бум-бум-бум!..

Видимо, изображал оркестр.

То есть весело было действительно всем, кроме меня. Два часа ночи. Я ждал, что вот-вот примчатся снизу соседи с ружьями и топорами. Пора было как хозяину решительно прекратить все это. Но когда я, наконец, умудрился подняться на ноги и отойти от стола, который почему-то покачивался, будто в шторм, свет вокруг стал ужасно тусклый, словно люстру обернули плотной шерстяной тканью, и поплыли сквозь комнату тени, превращающиеся то в облака, то в кисейные занавеси. Я никак не мог среди них пробраться. У меня дрожало в глазах, и комната казалась чужой, будто переставили мебель. Здесь что-то было явно не так. Я топтался один, как медведь, вылезший зимой из берлоги. Все куда-то исчезли.

– До-ро-го-й дли-и-инною-ю!.. – во всю мощь гремело где-то поблизости.

Я напряженно соображал – где и не мог понять?

Вдруг появился взъерошенный Антиох и распахнул дверцы шкафа.

– Варахасий, ты что это? Много себе позволяешь, Варахасий…

Дворник стоял внутри, сапогами на моем выходном костюме, ощутимо покачиваясь и самозабвенно набирая в грудь воздух.

Он неуверенно открыл один глаз.

– Что по ноча-а-ам так му-у-учила меня-а-а!..

– Выходи, Карузо!

Затрещала фанера стенок – вспучилась, со стоном оскалились гвозди. На моем костюме отпечатались чем-то жидким две огромных молодцеватых подошвы.

– Деготь, – ободрил меня дворник. – Ничего, не робей. Деготь – он, мил-человек, безвредный…

Мы каким-то образом снова оказались сидящими за столом. Было по-прежнему весело и по-прежнему, вероятно, всем, кроме меня. Варахасий, грузно поставив перед собой локти, жрал колбасу. Безобразная томатная лужа расплылась от него по скатерти через весь угол. Жалобно изогнулись в ней две кильки, погибшие лет пятьдесят назад, вероятно, от эпизоотии, а чуть дальше, уткнувшись в самую гущу соуса, тикал взявшийся неизвестно откуда будильник. Будильник-то им зачем понадобился? В свою очередь у поручика Пирогова жидкие, бесцветные волосы стояли дыбом, наподобие венчика. Он, видимо, крепко остекленел после принятого: ужасно скрипел зубами и невнятно ругался. Что же касается подозрительно затихшего Буратино, то оказывается, он чуть не прокалывал носом большую детскую книгу, на глянцевой обложке которой был изображен он сам, счастливо взирающий на довольно-таки уродливый золотой ключик.

Вероятно, содержание книги его не радовало.

– Папа Карло, папа Карло – пропил мою новую курточку, злобный старик…

– Не горюй, чурбачок, – утешал его дворник, – завтра сдадим посуду, купим тебе еще лучше…

– Не дарил он мне новой курточки, и букварь не дарил, чтоб я сдох, – горько жаловался Буратино.

Из глаз его вытекали самые настоящие слезы. Они капали поочередно в тарелку, и там уже собралась приличная лужица. Буратино меланхолично выплеснул ее на пол, а пустую тарелку почему-то поставил на телевизор. Там уже скопилось изрядное количество грязной посуды: стопка блюдец, три или четыре фужера, кастрюля из-под картошки, которую я вовсе не приносил в комнату.

Поручик Пирогов решил внести в разговор свою лепту.

– А вот была у меня кобыла, – сказал он, для значительности, вероятно, длинно скрипнув зубами.

– Ну? – вытирая нос пальцем, заинтересовался повернувшийся к нему Буратино.

– Анемподистой звали…

– Ну?

– Красивое имя, благородное… Бедра – во! Не поверите, господа, – поручик развел руками, показывая, какие бедра. – Сам князь Синепупин завидовал. Шесть тысяч, говорит, не глядя, даю за твою Анемподисту. Нет мне без нее жизни… Нет, говорю тоже, князь, ваше сиятельство, говорю, господин поручик, хотите хоть что, но мне Анемподиста дороже…

Он замолчал.

– Ну? – подождав некоторое время, опять спросил Буратино.

– Нет Анемподисты, – поручик заскрипел зубами, будто жевал стекло. – На шести шагах стрелялись, на Карповке, через платок, по четыре заряда… Шляпу мне прострелила, подлая…

Он умолк в некотором остолбенении.

– Нравятся? – тихонько спросил меня Антиох. – Где еще таких откопаешь? Все-таки, по-моему, неплохая работа. Совсем как люди, только кровь голубая.

– Почему голубая? – удивился я.

– А бог его знает, голубая и все. Какая разница, им не мешает…

Он набухал мне целый стакан водки. Рука не почувствовала тяжести, словно стакан был невесомый.

Казалось, разожми пальцы – и он повиснет в воздухе.

– Не веришь? А ты у Варахасия наведи справки. Варахасий мужик прямой. Эй, Варахасий, скажи, кто тебя сделал?

Прямой мужик Варахасий уронил колбасу.

– Опоганился я тут совсем, – тоскливо ответил он, глядя куда-то в пространство. – Автобусы смердящие, электричество какое-то выдумали, колбаса – черт те из чего, правда, вкусная. Третьего дня пошел в церковь грех замолить, чуть, господи, не пропал, боже ты мой, срамотища!.. Бабы – в брюках, дворяне с фотоаппаратами поперек себя лезут, девки голоногие, без платков – в божьем-то храме!.. Выперся батюшка, этак, значит, подпрыгивая, как стрекозел. Чего, говорит, дедок, надо, у нас группа интуристов обслуживается. Сам – в спинджаке, бороденка хлипенькая, усы тараканьи – плюнуть хочется, господи, чтобы не сказать больше!.. А в руках у него такая, значит, заостренная палка, и он этой палкой в святую икону тычет. Чтобы, значит, видели, куда лоб крестить. Ну, отвечаю ему, как положено:

грешен, батюшка… Говорит: грешен – значит молись, дедок, накладываю на тебя эпиталаму. А сам зубы скалит, и бабы крашеные вокруг: хи-хи-хи… хихоньки строят… Ну – дал ему в зубы-то, он и полетел вверх копытами. Забрали в милицию, пока все деньги не пропил с ними – не отпустили… – он размашисто перекрестился и впился в Антиоха темным истовым взглядом. У него даже борода задрожала. – Об одном тебя прошу Христом Богом: верни обратно. Верни, прошу – одним грехом тебе меньше будет…

Если бы он не сидел за столом, то, наверное, бухнулся бы на колени.

Антиох несколько отстранился.

– И рад бы, да никак, Варахасий, – сочувственно сказал он. – Нет больше моей власти над текстом. Тебе бы кого другого поискать надо. Я уже все – переступил порог, дверь захлопнулась. Оттуда возврата нет.

– Анемподя моя, – со слезой проскрипел поручик.

Дворник же перевел тяжелый, сумрачный взгляд на меня и, по-видимому не найдя в моей внешности ничего интересного, снова кинул в рот кусок колбасы.

– Я так думаю, что рюмизмы это, – загадочно сказал он.

– Чего-чего?

– Рюмизмы, – тупо повторил дворник. – Испарения такие, которые, значит, из-под земли образуются. Ее, то есть рюмизму эту, вдохнул – и у тебя, мил-человек, значит, видения. Потом, значит, снова выдохнул рюмизму-то, говорю, и сразу – ничего этого нету…

– А как же ты сам, Варахасий?

– И меня тоже нету, – упрямо сказал дворник.

Я окончательно перестал что-либо понимать, тем более что в эту минуту как сумасшедший затрезвонил стоящий посередине томатной лужи будильник. Металлическое дребезжание раскатилось у меня прямо под черепом. Я подпрыгнул, прихлопнул его ладонью и здорово укололся.

– Тс-с-с, дядя, нос мне своротишь, – шепотом сказали из-под стола.

Обстановка вокруг опять резко переменилась.

Стемнело как перед сильной грозой, и сгустками серой тревоги выступили вперед углы мебели. Комната как-то странно перекосилась: стена с окном оказалась вверху и занавески колыхались, как проплывающие облака, противоположная же стена, наоборот, опустилась и мрачноватым прямоугольником зияла в ней дверь в прихожую. На концах же этой тупоносой качели вертикально по отношению к полу и, значит, почти

горизонтально ко мне, непонятно каким образом сохраняя в этих условиях равновесие, будто памятники застыли две вытянутые фигуры.

По силуэту в фосфоресцирующем, мутном окне я узнал Антиоха. Простерши руку с зажатым в ней чудовищным пистолетом, он целился куда-то вниз.

А снизу, из проваленной темноты, капризным голосом требовали:

– Опровержение! Во всех газетах! Немедленно!..

Дворник гигантским четвероногим жуком карабкался по паркету.

– Сичас, сичас, ребята, все будет как в тиятре…

– Чего это они? – спросил я.

Буратино высунул голову из-под стола.

– Ложись на пол, дядя. Укокошат ведь, озверел народ…

И снова утянулся под стол.

– Кантемирыч, – устало сказал я. – Честное слово, ни хрена больше не соображаю. Честное слово, шли бы вы лучше домой…

– Выгоняешь? – весело спросил Антиох.

– Не выгоняю – прошу…

– Ладно-ладно, – сказал Антиох, – уже заканчиваем.

– Ни фига, – решительно возразил дворник. Он как раз добрался до середины и выпрямился, балансируя на расставленных кривоватых ногах. – Я как секундар… Как серкундат… В общем – пущай палят!.. Готовься, то есть, ребята, закрывай левый глаз! – ноги у него поехали, и он чуть было не упал. Отчаянно, будто птица, взмахнул ладонями. Ну ты куда целишься, дура военная? Обалдел что ли? Ты же в меня целишься!.. Поверни, говорю, дуло вон в тую сторону… Чурбачок, ты спрятался?

– Валяй! – пискнул из-под скатерти Буратино.

– Тимофей! Фужер шампанского, скотина! – неожиданно закричал снизу поручик.

Я едва различал его в темноте.

Дворник поднял руку.

Будет тебе сичас шанпанское… Ну – айн… цвай… драй!..

Одновременно грохнули выстрелы. Комната на мгновение озарилась мертвенной вспышкой. Я успел заметить, как поручик, нервно дрыгнувший телом, выронил пистолет, а затем все вокруг затянуло клубами порохового дыма.

Что-то рухнуло на пол.

Тонкими голосками задребезжала опять посуда в серванте.

Я по-прежнему ничего не соображал.

– Все, дядя, пора завязывать, – трезвым голосом сказал

выкарабкавшийся из-под стола Буратино.

Глава седьмая

Меня разбудила Ольга.

– Ты стонешь…

Я сел, задыхаясь и сглатывая сквозь горло комок горячего воздуха. Слепо пошарил вокруг. Простыни были влажные и сбившиеся в тугие жгуты.

Ольга смотрела на меня из-за края подушки.

– Птицы? – спросила она.

– Что – птицы?

– Тысячи птиц поднялись из леса и потянулись к закату…

– Нет, – сказал я. – Ничего такого.

– Значит, рано еще.

– Для чего рано?

– Просто рано. А потом сразу же будет – поздно…

Она прикрыла глаза.

– Ничего не понимаю, – сказал я, усиленно растирая лицо. – Сон какой-то дурацкий. Можешь себе представить – звонят, я, конечно, иду открывать. А за дверью, как ты думаешь, кто?

Я осторожно поправил подушку.

– Мне подробности не интересны, – сказала Ольга. – Я все это уже проходила и во второй раз не хочу. Я все это уже слышала, слышала, слышала… Опять то же самое. Я надеялась, что ты по крайней мере не видишь снов…

Глаз она не открыла.

Я опустил ноги на горячий паркет.

– Ты куда?

– Хотя бы воды попью.

– Ничего не меняется, – без всякого выражения в голосе сказала Ольга.

– Спи, – ответил я и пошел на кухню.

Квартира у меня крохотная, больше похожая на мышеловку. Кухня – четыре метра, она же – прихожая, поскольку сюда открывается дверь на лестницу. Вешалка, плита, неуклюжий стол, проход в ванную. Сидеть можно лишь на одной табуретке, притиснутой к батарее. А если забудешься и чересчур выпрямишься, например вставая, то обязательно треснешься головой об угол шкафчика. Зато есть у этой квартиры и определенные преимущества: последний, шестой этаж, ничто не загораживает вида из окон. Ночью в комнату проникает легкий звездный туман, и тогда кажется, что паришь в одиночестве над спящими городскими кварталами. В мире нет никого кроме тебя, и ты волен жить так, как сам этого хочешь. Впрочем, сейчас

я ничего подобного не испытывал. У меня ужасно склеивались глаза, и непреодолимая зевота раздирала челюсти. Все тело было словно из мокрой ваты. Я протиснулся к табуретке и чуть было не своротил с плиты чайник. Агонизируя, захрипела вода в тесных трубах. Какое-то тягостное отупение овладело всем телом. Всплывали и как в кривом зеркале искажались зыбкие карикатурные физиономии: дворник, заросший до глаз черным волосом, ухмыляющийся Антиох, тычущий острым носом эпилептический Буратино. Поручик Пирогов поднимал пистолет, и беззвучное белое облако вспухало над дулом.

Я инстинктивно вздрагивал.

Время едва сочилось.

Около семи пришла Ольга, завернутая в простыню, и примостилась напротив.

– Ну и как? – с вялым любопытством спросил я.

Она не ответила.

– Снов интересных не было?

– Мне никогда ничего не снится, – сухо сказала Ольга.

– Никогда? – уточнил я.

– Никогда.

Она неторопливо кивнула.

– Чаю хочешь?

– Пожалуй…

Она молча подождала, пока не закипит поставленный на газ чайник, а когда кипяток был розлит по чашкам и, завариваясь, начал приобретать насыщенный золотистый оттенок, сказала, глядя на плавающие среди пара редкие сухие чаинки:

– Мы с тобой больше встречаться не будем.

Кажется, я понимал, что она имеет в виду.

– Ты хотела освободиться?

– Да.

– Ну и как, удалось?

Ольга пожала плечами.

– По-видимому.

– Мне придется сказать ему об этом, – предупредил я.

– Ты туда пойдешь?

– Иначе это будет выглядеть уже совсем некрасиво.

– Ах, вот ты о чем. Ну, это как раз не имеет значения.

– К сожалению, для меня имеет.

Она снова пожала плечами.

– Ну, ради бога, сходи.

Несколько долгих секунд мы перемешивали заварку в чашках, а потом я спросил о том, что уже давно приходило мне в голову:

– У тебя кровь какого цвета?

– Голубая, – спокойно сказала Ольга.

И впервые, по-моему, подняла светлые, бесчувственные, как из тумана, глаза.

Неживой холод, казалось, исходил от ее лица.

– Голубая, – негромко повторила она…

До знакомого дома я добрался, наверное, минут через тридцать. Я не помнил ни как я шел, ни почему выбрал этот длинный обходной путь вдоль набережной канала. Скорее всего, это было сделано чисто интуитивно. Словно кто-то другой, более внимательный и рассудочный, управлял в этот момент моей жизнью и, оберегая ее по мере сил, направлял туда, куда считал нужным. Так что в памяти у меня остались лишь зеленая тинистая вода в канале, выкрошившиеся фестончики на домах, образующих очередной изгиб набережной, потрескавшаяся кора деревьев, вздыбившаяся кое-где страшной щетиной, да еще двое мальчишек, торопливо и как-то испуганно завозившихся у поребрика тротуара. Вдруг они что-то бросили, отскочили, остановились. И в ту же секунду вздулась вдоль тротуара призрачная стена пламени и через мгновение выдохлась, оставив после себя взлетевший чуть не до крыш легкий пепел.

Более – ничего.

На лестнице, куда я ступил, стоял цветной полумрак. Будто клавиши фантастического рояля, утопали поочередно красные и синие тени. Я поднимался и думал, что совсем не хочу разговаривать с Антиохом. Ну его к черту! Пусть сам разбирается в созданных им же самим проблемах. Вот он их сам создавал – вот он пусть сам в них и бьется. А с меня хватит. Это мой последний визит в их квартиру. И еще я чувствовал, что почему-то совсем не хочу видеть Ольгу. Вот она жила как будто в своем собственном загадочном мире – вот пускай она там дальше и пребывает. А я лично совсем из другого мира, и тот мир, где она, меня вовсе не привлекает.

Яркий луч света из выбитого стекла перегораживал лестничную площадку. Я прошел сквозь него, и он будто отделил сон от яви. По одну сторону остались причудливые игры воображения, а по другую – вещественная прочная жизнь, реальность которой ни на секунду не оставляла сомнений.

Дверь в квартиру была заперта. Я подергал ее – брякнула ручка, удерживаемая наполовину вылезшими шурупами. Ольга на всякий случай дала мне ключи. Пальцы меня не слушались, и я долго не мог просунуть бородку в кривоватую скважину.

Звонить у меня почему-то желания не было.

Коридор, как всегда, пересекали ребра желтого света. Словно

я оказался внутри скелета какого-то громадного ископаемого животного. Тут же обо что-то ударился; выехало из ниши ведро, закопченное, будто пространствовало по кострам отсюда до океана.

Я, чертыхаясь, потер ушибленную голень.

«Ну это еще не совсем худо», – внятно сказали над самым ухом.

Я так и подпрыгнул. Завертелся на месте. Однако рядом никого не было. Коридор был пуст. Из глубины его желтых ископаемых ребер тянул душный сквозняк. Я подождал немного и отодвинул ведро. Оно чуть ли не до краев было набито хлопьями сажи.

Похоже, что бумагу здесь жгли долго и основательно: пепел перемешивали и уминали, а сверху наваливали следующую порцию. Причем жгли это не на улице, а именно здесь: по затертым обоям крыльями ночной бабочки распахнулись бархатные черные пятна.

Весело тут у них, подумал я. Громко покашлял – ни один звук не отозвался в недрах квартиры.

Было тихо, точно в аквариуме.

Я сделал шаг, и половицы тревожно скрипнули.

«Дурень! Дурень! Дурень!» – неожиданно закричали где-то под потолочными перекрытиями.

Захрюкали, завизжали, залаяли – целой сворой.

Я опять подскочил.

И опять голоса обрезало, словно их никогда и не было.

Снова загробная тишина царила в квартире.

У меня возникло сильнейшее желание повернуть обратно. Повернуть – и уже никогда, никогда больше не приходить сюда. В конце концов! Я – взрослый и самостоятельный человек. Черт с ним, с Антиохом. Пусть сходит с ума как хочет. А лично мне подобные фокусы совсем не нравятся. С досады я пнул ведро и тут же запрыгал на одной ноге, шипя от боли. Танец был исполнен короткий, но энергичный. Отрезвило в момент и, главное, по-настоящему меня разозлило. Вот теперь я готов был высказать все, что я по этому поводу думаю. Я был готов ко всему, лишь бы сам Антиох оказался дома. Уж я ему действительно скажу все, что думаю. Все, что накопилось за последние дни, и никакие его увертки меня не собьют.

Я решительно двинулся по коридору.

К счастью, Антиох оказался дома. Он сидел за своим столом – сильно откинувшись и надменно задрав подбородок.

Как я воевал в коридоре с ведром, он, конечно, не слышал.

Или, может быть, слышал, но не счел нужным обращать

на это внимание.

Он – думал.

Это разозлило меня больше всего.

Тоже – мыслитель!

– Привет, – хрипло сказал я.

Кажется, он кивнул.

Кстати, в комнате в этот раз было наведено что-то вроде порядка: подушка с пола исчезла, книги ровными рядами стояли на полках. Те, которые не поместились, – сложены аккуратными стопками. Стулья – подняты, тюлевая занавеска – отдернута, а ужасная пыль, которая хлопьями копилась в углах, тщательно выметена. Странно было видеть здесь блеск дерева и эмали. Как-то это не соответствовало обычному образу Антиоха. Но что самое любопытное, исчезли дикие завалы бумаги. Ни единой страницы больше не валялось ни на полу, ни на диване, ни на подоконнике. Видимо, как раз ее и сожгли в коридоре. Только на столе, придерживаемые пальцами Антиоха, лежали три аккуратных листочка.

Именно они прежде всего бросались в глаза.

– Надо поговорить, – сказал я.

Голос у меня ощутимо дрожал. Я это чувствовал и потому злился и на себя, и в первую очередь – на Антиоха.

Я ненавидел его в эту минуту.

«Чтоб вы все перелопались, дьявольское племя!» – колокольным басом прогудели вверху.

Я снова дернулся.

– Выключи магнитофон!

Антиох загадочно улыбался.

– Ты слышишь?

Он, по-моему, опять чуть заметно кивнул.

Я подошел к столу.

– Але, Кантемирыч…

Но даже при таком напоре Антиох не пошевелился. Он по-прежнему сидел, загадочно улыбаясь и подняв лицо к потолку. Черные его волосы топорщились, как у больной птицы, а на кармане мятой рубашки расплывалось небольшое пятно багрового цвета. Точно капнули туда, например, вишневым соком. Я, не знаю зачем, протянул руку и тут же отдернул. Лоб у Антиоха был как кусок льда, глаза – пластмассовые. Я опомниться не успел, как отскочил – снова к двери. Солнечная жара переливалась через подоконник, и над паркетом парили комочки невесомого пуха.

Вот один из них дрогнул и медленно поплыл вдоль плинтуса.

Антиох по-прежнему улыбался.

Губы его застыли.

Он был мертв.

Между прочим, я вовсе не обманывал нагловатого Буратино. Я действительно не курю. Когда-то начинал, а потом бросил. Не чувствовал в этом никакого вкуса. Однако тут онемевшими пальцами нащупал пачку, сунутую между полок, прикурил, поскольку и зажигалка пребывала в этом же месте, и затянулся впервые за много лет, разрывая легкие, – до отказа.

Вкус табака был непереносимый. Сразу же неприятно защипало во рту.

Весело тут у них.

«А чем ты, старый дьявол, бьешь?» – спросил ехидный женский голос.

Причем непонятно, откуда спросил. Да и неважно откуда. Я уже почти не обратил на него внимания.

Двинулся по воздуху второй легкий комочек.

Антиох был мертв.

Никогда в жизни я еще не видел такой безмятежной улыбки.

Тоненько скрипнула паркет, и в комнату просочился здоровенный котище с поднятым кверху хвостом. Морда у него была совершенно бандитская. Именно его я, по-моему, видел когда-то в проходном дворе.

Впрочем, не знаю.

– Доброе утро, – вежливо сказал я.

– Мя-я-у!..

Сигарета у меня потухла, и я ее выбросил. Слегка подташнивало, и пришлось сделать несколько сильных вздохов, чтобы прийти в себя. Правильно Минздрав предупреждает насчет курения. Затем я присвистнул и с непонятной для меня самого целью обошел всю квартиру. В пустых комнатах стояла жутковатая тишина. Сияли стекла, сверкали свежевымытые полы. Уже знакомые скрипы и шорохи распадались в углах. И от безлюдья, от свежей вымытости и тишины возникало ясное чувство, что это уходит жизнь, которой здесь больше нет места.

Кот следовал за мной по пятам и громко мяукал.

Мне не было жаль Антиоха. Сейчас мне казалось, что он должен был кончить именно так. Я нисколько не удивился. Ничего другого, по-видимому, не оставалось.

«Дурень! Дурень! Дурень!» – опять сказали откуда-то сверху. Но – уже шепотом, как бы издалека, затихая.

В холодильнике я нашел пакет еще годного молока, налил в блюдце и покрошил туда булку из хлебницы. Кот припал к блюдцу, остервенело урча, чавкая, как бегемот, и постукивая жестким хвостом по паркету.

Я не удержался и погладил его.

Он, не отрываясь от молока, поджал уши.

Все, что я взял на память об Антиохе, это – три страницы, лежавшие перед ним на столе.

Я сложил их вчетверо и засунул в карман.

А потом я выгнал из квартиры кота, вышел сам и закрыл дверь.

Глава восьмая

Ночью город заволокло тяжелыми, рыхлыми тучами. Как огромные черепахи, неторопливо тащились они по небу, цепляли ластами крыши, трубы, наполняли сырым туманом верхние этажи. С утра начал накрапывать дождь. Сначала – редко, будто примериваясь, а потом все чаще и чаще. И вдруг за какие-то две-три минуты простерлась вокруг непроходимая водная пелена. Раскинулись и тут же вспенились лужи. Асфальт стал черным. Побежали от водосточным труб шипящие мусорные ручьи. Твердые костяные пальцы забарабанили в окна…

Мы ждали своей очереди в вестибюле – вырванные из обычной жизни, чужие друг другу люди. Народу на церемонию собралось немного, за прошедшее время Антиох растерял почти всех знакомых. Пришли сослуживцы с его последней работы: трое ответственных, очень серьезных мужчин, осознающих важность момента. Они держались как бы отдельно от остальных, разговаривали вполголоса, сближая тугие галстуки, часто выходили курить под навесом на улице, и тогда сквозь стеклянную дверь видно было, как они смыкаются головами и вдруг снова откидываются, гася веселье. Наверное, рассказывали анекдоты. Пришли две полустертые школьные приятельницы в темных платьях. По их вытянутым и несчастным лицам было ясно, что они и сами не знают, зачем явились. Видимо, сочли, что уклониться в данном случае неудобно. Они как-то быстро выяснили, что я тоже, оказывается, учился с ними, прилепились с обеих сторон и вязко, с тягостными подробностями предавались воспоминаниям. Одна не любила, оказывается, математику, а другая, оказывается, любила. Одна не помнила учителя по кличке Паук-Крестовик, а другая помнила и говорила, что кличка у него на самом деле была – Бергамот. Обращаясь ко мне, обе запинались и трогательно краснели, очевидно забыв мое имя и мучаясь теперь от неловкости. Впрочем, продолжалось это не слишком долго. Та, которая любила математику, быстренько сориентировалась и исчезла, сославшись на пятерых детей, а другая, помнившая учителя Бергамота, тут же забилась в угол и впала в каталептическое состояние. Больше она не сказала ни слова, и, честно признаться, я был этому только рад.

Пришла какая-то дальняя родственница Антиоха – старушка, похожая на воробья, перевязанная платком. Из него высовывались лишь нос и сухенький подбородок. Она потерянно бродила по залу, исподтишка разглядывая присутствующих, легко

вздыхала и вытирала платочком быстрые слезы. Пару раз я осторожно извлекал ее из соседних групп, где она, прижимая ладони к груди, что-то рассказывала обступившим ее молчаливым, вежливым людям. Освободившись, она рассеянно благодарила меня, снова легко вздыхала и семенила дальше.

Был еще один незнакомый мужчина, вроде бы державшийся неподалеку от нас. Я его не помнил, и думаю, что он просто ошибся группой.

Явились также дворник и Буратино. Варахасий по этому случаю надел новый, негнущийся ватник, расчесал бороду и надраил кирзовые сапоги. По внешнему облику его принимали за местного: то и дело отзывали в сторонку, назойливо о чем-то шептались, совали деньги. Варахасий всем все обещал, но денег не брал. Буратино же наконец снял свой полосатый колпак, и у него обнаружилась лысая, старческая голова в редкой щетине. Он непрерывно оглядывался и шмыгал хищным носом. Время от времени они вместе с дворником ненадолго скрывались по лестнице, которая вела к туалетам, и потом возвращались минут через пять – в меру поправившиеся и оживленные.

Поручик, закутанный до переносицы шарфом, подняв воротник и до глаз сдвинув шляпу с мокрыми обвисающими краями, воровато скользнул внутрь – привлекая тем самым общественное внимание, и умоляющими жестами подозвал меня.

– Ради бога, сударь, не выдавайте, кто стрелял, – пойду на каторгу!

Он горбился, по-видимому стараясь казаться как можно меньше. Со шляпы капало, а от пальто, которое он несмотря на жару напялил, разило сыростью. Я ему процедил что-то сквозь зубы, и он исчез, растворившись в прозрачном буреломе дождя.

Ольга пребывала в непроницаемом одиночестве. Она как прислонилась к ноздреватой стене, украшенной с двух сторон от нее мрачными традесканциями, так и простояла все сорок минут ожидания – ни разу не шелохнувшись и не сделав попытки с кем-либо поговорить. Никто к ней не подходил. Никто даже, по-моему, не подозревал, что она тоже отсюда.

Я поздоровался с ней издали.

Она едва заметно кивнула.

Дождь глухо рокотал в пустоте обширного зала, наружные стены которого были целиком из стекла. Казалось, что мы находимся под водой, и внутренний дворик, где меж длинных луж мотались пионы, только усиливал это не слишком приятное ощущение.

Мне все время хотелось выйти наружу. Церемония почему-то задерживалась, и стрелки круглых часов на стене приклеились

к циферблату. Мне даже чудилось, что они просто остановились. Времени больше нет, и впереди у нас всех уже ничего не будет.

Я, по-видимому, просто очень устал. Дело Антиоха вел молодой и, вероятно, поэтому чересчур настойчивый следователь. У него на лацкане пиджака был даже приколот ромбик, свидетельствующий о высшем образовании. Вызывал он меня к себе, наверное, раз восемь, и довольно быстро стало понятно, что для него я – главный подозреваемый. В основном потому, что больше подозревать было некого. Он извел меня вопросами, которые, по-моему, не имели никакого отношения к делу. Например, не было ли у нас с Антиохом каких-нибудь общих коммерческих интересов? Или – как получилось, что после такого длительного перерыва в знакомстве мы, практически позабыв друг о друге, опять стали встречаться? Не кажется ли вам самому это несколько странным? Причем, что бы я не ответил ему, это немедленно фиксировалось в протоколе. А в конце каждой беседы следователь давал мне расписываться на этих листочках. Однако ничего существенного ему добиться не удалось. Медицинская экспертиза установила, что признаки насильственной смерти у Антиоха отсутствуют. Смерть наступила от асфиксии, или, говоря по-простому, от прекращения дыхательной деятельности. Рана на груди оказалась царапиной и угрозы для жизни не представляла. Возникало впечатление, будто Антиох по неясным причинам просто перестал дышать. Факт, естественно, странный, но исключающий конкретного обвиняемого.

Ольга к этой картине ничего не добавила.

Вызывали еще и дворника, поскольку остальные персонажи в поле зрения следствия не попали. Впрочем, толку от него было немного. Варахасий на допросах нес такую несусветную чушь о своем истинном происхождении, такими душераздирающими подробностями уснащал сюжет прочитанного им недавно «Преступления и наказания», так рыдал о гибели христианской души и так слезно просил вернуть его обратно в пятый том собрания сочинений, что следователь окончательно растерялся и махнул на него рукой. Так это в итоге ничем и не завершилось.

Правда, тут я немного забегаю вперед. Следствие длилось еще более трех месяцев после описываемых событий. В тот момент я, конечно, не мог еще знать, чем оно будет закончено, и лишь чувствовал боль, опустошенность и муку от затянувшегося обряда. Уйти из этого мира так же непросто, как и прийти в него.

Наконец женщина в седом парике и закрытом коричневом платье с коралловой ниткой на шее открыла двери и пригласила нас внутрь. Зал был отделан камнем, напоминающим о пещерах.

Две узких щели пропускали лучи тумана, тянущиеся к постаменту. Вошедшие редкой и боязливой цепочкой жались по стенам. Женщина в парике посмотрела на нас и ушла в служебную будку. Я увидел в окошечко, как она наливает чай из синего термоса, а потом открывает коробку и достает бутерброды с сыром.

Жаль, что мне нельзя было уйти отсюда. Я поглядел на Ольгу – она стояла, будто происходящее ее ничуть не касалось. К счастью, в это мгновение появился из служебного хода человек в темно-сером двубортном костюме и округло повел руками, концентрируя внимание на себе. Это был, по-видимому, официальный распорядитель. Он сказал, что Антиох умер, к сожалению, молодым, но многое успел сделать. Он успел поработать во многих местах, и везде его любили за искренность и человеческую прямоту. Память об Антоне Осокине навсегда сохранится в наших сердцах… У него был чудесный, исключительно подходящий к церемонии баритон. Голос то сдержанно рокотал, то падал почти до шепота искреннего переживания. Школьная приятельница даже всхлипнула. Сослуживцы Антиоха стояли будто шкафы, тупо и терпеливо. Родственница-старушка вздыхала, вспоминая, наверное, собственные несчастья, и, держа наготове платок, кивала каждому слову. Дворник и то прослезился от этого баритона. Во всяком случае, он громко икнул и не стесняясь утерся рукавом нового ватника. Буратино немедленно подал ему пузырек, взятый с медицинского столика.

Правда, через какое-то время баритон иссяк и было предложено выступить кому-нибудь из присутствующих. Пауза возникла такая, что я от стыда стиснул зубы. Длилась она, наверное, секунд двадцать, не меньше, и желающих выступить за это время не обнаружилось. Только дворник, который, по-видимому, уже расправился с пузырьком, неожиданно громко сказал: «А чего?.. А вот выйти сейчас – и, значит, всю правду!..» – однако трое сослуживцев мгновенно отсекли его от прохода, и он, как рыба о лед, бился об их неподвижные спины.

В общем, я был рад, когда вновь заиграла музыка и присутствующие двинулись гуськом вокруг постамента. Я получил возможность отступить назад, к выходу. Прощаться с Антиохом в последний раз я, конечно, не стал. Достаточно было того, что я обнаружил его в пустой квартире. И, кстати, я не один такой, как выяснилось, остался на месте. Незнакомый мужчина, про которого я сначала решил, что он не туда попал, задержался вместе со мной и даже немного придвинулся.

– Прошу прощения, милостивый государь, вы меня случайно

не узнаете?

– Нет, – глянув несколько внимательнее, сказал я.

– Когда-то имел честь: Иван Алексеевич…

– Ах, да, – сказал я.

Он явно, чтобы продемонстрировать, повернул к свету лицо.

– Видите? Пришлось вспомнить навыки молодости. Антон Григорьевич в данном случае оказался бессильным.

Я равнодушно сказал:

– Поздравляю.

Иван Алексеевич удивился, и это сразу почувствовалось в его тоне.

– И только, сударь? А мне кажется, что получилось неплохо. Насколько я способен судить, соответствует первоначальному образу. Расхождения, если и есть, то не принципиальные. Однако, сударь, я позволил себе обратиться к вам по несколько иному вопросу… – он помолчал и, как мне показалось, быстро дернул ушами. Наверное, это свидетельствовало о волнении, которое вообще-то ему не было свойственно. – Дело в том, что сегодня я ухожу обратно, сударь. Возможности для этого у меня теперь есть. Вы уверены, что вам не понадобится моя помощь?

– Прощайте, – сказал я.

Из взгляда Ивана Алексеевича исчезла всякая доброжелательность.

– Ну что же… Если вы считаете, что моя помощь вам не нужна… Не смею настаивать, милостивый государь. Тогда остается только один вопрос. Стараниями господина Осокина здесь появилось несколько… персонажей…

– Не понял, – сказал я.

– Ну, я имею в виду тех людей, которые… не принадлежат вашему миру…

– Ах, те… Это меня уже не касается, – сказал я.

Иван Алексеевич приподнял подбородок.

– Простите?

– Я больше ничего не хочу знать об этом.

– Даже так?

– Именно так!

Подбородок поднялся еще выше.

– Всего хорошего, милостивый государь!

И он понес высокомерную голову к выходу.

За ним потянулись и остальные. Старушка-родственница цепко взяла меня под руку. Дворник уже не мог передвигаться самостоятельно. Его вели сослуживцы, крепко поддерживая за вывернутые локти. Буратино, как чертик, подпрыгивал перед ними.

– Осторожней, осторожней, ребята… Не уроните, потом не подымем…

Проезжая мимо меня, дворник с усилием повернул налитые напряжением бычьи глаза.

– Ничего-ничего, здеся тоже жить можно, если, мил человек, приспособиться…

Мы вернулись в помещение вестибюля. Я искал Ольгу. Она куда-то запропастилась. Родственница не отпускала меня ни на секунду.

– Вы, наверное, дружили с Антошей? Меня зовут Вера Васильевна…

Ей, вероятно, хотелось с кем-то поговорить.

– Он был очень хороший мальчик, – сказала она, поднимаясь на цыпочки и дрожа бурыми осенними веками. – Вежливый такой, послушный. Другие шалят, а он – нет, напротив, сидит – занимается каким-нибудь делом…

Вытирая сплетенные паутиной мешки под глазами, она рассказала, как будила его по утрам, когда он еще ходил в школу, как встречала его на улице после уроков и как, будучи больным скарлатиной, он все боялся деда с большой бородой, который ходит по комнате. А никакого деда, разумеется, не было…

– Он был тихий, тихий, послушный такой, тихий мальчик…

Я наконец увидел Ольгу. Она шла к выходу и, по-моему, ни на кого не обращала внимания. Я не понимал, при чем тут дед с большой бородой. Окликнуть я ее не решился, и она спустилась по ступенькам под дождь.

– Вы меня извините, Вера Васильевна. Вам куда?

Старушечьи пальцы сжали мне руку так, что отпечатались синие пятна.

– Это она его отравила, я знаю…

– Что вы, Вера Васильевна!..

– Знаю, знаю, она его ненавидела…

Выяснилось, впрочем, что живет она неподалеку отсюда. Я дал денег шоферу и назвал адрес.

А затем я побежал вслед за Ольгой. Я не знаю зачем, но я все-таки побежал, не разбирая, где асфальт, а где лужи. Дождь сразу же облепил меня со всех сторон. Я как будто очутился в движущемся стеклянном лесу, который дробился о землю. Плеск и водяной рокот распространялись до горизонта. Шипели люки. Под тяжестью ливневых струй просели деревья. Здание крематория было выстроено на некотором возвышении, и все серое, бесконечное пространство вокруг него было заполнено шевелящейся массой воды.

Поворачивая на аллею, ведущую к остановке, я увидел фигуры Буратино и дворника, хватающиеся за прутья ограды. Оба они, заботливо поддерживая друг друга, взирали на высоченную заводскую трубу, стиснутую снизу бетонными параллелепипедами. Из трубы вытекал и, прибиваемый ливнем к земле, волочился куда-то угольно-черный дым.

– Дым. Зачем дым? – горько спрашивал дворник.

– Это чтоб видели – что без обману, – серьезно разъяснял Буратино. – Деньги уплочены, значит – того, получи вечную жизнь… Стой прямо, дядя! Ты вообще стоять можешь? Ну давай – левой ногой шажок… Вот так… Теперь правой ногой шажок… Да ты не падай, дубина!..

Ольга уже стояла под стеклянным навесом. Дождь шумел, и сплошной мутный поток закрывал мостовую. Будто дракон, вылез из пелены ливня неуклюжий трамвай. Двери захлопнулись. Я едва успел заскочить в последний вагон. Вагон был совершенно пустой. Я взял билет, и он расползся у меня в мокрых пальцах. Ольга, как будто не замечая меня, села спереди. Вагон дернулся. Тоненько заныли втискиваемые в рельсы колеса. Трамвай, разделяя поток воды, пополз через унылые новостройки. Блестела на газонах глинистая земля, и редкие машины поднимали коричневые фонтаны брызг.

Я подумал, что Антиох ушел как раз вовремя. Несколько лет он жил какой-то придуманной лихорадочной жизнью. Несколько лет прошли в погоне за призраками, грезящимися в отдалении, в изнурительной и бесплодной попытке приблизиться к миражам, которые просто не существуют. Он и, наверное, уже понял, что все впустую – бьется, колотится головой, а стена с каждым ударом все толще и толще. Если бы он не ушел, то неизвестно, чем бы это тогда закончилось. Может быть, еще хуже. Дальше пути, по-моему, не было.

И еще я подумал, что, вероятно, зря впутался в это дело. Существуют люди, которые по природе своей не приемлют ничего фантастического. Мир для них не всеобщая тайна, которая постигается исключительно озарением, а всего лишь задача, решаемая путем огромных, но конечных усилий. Вероятно, я как раз из породы таких людей. Мне никогда не понять Антиоха, а ему в свою очередь никогда не понять меня.

– Следующая остановка – «Вокзал», – объявил водитель.

Мы уже втягивались в мрачноватые улицы старого города. Дождь здесь, кажется, лил еще яростнее, и трамвай, как корабль, вспучивал перед собой длинные волны.

На тротуарах не было ни одного человека.

В такие дни легко умирать. В грохоте шалой воды, в потоках

ливня легко переходить из одного призрачного мира в другой.

Наконец, показалась площадь, превращенная дождем в серое озеро. Трамвай из последних сил выполз на ее середину и замер. Двери открылись, и Ольга вышла, ступив прямо в воду. Я тоже вышел, и дождевые лианы сразу же заструились по всему телу. Трудно было различить что-нибудь в бурлящем пространстве. Дождь залеплял глаза, лез за шиворот и швырял в нос крупные брызги.

По всей поверхности площади плыли и лопались пузыри.

Возле тумбы с отмокшей театральной афишей Ольга остановилась.

Подождала, пока я ее догоню.

– Ты почему здесь?

– Нипочему, – сказал я.

– Все кончено. Больше, пожалуйста, не подходи ко мне.

– Ладно, – сказал я.

Ольга отвернулась и не торопясь пошла через площадь. Небо было цвета воды, и потому казалось, что она идет прямо по небу. Кроме нас на площади никого не было. Вот она свернула в переулок к каналу и исчезла из виду. Тогда я тоже пошел – в противоположную сторону. Жизнь закончилась, и мне было абсолютно все равно, куда идти. Терпеливо мок в сквере бронзовый памятник. Львы на ажурном мосту держали в зубах натянутые железные тросы. Будто муравейник, распухала темная вода в канале. Тонули листья. Чугунные перила моста казались горячими. Я не знал, что мне дальше делать. Жесткие капли дождя торопливо ощупывали мое лицо.

Глава девятая

Дождь шел весь день и всю ночь, а потом опять весь день и всю ночь. Будто все дожди мира решили в одночасье собраться над городом.

Дул невозможный, резкий, не прекращающийся ни на секунду ветер, и сплошные ливневые расплывы гуляли по улицам. Вздрагивали антенны и провода. Грохало приподнимаемое напором воздуха железо на крышах. Дребезжали и оглушительно лопались оконные стекла. Приступ дождя и ветра на город был настолько упорный, что уже к концу первых суток затормозил течение рек и каналов. Нева, обратившись вспять, поднялась до гранитной набережной. Серые потоки воды хлынули на мостовые. Переполнились водостоки. Жидкая подземная чернота выступила из подвалов. Смывало газеты со стендов, и они точно бабочки плыли – раскинув бумажные крылья.

Ночи были пронизаны тревожным плеском воды. Сводки городских новостей были исполнены пессимизма. Поговаривали о введении в городе чрезвычайного положения. День занимался нехотя – истерзанный и бледный, в расплывчатой пелене летящего с неба ливня.

У меня в комнате внезапно протек потолок. Темное сырое пятно довольно быстро заполонило собой весь верхний угол. Штукатурка в том месте отстала, угрожая обрушиться, а из центра сходящихся трещин срывались и падали могучие капли. Я менял таз, каждые четыре часа наполнявшийся до краев, и писал в жилконтору заявки, остававшиеся без ответа. В институте, разумеется, пришлось взять отгулы, и теперь я не вылезал из квартиры, занимаясь прежними разработками, которых скопилось вполне достаточно. На третий день пятно распространилось чуть ли не до середины комнаты, и, чтобы спастись от потопа, мне пришлось срочно переставлять мебель.

И вот когда я разбирал книги, намереваясь снять уже отсыревающие верхние полки, и растаскивал многочисленные журналы, скопившиеся там за последние годы, с одной из стопок, которую я понес, придерживая подбородком, неожиданно соскочили и запорхали над полом три страницы с машинописью.

Это были те самые три страницы, которые лежали на столе перед Антиохом. Последнее, что он в своей жизни читал. Я взял их тогда неизвестно зачем, вероятно, просто на память. Вот и все, что осталось от человека – три машинописных страницы.

Я пристроился на краешке стула, и настольный круг лампы выхватил из сумерек заголовок: «ВОРОН».

Дальше шел эпиграф без указания автора: «Кто кричит ночью? – Ворон!».

Я из чистого любопытства начал просматривать этот текст. Честно говоря, он меня не очень-то интересовал. Я хотел, чтобы неприятная история с Антиохом как можно быстрее отодвинулась в прошлое. Я устал от нее, и я вовсе не собирался к ней возвращаться. Тем не менее, повинуясь минутному настроению, побежал глазами по слабо пропечатанным строчкам. Никакого впечатления они на меня не произвели. Речь там шла о каком-то лесе, где почему-то в полном безветрии стонали и покачивались деревья. Причем текст, по обыкновению Антиоха, был лишен точек и запятых, и чтобы отделить одно предложение от другого, приходилось мучительно вчитываться. При этом содержание прочитанного полностью ускользало, и если бы меня вдруг спросили, о чем это, я бы, вероятно, не смог точно ответить.

В общем, я уже решил, что нет смысла тратить время на очередные эстетические изыски – есть, наверное, люди, которым подобные тексты нравятся, но я к их числу не принадлежу, – когда что-то неуловимое изменилось вокруг и заунывный далекий гул внезапно заполнил комнату.

Исходил он, казалось со всех сторон, и поэтому возникало чувство, что от избытка жары и влаги гудит сам воздух.

Или он существовал только в моем сознании?

И одновременно настольная лампа вдруг начала тускнеть, как будто в сети падало напряжение.

Я машинально протянул к ней руку, но выключателя на месте не оказалось. Как жучки, зашевелились буквы в неровных строчках. Почему-то стало трудно дышать. Багровый волосок под абажуром мигнул и рассыпался искрами.

Я поднял голову.

Темное, глубокое небо, обглоданное зубцами елей, раскинулось надо мной. Мрачные в три обхвата стволы покачивались и нервно скрипели. Черное полотнище птиц выдралось из чащобы и с деревянным плачем, колеблясь, потянулось к закату.

Я стоял на тропинке, усыпанной хвоей и мелкими еловыми веточками. Она уходила в чащу, где меж голого белесого сушняка плавала паутина. Меня словно кто-то настойчиво звал туда. Хрустнул дерн под ногами. Сомкнулись у меня за спиной перистые лапы папоротников. Темнота в лесу была какая-то звонко-прозрачная, виделось все до мельчайших деталей, как будто я обладал ночным зрением: потеки смолы на стволах, лысые узловатые корни, багровеющие тремя тусклыми ягодками выползки костяники.

Мне почему-то казалось, что ни в коем случае нельзя оглядываться. Папоротник шуршал, и иногда проглядывали сквозь него пушистые огоньки. По-моему, они мерцали и немного перемещались. Вылетела из-за деревьев сонная стрекоза и скользнула мне по лицу хрусткой слюдой.

Сказочный, необыкновенный лес.

Тропинка наконец нырнула под дерн и закончилась. Ели расступились, я вышел на опушку, открытую ночному простору. По огромному косогору сбегали вниз травы, одетые теплой росой, и чуть шевелились внизу заросли неясных кустарников. А примерно на середине спуска, у огромного валуна, помнящего еще, наверное, ледниковый период, изгибало голые сучья большое, по-видимому сожженное молнией дерево, и его полированный перевитый ствол, лишенный коры, представлялся по желтоватому цвету выточенным из кости.

На дереве сидел ворон размером с доброго петуха и чистил отливающие синевой гладкие перья.

Заметил меня и с хитрым видом прижал к крылу лысую голову.

– Пр-ривет, Ар-ркаша! – нечисто, по-птичьи, выкрикнул он.

Меня звали иначе, но спорить я, конечно, не стал. Из туманных кустов навстречу мне выступил человек в расстегнутой до пупа рубахе.

Приветственно помахал рукой.

Это был Антиох.

На закатанных до колен джинсах его поблескивали металлические заклепки.

– Привет, я тебя ждал, – быстро сказал Антиох. – Никогда не верил, что лишь один найду эту дорогу. Кто-то обязательно должен был прийти следом.

Он после смерти практически не изменился: те же дикие волосы, рассыпанные по плечам, те же лихорадочные глаза и те же движения – будто опаздывает на поезд.

– Где это мы? – поинтересовался я.

Антиох поднял странные золотистые брови.

– Не понимаешь? Ну – научный сотрудник!..

Таяли в небе удаляющиеся птичьи крики. Край горизонта вспыхнул прозрачной зеленью и тут же погас. То, что я принимал за кусты, в действительности оказалось зарослями черной крапивы. Она взметывалась выше наших головы, больше похожая на теснотелый подлесок. Ее остроконечные листья были опушены стеклянными жалящими ворсинками. Жилистые стебли тоже слегка покачивались, и между ними просвечивало яркое серебро воды.

Наверное, дальше находилось озеро.

– Я иногда ловлю здесь рыбу, – загадочно сказал Антиох. – Просто руками. Ты не поверишь, какие тут попадаются экземпляры. Им, вероятно, лет по двести. У них чешуя – золотая. Я возьму такого за жабры, вытащу – он пучит глаза, удивляется, в первый раз сталкивается с человеком. Даже не уплывает, стоит потом около ног.

Он отступил ближе к зарослям черной крапивы.

Я непроизвольно шагнул за ним.

– Или, например, жуки. Здесь попадаются тоже – совершенно уникальные экземпляры – величиной с ладонь, зеленые, такие, что даже в траве не видно, но глаза у них при этом – рубиновые и светятся в темноте. Или – ярко-желтые, с такими малиновыми пупырышками, а глаза у них тоже – рубиновые и тоже светятся в темноте. Ползет такой по ветке, как фантастическое видение. И главное, с таким видом ползет, как будто кроме этой ветки ничего в мире не существует. И мудрая птица Ворон – тысячу лет сидит на том дереве…

Антиох медленно жестикулировал.

– Я еще огоньки видел в лесу, – сказал я.

– Огоньки? Ну да, это цветет папоротник. Сорвешь цветок, бросишь – он поплывет по воздуху. И там, где упадет, – непременно клад…

– Где мы? – опять спросил я.

Антиох радостно засмеялся.

– Значит, не догадался еще? Тогда посмотри: Рыбы, Вода, Земля, Травы, Звезды… Живое и неживое – все вместе. Помнишь, мы приходили к тебе и говорили о вечной жизни?

– Это когда ты умер – конечно, помню…

– Ах – нет…

– Похоронили отлично, – заверил я. – Можешь не сомневаться. Я бы на твоем месте остался доволен.

Антиох обернулся назад, где открывался темный обрыв и где точно в последний раз светила прохладная серебряная вода.

– Вот это оно и есть – вечная жизнь…

И сразу же после этих слов низко над фиолетовыми соцветиями крапивы, над черным зубчатым лесом, над туманами, стелющимися по озеру, бесшумно, будто во сне, зажглась мохнатая неземная звезда. За ней – вторая, третья, четвертая…

– Зовут, – сказал Антиох. – Видишь – зовут…

Попятился, раздвигая спиной крапиву.

– Идем.

Ноги у меня приросли к земле.

– Нет…

Антиох вновь необидчиво засмеялся.

– Думаешь, жжется? – спросил он. – Верно, жжется. Жжет насмерть.

Беззвучно распространялся в небе великолепный звездный пожар. Пылал уже весь горизонт, и становилось ясным, что он будет светить так по крайней мере тысячу лет.

– Не могу, – выдавил я.

Я и в самом деле не мог.

– Идем, идем…

Антиох отступал все дальше. Осыпанные стеклянным ворсом листья затягивали его. Слабенько прогудел рожок, наверное призывающий к подвигу. Края неба заколебались и начали расползаться тающими лохмотьями.

Ворон на обугленном дереве щелкнул крыльями, тяжело всхрипнул и разинул изогнутый роговой клюв.

– Дур-рак ты, Ар-ркаша!..

Очнулся я на полу.

Нос у меня расплющило о паркет, локоть неестественно вывернуло, а на лбу, чуть ниже волос, горела свежая ссадина.

Наверное, я здорово кувырнулся.

И еще – раздирало грудь, не хватало воздуха, словно я не дышал, по крайней мере, неделю.

Сотни крохотных коготков вонзились в легкие.

Страшно было пошевелиться.

Кое-как я все-таки дотащился до кухни. Пил долго и жадно, выхлебав почти всю заварку из чайника. Потом плеснул на себя холодной водой и тщательно, словно после зарядки, растерся вафельным полотенцем.

Только тогда мне стало немного легче. С разъеденного потолка по-прежнему громко шлепались капли. Таз уже переполнился, и мне пришлось его вылить. Затем я открыл форточку, и в квартиру ворвался оглушающий грохот дождя.

Хлестало по мокрым крышам, по мостовой, яростно клокотало в трубах, и содрогалась, как рушащийся театр, вся ветряная непроглядная темень.

Под настольной лампой белели три аккуратных страницы.

Меня будто током ударило.

«ВОРОН»!

Абсолютный текст!

Это – Антиох. Он все-таки добился, чего хотел. Он хотел вечной жизни, вот и получил – вечную жизнь.

Я смотрел на эти страницы как зачарованный. Они одновременно и притягивали меня, и пугали.

Абсолютный текст!

«ВОРОН»!

Диагноз у Антиоха был – асфиксия. Это означало, что он перестал дышать.

Асфиксия.

У меня до сих пор побаливало в груди. Голова чуть кружилась, и острые коготки в легких еще покалывали.

Дождь за черными стеклами ревел не переставая.

Впрочем, если соблюдать осторожность, то ничего страшного, видимо, не произойдет.

Я сел, крепко зажмурясь, и на ощупь придвинул эти страницы к себе. Далее глубоко вдохнул и ухватился руками за край стола. Сердце выскакивало из ребер, и мне казалось, что я сейчас низвергнусь в бездонную пропасть. Впрочем, одну только строчку, всего одну. В прошлый раз началось с того, что медленно потускнела лампа. Это надо иметь в виду – если свет начнет гаснуть.

Главное – не увлекаться.

Я осторожно открыл глаза.

Итак.

В верхней части страницы крупными буквами было напечатано – «ВОРОН».

Ниже стоял эпиграф: «Кто кричит ночью?»

Я перевел зрачки к первой строчке.

Ворон на обугленном дереве щелкнул крыльями и разинул изогнутый роговой клюв.

– Дур-рак ты, Ар-ркаша!..

Я теперь находился на берегу озера. Берег был чистый, песчаный и кое-где поросший легкой осокой. Неимоверной кручей вздымался сзади обрыв, и над дремучей кромкой его сияли волосатые звезды.

Зашуршала подминаемая трава.

Антиох, вышедший из-за камня, протянул мне руку.

– Вернулся? Я так и знал, что ты непременно вернешься.

Рядом с полузатопленной почерневшей корягой воткнулась в песок плоская лодка.

– Садись, я тебя отвезу.

– Куда? – спросил я.

На дне лодки стояла вода.

– Там есть дом, – увлекая меня, сказал Антиох. – Зажжен огонь в лампе, спокойствие… Впрочем, ты сейчас сам все увидишь…

Далеко, на той стороне, горели два желтых окошка.

– Эта дверь открыта всегда…

– Не хочу, – слабо сказал я.

Он засмеялся, обнажив белые зубы.

– *Там* тебя не держит ничто. Терять тебе нечего. А *здесь* ты будешь жить вечно.

Он ступил в лодку.

– Ну?

Я еще сомневался.

– Один только шаг, – сказал Антиох. – Только один, и эти двери откроются. Предстанет перед тобой вся вселенная. Один только шаг – и будешь жить вечно…

В лодке не было весел.

– Как мы поплывем? – спросил я.

– А вот так и поплывем, – сказал Антиох. – Она сама поплывет. Здесь совсем рядом.

Опять прозвучал рожок, зовущий к подвигу. Быстро взошла над озером выпуклая луна дымно-красного цвета. Мерцающая дорожка протянулась от нее на ту сторону.

Ворон слетел с дерева и уселся на узкий нос лодки…

Меня спасло, видимо, только то, что свалилась лампа. Грохнул разлетевшийся стеклами абажур, и, дребезжа, покатилась по полу керамическая подставка. Трудно даже представить, как это на меня подействовало. Я вскочил точно бешеный и заметался по комнате, наталкиваясь в темноте на мебель. Опрокинул стул, на котором сидел, стукнулся о диван, чуть не перевернул в углу таз, снова полный воды.

Это немного привело меня в чувство.

Легкие больно, при каждом вздохе, резало на мелкие дольки.

А когда я в конце концов взял себя в руки, отдышался, неспешно сосчитал до пяти и зажег в комнате свет, который мне показался каким-то невзрачным, первое, что я увидел, – это три страницы с машинописью, по-прежнему аккуратно лежащие на столе, и громадную коричневую стрекозу, сидящую поверх одного из них.

Кончики слюдяных крыльев у нее нервно вибрировали, полукруглые, гладкие, во всю голову, непроницаемые глаза, казалось, впитывали окружающее, коготки цепких лапок тревожно скребли по бумаге, а сегментный хвост изогнулся и поводил из стороны в сторону усиками хитина.

Я дико вскрикнул, судорожно замахал руками, и тогда стрекоза медленно, как геликоптер, поднялась в воздух, постояла немного и по пологой дуге вылетела в окно.

Абсолютный текст!

«ВОРОН»!

Вот теперь я знал, что мне делать.

Ни на мгновение не задумываясь, я сгреб эти опасные,

дышащие смертью страницы, скомкал изо всех сил, стараясь даже случайно не глянуть на подслеповатые строчки, затем положил комок в раковину на кухне и поднес, затаив дыхание, горящую спичку.

Пламя приклеилось к рыхловатой бумаге и утянулось внутрь. Комок вдруг бодро зашевелился и как живой начал разворачиваться. Четко выделилось на изгибе: «Кто кричит ночью? – Ворон!» Смотреть на это было нельзя, но я все равно смотрел. Я ничего не мог с собой сделать. Странный заунывный гул наполнил всю комнату. Потянуло озерной свежестью. Скрипнули ели. Тоненько плеснула вода, и закачалась лодка, готовая плыть на ту сторону. Лунная мерцающая дорожка тревожила и манила. Я жутковато оцепенел. Но тут огонь, вероятно воспрянув, полностью охватил комок, и бумага окончательно почернела.

Глава десятая

Остается сказать немногое.

Варахасий никуда не исчез, он живет где-то там же и работает дворником, по своей основной специальности. Бляху и ватник свои он, разумеется, снял, перешел на джинсы и куртку, то есть одевается вполне современно. Он, по-моему, даже слегка подстриг бороду. Изредка, проходя по каналу, я встречаю его – он задумчиво, но спокойно пошаркивает метлой вдоль тротуаров. Мы с ним не здороваемся, он старательно делает вид, что не помнит меня.

Поручик Пирогов после этих событий довольно быстро пришел в себя, огляделся, освоился и поступил на учебу в Академию тыла и транспорта. Недавно ему присвоили звание младшего лейтенанта, и он чрезвычайно гордится звездочками на погонах.

Лучше всех, однако, устроился Буратино. Он работает в модной петербургской поп-группе «По ту сторону». У него обнаружился голос, вполне соответствующий названию, и теперь он там главный солист и, кажется, художественный руководитель. Я однажды ходил посмотреть на него. Выступают они в ярких полосатых штанах и во время исполнения песен закрывают глаза. Успехом пользуются, судя по всему, колоссальным. Стены города залеплены афишами с именем «Бу Ратинов». Недавно их показывали по российскому телевидению, и я уже замечал на подростках майки с его портретом.

Ольге дали квартиру где-то на окраине города, и она сразу же затерялась среди многомиллионного муравейника.

Мы с ней больше никогда не встречались.

Тем более что дом Антиоха снесли. Сейчас там – пустырь, засыпанный щебенкой и кирпичом.

Ничего не осталось от прежней жизни.

И еще, пожалуй, одно.

В городе, который на тухловатой болотной воде, точно из небытия, возник по мановению руки вспыльчивого самодержца, под его чахлым солнцем, почти не дающим жизни, в фантастических его белых ночах, среди сумасшедшего камня случаются, вероятно, и не такие истории. Еще не такое происходило на гулких, синеющих к вечеру площадях, в тесных каменных переулках, в бесконечных дворах, тянущихся от одного канала к другому.

Уже скакал по его полночным улицам бронзовый император, и уже чиновник, оживший мертвец, вспрыгивал на коляску, чтобы

сорвать с генеральских плеч понравившуюся ему шинель.

Призраки здесь легко проникают в реальность.

И потому если светлой июньской ночью, возвращаясь домой по улицам, сквозь которые проплывает медленный тополиный пух, я вижу единственное непогашенное окно в темном доме, то сердце у меня начинает слегка дрожать и мне опять кажется, что кто-то нетерпеливый, поверивший в невозможное, скрывшись за этими шторами и позабыв обо всем на свете, мучаясь каждым словом, вкусом, запахом и цветом его, создает, задыхаясь от восторга и изумления, своего «Ворона», и, когда поставит точку в последней фразе, вновь закачается над обрывом опушенная стеклянным ворсом крапива, закричат птицы, скрипнет горелое дерево, звонко плеснет вода, и в абсолютном безмолвии, напоминая о том, чего нет, встанут над гладью озера мохнатые яркие звезды.

Потому что эта дверь всегда открыта.

Надо сделать – только один шаг.

Альбом идиота
Повесть

Глава 1

Я расскажу все как было – ни о чем не умалчивая и ничего не добавляя от себя.

Шторы были задернуты. Трепетала зелень на индикаторах магнитофона. Гитара, изнемогая от любви, выщипывала гортанные перезвоны: «О, прекрасная донна, подари мне эту розу!.. О, прекрасная донна, я навсегда сохраню ее!.. Подари эту розу как память о нашей встрече!.. О, прекрасная белая роза!.. О, как она свежа!..»

Голос обволакивал собою пространство. Сладость, нега и безразличие пропитывали его.

Анпилогов поднялся и медленно скрипнул зубами.

– Я исчезаю, с меня хватит, – сдавленным, нехорошим голосом сказал он. – Зубри текст, Александр. Шестого ты обязан петь как соловей.

– Соловей из меня хреновый, – ответил Игнациус. – К тому же до шестого еще надо дожить.

Тогда Анпилогов неприятно сощурился.

– Тебя что-нибудь беспокоит? – спросил он.

– Да все то же, – вяло ответил Игнациус.

– Грун?

– Конечно. Мне кажется, мы торопимся.

Анпилогов нагнулся и обеими руками взял его за кончики воротника:

– Никакого Груна не существует. Не было, нет и никогда не будет. Я советую: выбрось все это из головы. Крысятник уже давно шебуршится. Ты же знаешь, какой у них жуткий нюх. Если кто-нибудь где-нибудь вымолвит хотя бы полслова… Александр!.. Все это может обрушиться…

Он буравил Игнациуса прищуренными глазами.

– Порвешь рубашку, – мрачно сказал Игнациус.

В комнате стоял цветной полумрак. Одинокая ленивая пара танцевала посередине гостиной – изгибаясь и тесно прильнув друг к другу. Было видно, что – Эмма и кто-то еще. Багровела, спускаясь до пола, суставчатая бегония. Низенький, скучный, насупленный Эритрин, прислонившись к книжному стеллажу, обкусывал бутерброд с серой семгой. Борода его двигалась вверх и вниз, а желтушная кожа на лбу собиралась морщинами. Игнациус тоже хотел есть. Семгу, однако, купили не для него. Он знал об этом. Сеньора Валентина под апельсиновым немецким торшером оживленно беседовала с двумя плечистыми лакированными молодыми людьми, которые, подрагивая

вытянутыми ногами, поспешно жрали маслины. Разговор, по-видимому, шел об Испании. Всплывало – идальго и акапулько… Валентина смеялась и после каждой фразы трясла мелко завитой розовой головой. Увидев Игнациуса, картинно воздела руки:

– Представляешь!.. Они недавно ходили по Эспланада дель Косо!

– Неужели в этих самых ботинках? – изумился Игнациус, опускаясь на корточки и внимательно разглядывая подошвы.

Лакированные юноши, оторопев, назвали себя Кенк и Пенк, – из вежливости перестав жрать. Он не понял – это клички или фамилии.

Громко поцеловал жену в лоб:

– О, белая роза!.. О, как ты свежа!..

– Вы закончили? – нервно сказала сеньора Валентина. – Тогда, пожалуйста, присмотри за Пончиком. Что-то он мне сегодня не нравится…

Подошел тоскующий Эритрин и, дожевывая скупые волокна на хлебе, как о чем-то само собой разумеющемся, попросил:

– Разменяй сто рублей.

– Откуда? – пожал плечами Игнациус.

Эритрин, как гиена, проглотил последний кусок.

– Понимаешь, этот жмудик клянется, что нет мелких денег. Он мне десятку должен. Ведь замотает, я его знаю…

– Где находится Сонная улица? – спросил Игнациус.

– На Фонтанке, около Репина, – ответил озабоченный Эритрин. – Ты вот что, не суйся туда, сожрут с потрохами…

– Это – как?

– А вот так. Сожрут и не поперхнутся… Слушай, может быть, дашь мне полтинник до вторника? Я честно верну, я – не Жека…

Эритрин был исключительно деловой. Впрочем, сегодня Игнациус на него чихал. Он до боли, до судорог выворачивал шею. Аня сидела на диване в углу, и ее бодро теснил какой-то редковолосый, облизанный, как червяк скользкий гуттаперчевый тип, закинувший руку на спинку – полуобнимая. Шептал что-то мокрыми шлепающими губами. Она, отогнув край шторы, глядела в снежную пустоту.

Это, вероятно, следовало прекратить. Игнациуса потянули в пузатое кресло. Черноглазая разгоряченная Эмма приблизила к нему овечье лицо. Он внимательно посмотрел – а кто же танцует? Танцевала теперь, оказывается, сеньора Валентина. Причем – точно так же, безудержно прижимаясь. Он тихо присвистнул. Эмма, отвлекая, схватила его за ладонь.

– У меня к тебе оч-чень серьезная просьба…

– Эмма Арнольдовна! Товарищ Булкина! – перекрывая

сладкую музыку, сказал Игнациус.

Эмма дернулась, точно ошпаренная. Она терпеть не могла, когда ее называли официально. Говорят, что Жека скрывал свою фамилию до последней минуты, все анкеты в ЗАГСе заполнил сам. Она услышала ее только при регистрации. Потом неделю рыдала.

Прежнее имя, конечно, звучало мощнее – Эмма Неголая.

– Давай твою просьбу, – сказал Игнациус.

– Мы с Валентиной хотим серьезно заняться языком, – обиженно протянула Эмма. Тронула бриллиантовые висюльки в ушах. – Я договорилась со Стасом, он водит испанцев. У него настоящее каталонское произношение. Будем брать уроки два раза в неделю, это недорого.

– Ты уверена, что вам нужен именно испанский? – спросил Игнациус. – Не суахили, не древневерхненемецкий? Вы же собирались голодать по системе Бронц-Мюллера. А до этого, я помню, реставрировали иконы. Между прочим, паркет я до сих пор не могу отмыть.

– Алекса-андр!.. – умоляющим голосом воскликнула Эмма.

– Честно говоря, питаться дафниями – спокойней.

– Ну Алекса-андр!..

Задыхающийся Игнациус отодвинулся.

– Ладно, сдаюсь… Объясни мне только, где находится Сонная улица?

– На Голодае, – мгновенно ответила Эмма. – Я жила неподалеку целых два года. Ужасный район. Переулок Каховского, Сонная, дальше – Проезд…

– А кто такой Стас?

– Тот, что танцует.

Игнациус посмотрел, как пара по центру комнаты сливается в некоем действии, мало похожем на танец.

– Каталонское произношение, значит… А если попросту, без затей, дать ему в морду?

– Ты с ума сошел, все так танцуют…

– Правильно, я чокнутый, – сказал Игнациус.

– Стас – серьезный каратист, – предупредила Эмма.

– Ну и что?

– Куда тебе против него.

Игнациус задумчиво произнес:

– Помнится, у Жеки был среди инструментов небольшой ломик. Новенький такой, как раз – мне по руке…

Эмма тут же исчезла, и появилась сеньора Валентина, которая процедила, улыбаясь всеми зубами, чтобы не привлекать внимания:

– Ты можешь вести себя нормально?

– Когда я вижу этих ребят, у меня уши сворачиваются трубочками, – сказал Игнациус.

– Пожалуйста, никаких историй.

– Никаких историй не будет.

Он засмеялся. Ему было весело. Из-за дверей, ведущих в детскую, доносились дикие возгласы. Игнациус просунулся в щель. Пончик и Ботулин, разворотив постель, лупили друг друга подушками. Они визжали и прыгали от восторга. Летал белый пух, торчали ножки перевернутых стульев. А из опрокинутой керамической вазы, державшей камыш, натекла вдоль паласа извилистая черная лужа. Оба вдруг замерли, увидев его: возбужденные, потные, испуганные, взъерошенные.

– Обливаться чернилами намного интереснее, – сказал Игнациус.

Прикрыл легкую дверь.

Сразу же возник тот тип, что пытался обнимать Аню.

– Никакого просвета, как глухая, наверное, лесбиянка, – доверительно сообщил он. – Я уже нарывался на таких, ну ее в задницу. Проще снять вон тех дур, сами разденутся. Морды, правда, у них керосиновые. Хрен с ним, в темноте не видно.

Он явно принимал Игнациуса не за того. От бесцветных, липких волос его разило духами.

– Пошел ты – туда-сюда, – довольно вяло сказал Игнациус.

Тип отвалил челюсть.

– А чего?

– Ничего.

– Выступать будешь?

– Просто тошнит.

– Ногами давно не били?

– Договорились, – сказал Игнациус. – Подожди меня на улице, я – сейчас…

Немедленно вынырнул откуда-то запаренный ушастый Жека.

– Говорят, ты сегодня на всех кидаешься? Это – Леша Градусник, он мне трехтомник Лондона сделал… Слушай, твоя улица, оказывается, находится на Петроградской. Точно выяснил – в справочнике ее нет. Где-то возле трамвайного парка, пересекается с Маркова. Знаешь что?

– Что?

– Федя Грун спрашивал о том же самом.

– Удалось что-нибудь выяснить?

– К сожалению, нет… Имей в виду, Александр, шестого все должно быть на высоком идейно-художественном уровне. Я иду вслед за тобой. Есть договоренность. Ты – понял? А теперь –

разменяй сто рублей…

– Откуда? – вторично пожал плечами Игнациус.

– Представляешь, этот жмудик клянется, что – нет мелких денег. Он мне должен червонец. Ведь замотает, я его знаю. Или, может, одолжишь полтинник до вторника?

– Выгони ты их всех к чертовой матери, – сказал Игнациус.

– И в самом деле кидаешься, – удивился Жека.

«Я гляжу на эту печальную розу и думаю о тебе», – возвещали колонки. Игнациус пересек душную комнату и сел рядом с Аней.

– Мы не виделись три недели, – пробормотал он.

Она обернулась:

– Двадцать два дня.

– Ты тоже считаешь?

– Конечно.

Игнациус слабо кивнул.

– Никто не знает, где находится Сонная улица, – сказал он.

– Вот и хорошо.

– Телефона у тебя тоже нет?

– Разумеется, – ответила Аня.

– Как же я тебя найду?

– А ты уверен, что надо?

Игнациус даже вздрогнул.

– Тогда найдешь, – сказала Аня приветливо.

– А она вообще существует, эта Сонная улица?

– Я там живу, в доме четырнадцать.

– А квартира?

– Лучше все-таки не приходи…

Игнациус отодвинулся. Опять то же самое. За отогнутой шторой взмахивал крыльями фантастический густой снегопад. Вязь снежинок крутилась и – вдруг замирала. Танцевали крупные хлопья. Было ясно, что жизнь на сегодня заканчивается. Эмма, объятая Стасом, смотрела на них, распахнув злые глаза. Валентина, напротив, демонстративно не замечала. Лакированные юноши, присев перед ней, вскрывали громадную коробку конфет. При этом тоже – оглядывались. Игнациус чувствовал, что проигрывает важные семейные баллы. Вероятно, теперь придется соглашаться на Стаса. Впрочем, наплевать.

– Сигарету? – предложил он.

– Нет, – ответила Аня. – Но если ты хочешь позвать меня, скажем, на кухню и попытаться поцеловать, то это можно сделать без всякого надуманного предлога.

– А ты позволишь? – поинтересовался Игнациус.

– Разве об этом спрашивают?..

Тогда Игнациус взял на подоконнике воздушную чашку

с дутым золотистым лотосом на боку, безразлично повертел ее перед собой и – разжал пальцы.

Чашка звонко разбилась.

– Я бы хотел, чтобы тебя никогда не было, – сказал он.

– Я бы тоже этого хотела, – сказала Аня.

Сеньора Валентина уже поднялась, раздувая хрящеватые ноздри, уже выгнула брови и твердо шагнула вперед, по-видимому собираясь вмешаться, но в это время раздался грохот и возбужденные голоса в прихожей. Беспощадно отдернули шторы. Блистающая громадная снежность ошеломила комнату. Всхлипнув, разом заткнулся выключенный магнитофон. Замерли серые вспученные фигуры – недосогнув руки и туловища. Оказывается, Градусник, устав ждать на улице, вернулся и дал по физиономии Эритрину, который как раз надевал в прихожей дубленку. Дал очень сильно. Но не попал. Вместо этого залепил в цветное бра на стене и своротил его, выдернув с корнем шурупы. Эритрин не остался в долгу и ударил ботинком. В результате перестала существовать тумбочка под телефоном. Кстати, сам телефон – тоже. Вдруг стало тесно. Все сгрудились, словно в бане, на двух квадратных метрах прихожей. Толкались и говорили одновременно. Жека, посверкивая потной макушкой, объяснял, что так приличные люди не поступают. Они – у него дома. А у него дома так приличные люди не поступают. В свидетели он призвал Игнациуса. Игнациус подтвердил, что так приличные люди не поступают. Они – у него дома. Ну и так далее… Градусник, увидев его, попытался облапить и радостно завопил: «Поехали к женщинам, Иннокентий!.. Куда ты меня притащил – козлы тут всякие…» – Его с трудом оторвали и вытолкали на лестницу. Потом вытолкали вдогонку побледневшего Эритрина. Тот не хотел уходить, а очутившись все-таки на площадке, устремился не вниз, как положено, а вверх, к чердаку.

– Пошли домой, – не разжимая презрительных губ, сказала сеньора Валентина.

Она была уверена, что все это подстроил Игнациус.

– Сейчас, – пробормотал он. Не обращая ни на кого внимания, очень быстро и крепко взял Аню за плечи. Она была теплая. Вытекал белый пар из форточки. – Я тебя найду, я обязательно разыщу тебя… Пожалуйста, не торопись, не решай ничего – сию же минуту…

– Только громче стучи, там звонок не работает, – сказала Аня.

Жека интеллигентно оттеснил ее в сторону:

– Собирайтесь, собирайтесь, ребята…

Сеньора Валентина меж тем уже извлекла откуда-то Пончика,

разрисованного чернилами. Он был как индеец – в вихрастом налепленном пухе. Подушку они все-таки разодрали. Пончик ныл, что еще очень рано и что надо бы еще поиграть – хоть чуток. А сеньора Валентина пихала его и шипела, явно сдерживаясь при посторонних. Зато Эмма не сдерживалась – всадила здоровую оплеуху, и обиженный Ботулин заревел, как стадо диких слонов.

– Дура, – сказал ей Игнациус.

Лакированные юноши с интересом наблюдали за сценой, какую не встретишь на эспланадах, а высокий Стас, отстранившись и как бы не замечая, элегантно курил, держа сигарету за кончик фильтра.

Аня почему-то стояла к нему вплотную.

На улице Валентина сказала Игнациусу:

– Ты вел себя отвратительно. Собрался доклад репетировать, так репетируйте. Анпилогов твой даже не поздоровался – тоже интеллигент… Перестань! – крикнула она Пончику, который, увлеченно жужжа, загребал снег сапогами.

До метро был целый квартал. Жека обитал на краю города. Яркое малиновое солнце висело меж зданий из крепкого инея. Свежий снег был истоптан глубокими синими тенями. Клубился пар над отдушинами люков. Саженцы на бульваре безнадежно оцепенели до самой весны.

– А завтра Валерка приедет к нам? – спросил Пончик.

– Не приедет, – отрезала Валентина.

– Я хочу, чтоб приехал, у него там – пистоны, – привычно заныл Пончик. – А ты когда еще обещала купить и не купила…

Они втиснулись в поезд метро. Народу было столько, что Игнациуса слегка сплющило. Сеньору Валентину прижало к нему. Даже сквозь шубу чувствовалось, что состоит она из одних костей. У нее дергалось морщинистое напряженное веко и на скулах горели два красных мятых пятна. Игнациус старался на нее не смотреть. Она была очень недобрая.

Глава 2

Дальше было так.

Созоев распахнул голубые младенческие глаза, где – в сиянии – не было ничего, кроме искренней радости.

– Александр!.. Александр!.. Просто – Саша! – вскричал он. – Как чудесно, что вы заглянули, мой дорогой!.. Проходите же!.. Проходите, не стойте!.. – слегка подталкивая сзади, пригнал его в комнату, увешанную цветастыми блюдцами, темными, громоздкими, давящими картинами и различными фотографиями в вычурных деревянных рамках. – Мара! Мара!.. Посмотри же, кто к нам пришел!..

Появилась заспанная, всклокоченная, испуганная Марьяна, у которой из-под халата торчала нижняя юбка, и, как курица, злобно уставилась на Игнациуса.

– Здравствуйте. Извините меня, – неловко сказал он.

– Чаю нам! Чаю!.. – кричал Созоев.

Он стремительно хохотал, словно булькал водою, и делал массу лишних движений. Элегантный костюм сидел на нем как на арбузе. Округлившись, без складок. Галстук броско алел на выпирающем животе. И блистали граненые запонки на манжетах. Игнациус, проваленный в кресло, зажал ладони между колен. Он всей кожей ощущал, что будут серьезные неприятности. Потому что иначе не стали бы его вызывать. Время было скандальное – воскресенье, восемь утра. Или, может быть, объявился блудный сын? Не похоже. У него неприятно и сильно заныло в груди. Полчаса назад он звонил Анпилогову. К счастью, Геннадий уже проснулся. Некоторое время причмокивал в трубке, туго соображая, а потом, вдруг опомнившись, сформулировал приговор: «Старик совсем спятил. Это у него – возрастное. Ничего не бойся и держись нагляком. Как известно, он при этом теряется». Совет был мудрый. Но не очень. Поэтому Игнациус на всякий случай отмалчивался. Делал вид, что спросонья не понимает. Впрочем, так оно на самом деле и было. Мгновенно, дохнув летней мятой, возник крепкий чай, в меру горячий и в меру густой, с аккуратными твердыми дольками желтеющего лимона. Совершенно ненужный был чай.

– Я еще вчера говорил Маре: хорошо бы Саша нас навестил, побеседовали бы с ним, посмеялись… Кладите песок, Саша. А почему так мало? Кладите больше!

– Я пью без сахара, – нервно сказал Игнациус.

– Да вы не стесняйтесь! – бурлил Созоев. – Еще одну ложечку, прошу вас! Ну – еще одну… Уже четыре? Зачем их считать?

Сколько надо, столько и кладите! Мара, Мара, а где давешнее печенье?

Марьяна так же злобно потыкала Игнациусу в плечо мелкой хрустальной вазочкой. Он взял сразу шесть песочных розеток, чтобы наверняка отвязаться. Все-таки ему было чрезвычайно не по себе.

Осчастливленный визитом Созоев дул в чашку.

– Как ваши дела, Саша?

– Вроде бы неплохо, – сказал Игнациус.

– Как здоровье?

– Дня три еще проживу.

– Как ребенок?

– Ребенок – парализованный.

– А жена?

– Утверждают, что – делириум тременс.

– Хе-хе-хе… Вы все шутите, Саша…

Но Игнациус отнюдь не шутил. Зима в тот год выдалась голая и сухая, какие бывают раз в десятилетие. Очень рано ударили морозы, стиснув небо светлеющей синевой. Почернела сырая листва в садах. Остекленели реки. Ночью свистал ветер по мерзлым щелям и царапала камень редкая крупяная пороша. В конце ноября пропал Грун. Он никого не предупредил и не оставил записки. Просто исчез, без следа растворившись в толчее четырехмиллионного муравейника. Это была катастрофа. Потому что защита его была назначена на январь. Все уже было готово. И документы оформлены. Жека дважды, как цуцик, мотался к нему домой. Выяснилось, что Грун переехал, и новые жильцы не знают – куда. Там был сложный, многоступенчатый, жуткий обмен. Больше его никто не видел. Через две недели по почте пришло заявление об увольнении. Администрация взвыла. У Созоева был сердечный приступ. На кафедре многозначительно переглядывались. Игнациус, как больной, равнодушно и вяло бродил по ободранным коридорам, натыкался на шумных студентов, отвечал невпопад, неумело закуривал чужие вонючие сигареты, – все валилось из рук: в узких, стиснутых приборами кабинетах, в невозможных курилках и в моечных закутках под усмешки, под звяканье скальпелей – решалась его судьба. В декабре начались снегопады и роскошной, жаркой периной укутали дворовую наготу. Будто гейзеры, вспучились яркие сугробы. Побелевшие улицы воспрянули чистотой. Что-то изменилось в мире, сдвинулось на волос. Смущая слабые души, прошел ученый совет. Игнациуса сдержанно поздравляли и жали руку. Рогощук – улыбался. Мамакан – благосклонно кивал. Обнаружились силы, зовущие

в сладкую пустоту. Между тем морозы слабели. Очищалось к полудню громадное солнце и загорался над крышами огненный рыжий туман. Вдруг затенькали тоненькие сосульки. Жизнь была удивительна.

– Андрей Борисович, – напрямик сказал Игнациус. – Вы меня срочно вызвали час назад. Я же не мальчик. И давайте не будем обходиться намеками.

Созоев замигал, как пулемет.

– Я?! Вас?! Вызвал?! Не может быть!!! – Обернулся к Марьяне, которая хищно сощурилась и повела крючковатым носом: – Марочка, принеси нам… м-м-м… что-нибудь. – А когда Марьяна, буркнув в усатую губу, недовольно вышла, привалился к столу, насколько позволял полный живот. – Никогда не посвящайте жену в свои дела, Саша. Никогда, никогда, никогда! – и откинулся, очень довольный собою. – Значит, я вас вызывал? Интересно. А вы, Саша, не знаете, зачем я вас вызывал?

Игнациус сломал ноготь о подлокотник.

– Чтобы исполнить «Гоп со смыком», по-видимому. На два голоса.

Ему страшно хотелось запустить печеньем в мягкое, улыбчивое, пухлощекое лицо напротив. А потом взять что-нибудь потяжелее, типа лома, и вдребезги сокрушить лаковые дверцы шкафов, за которыми прятались журналы прошлого века, смести торжественные картины со стен, порвать фотографии, перевернуть стол и на мелкие кусочки раздробить рогатую малахитовую чашу в углу.

– Правильно! – воскликнул Созоев, избегая смотреть ему в глаза, белотелым мизинцем вылавливая из чашки чаинку. – Отлично, что вы вспомнили, Саша. А у вас, Саша, талант – я давно замечаю…

Три морщины перечеркнули его гладкий лоб.

– Андрей Борисович, – подавив раздражение, сказал Игнациус. – Ведь мы заранее обо всем условились. Ну давайте выбросим эту диссертацию к чертовой матери. Ну давайте выбросим и навсегда забудем ее.

Он готов был немедленно сделать это.

– Превосходное исследование, – по инерции протянул Созоев. И вдруг поднял совиные, толстые, круглые веки, покрытые желтизной. И глаза его как-то тревожно блеснули. – Понимаете, Саша, вчера вечером я получил письмо…

Игнациус вздрогнул…

Стояли жесткие, ветреные, пустые дни. Окна зарастали ледяной коркой. Игнациус поднимался в шесть утра, выцарапанный из сна жестяными судорогами будильника.

Шлепал босой на кухню и, не открывая воспаленных глаз, с отвращением жевал что-то – липкое, упругое, резиновое. Потом возвращался в комнату и зажигал электричество. Резкий ламповый круг замыкал собою весь мир. Время останавливалось за черными стеклами. Записи, вырезки из реферативных журналов, протокол наблюдений, мельчайший академический шрифт, сведение в целое, торчат хвосты, рассыпающийся лабораторный дневник, контроль отсутствует, дикие иероглифы картотеки, контроль найден, сведение в целое, выпал абзац, клей и ножницы, брякающая машинка, две страницы, тезис Шафрана – не соответствует, картотека, журналы, назад – в предисловие, клей и ножницы, сведение в целое. Свет желтой пленкой залепливал ему ресницы. От напряженной многосуточной позы скручивались мышцы в спине. Он ложился за полночь, когда Валентина уже дышала в подушку. Еще минут пятнадцать не мог заснуть: бешено сталкивались выгнутые шелестящие строчки. Ему казалось, что он муравей, грызущий горный массив. Он натыкался на свое отражение между штор: бледное, зеленоватое лицо с искусственными волосами. Лицо неудачника. Человек с таким лицом никогда не сделает ничего толкового. Не стоит и пытаться. Тем не менее каждый вечер ставил будильник ровно на шесть утра. Отступать было некуда. В середине месяца неожиданно посветлело. Засияли строгие рамы. Проникающий серебряный блеск озарил всю комнату. Игнациус как будто очнулся. Была середина дня. Лампа горела тускло. Валентина квакала о чем-то над самым ухом. Он поднял голову и увидел, что из форточки вырывается и мгновенно тает над батареями – крупный веселый снег. Тогда он собрал все написанное в серую папку и накрепко завязал тесемки. Он сделал все что мог, и прибавить сюда было нечего.

А теперь вдруг поникший Созоев тревожно глядел на него.

– Понимаете, Саша, вчера я получил письмо, – еле слышно сказал он. Развернул листок бумаги в клетку, вероятно выдранный из школьной тетради. – Почерк очень плохой, я вам прочту, вот здесь… «Я не прошу извинений, все происшедшее со мной слишком бессмысленно, чтобы извиняться. Ведь не извиняются же за ураганы и землетрясения. Одно могу сказать твердо: обратно в институт я не вернусь. Это просто невозможно сейчас. Мой материал передайте Саше Игнациусу. Или кому угодно, если он откажется. Меня скоро не станет, но я ни о чем не жалею и ничего не хочу изменить. Жизнь заканчивается, и я принимаю ее такой, какая она есть. Федор Грун».

Одинокий листочек затрепетал у него в руках.

– Адрес! – не своим голосом потребовал Игнациус,

подпрыгивая вместе с креслом.

– Без адреса, – испуганно ответил Созоев. Аккуратно сложил этот жалкий листочек и убрал в карман. – Знаете, Саша, я подписал его заявление. Я тянул до последнего, но теперь просто не остается другого выхода…

У Игнациуса отлегло от сердца. Он разжал побелевшие пальцы, и искрошенное печенье ссыпалось обратно в вазу. На синеватых снежных рассветных ветвях за окном сидели нахохлившиеся воробьи. С чего это Генка взял, что старик спятил? Вовсе не спятил, ну – самую малость. Вполне нормальный доброжелательный старикан.

– Андрей Борисович, можно я вас поцелую? – ласково попросил он.

– Одну минуту, – ответил Созоев. Как-то неохотно вылез из-за стола и побрел через комнату, шаркая тапочками по грубому вытертому ковру. Задержался зачем-то в дверях. – Подождите меня одну минуту…

Махнул короткой рукой.

Тут же ввинтилась Марьяна, уже переодетая в мутно-складчатое платье неизвестной эпохи, и, косясь на проем лошадиным продолговатым глазом, точно бешеная змея, прошипела:

– У Андрея Борисовича температура. Тридцать восемь и две десятых. Он болен.

– Ухожу, – пообещал Игнациус.

Марьяна испарилась. Только воздух закрутился на месте, где она стояла секунду назад. А из этого вихря неторопливо выплыл Созоев и положил перед Игнациусом знакомую пухлую папку, перевязанную тесемками.

– Здесь ваши материалы, Александр. Я их не читал. И, по-видимому, читать не буду. Так что можете забрать их с собой. – Ему было трудно разговаривать, он словно одеревенел. Со стен пялились многочисленные фотографии: Созоев и Калманов, Созоев и Шредер, Созоев и Ламеннэ. – У меня нет к вам никаких претензий, Саша. Вопрос уже решен. Если шестого все пройдет нормально, то защита будет назначена в течение месяца. Я подпишу необходимые бумаги и выступлю как положено. Но читать это я не желаю.

По-прежнему стоя, он передвинул папку Игнациусу, и Игнациус, также поднявшись, безжизненно принял ее:

– Хорошо.

– Но имейте в виду, что Бубаев, наверное, выступит против.

– Вы так думаете… – начал Игнациус.

– Бубаев будет против, – пустовато глядя поверх его головы,

повторил Созоев. – И Рогощук будет против. Это тоже имейте в виду.

– Но почему, почему? – спросил Игнациус очень глупо и растерянно.

Созоев пожал плечами.

– Не надо совершать поступки, запрет на которые накладываешь ты сам. Это – совесть… Александр, объясните мне честно: зачем вам степень?

На короткой шее его вдруг прорезались ниточки жил. А широкие плоские брови куда-то поехали.

Надо терпеть, подумал Игнациус, стискивая папку. Главное сейчас – не сорваться. Он ведь ждет, что я непременно сорвусь. Я не имею права сорваться сейчас.

– Затем, что мне двадцать семь лет, – медленно, сдавленным от ненависти голосом сказал он. – Затем, что защищаются все, кому не лень. Затем, что нужно быть круглым идиотом, чтобы не защититься. Затем, что я не хочу быть как дурак среди остальных. Затем, что жить на сто двадцать рублей невозможно. Затем, наконец, что вы сами прекрасно знаете все эти «зачем»…

Он запнулся, не находя убедительных слов. Но, по-видимому, большего от него и не требовалось. Потому что Созоев вдруг вежливо и непреклонно оборотился к дверям.

– Я все понял. Я понял вас. Достаточно, Саша.

И румяные, сдобные пальцы его – указали…

Игнациус выкатился на улицу и в остервенении пнул сугроб, отвалив порядочную ледяную глыбу. Посмотрел на заиндевелые рамы второго этажа. Кирпичом что ли по ним шарахнуть? Только где тут достанешь кирпич? Уже рассвело. Малиновая краюха солнца плыла над антеннами и наливала пламенем подслеповатую кривизну чердаков. Дул сырой ветер. Ноздреватый снег стонал при ходьбе всеми своими суставами. Совесть, видите ли, у него. С чего бы это? Потолок на башку рухнул? Где он был раньше, когда обо всем договаривались? Совесть. Конечно, я использовал данные Груна, особенно при анализе: страницы девяносто вторая – сто четырнадцатая, но иначе бы я просто не успел. Попробуйте накатать диссертацию за месяц, начав с нуля, с гладкого ничего. И, между прочим, кто предложил их использовать? Между прочим, Андрей Борисович Созоев, собственной персоной: «Возьмите эти материалы, Саша, включите их как-нибудь в свою работу, а то пропадут». Декабрьский вечер, семинар у радиологов, случайный разговор в пустой гулкой аудитории. И пропали бы. Точно. Никто не станет оформлять для печати чужое исследование.

Игнациус замер в недоумении. Впереди была набережная

незнакомой вьюжной реки: гранитные столбики в шапках по пояс, оснеженная вязь перил между ними, дикий нетронутый хаос льда, а на другом, приземистом, берегу – глухие, убогие, занесенные по самый шифер, длинные дощатые бараки. Наверное, склады. Скукой и запустением веяло от них. Игнациус выругался. Ко всему, он еще свернул не в ту сторону. Теперь придется пилить обратно. Наверное, целый километр. Видимо, лучше – через переулок. Через переулок, наискосок и – к автобусной остановке. Он вдруг распахнул подозрительно легкий, болтающийся дипломат. Так и есть, папку он забыл у Созоева. Надо же, как получается. Одно к одному. Ну и черт с ней! Чтоб она совсем провалилась!

Он прибавил шагу. Переулок изгибался дугой. Было жарко. Шлепались с низких крыш набрякшие комья снега. Совесть, видите ли, у него. С чего бы это? Игнациус тяжело дышал. Именно Созоев добился на ученом совете, чтобы сняли Груна и вписали Игнациуса. Что было весьма чревато. Именно Созоев непрерывно теребил и подталкивал его все это время. Именно Созоев буквально выжал из него готовый текст. А теперь, пожалуйста, – читать не буду. Наверняка что-то случилось: слишком внезапно, слишком сразу, слишком без явных причин. Еще вчера все было нормально. Он свернул за угол и увидел ту же – в горбатых шапках, оглохшую под сугробами, забытую, нетронутую набережную. Неужели опять напутал? Не должно быть никакой набережной. Над низким зевом подворотни, чудом не падая, висела отодранная табличка. «Сонная улица 12» – было написано на ней. Вдруг ужасно стемнело – за две секунды. Громадными охапками повалил мокрый снег. Дальний конец переулка пропал в мутной пузырчатой пелене. Закружилась метель. Не в картах, так в любви, подумал Игнациус, закрываясь ладонью. Внутренне он уже был готов ко всему. Четырнадцатый номер приходился на совершенно сказочный, причудливый особняк с выпяченными по бокам детскими витиеватыми башенками, стоящий за чугунной оградой в пустынном, сером, пронизываемом липкими хлопьями, редком саду. Скорее всего, там располагалось какое-нибудь учреждение. Вот и остаток вывески на сквозных воротах. Игнациус попытался разобрать треснувшее название, но не смог. Не хватало больше половины. Тогда он взялся за массивный изогнутый прут и толкнул калитку.

Глава 3

Через сад, вероятно, никто никогда не ходил. Рыхлый наст, шурша, проваливался под ногами. Снег жестоко лупил и творожистой гущей стекал по коже. Хор деревьев махал призрачными ветвями. Перед дверью, защищенной треугольным карнизом, стояли двое в промерзших кирасах, в шлемах, увенчанных острыми шишаками. Как по команде, скрестили беловатые от холода алебарды.

– Прочь! – сказал им Игнациус.

Грохнул кулаком по филенке так, что задребезжало с другой стороны. Щурясь во вьюжную мокроту, выглянул некто, маленький и лысый, как груша, в пестром облегающем трико арлекина:

– Вас ждут, сударь, – и попятился.

Уходили наверх парадные ступеньки из гладкого мрамора.

– Не сюда, – поспешно сказал Арлекин. Завернул Игнациуса в темные боковые коридорчики. – Как добрались, сударь? Вас кто-нибудь видел? Слежки не заметили? Будьте осторожны, Ойкумена кишит лазутчиками.

– Куда мы идем? – спросил Игнациус.

– Тс-с-с… – Арлекин погрузил щеки в кружевной воротник. – Милорд Экогаль распорядился проводить вас прямо в железную комнату. Ради бога, сударь, – ни звука! Даже страшно подумать, что будет, если Тайный Совет вдруг узнает о вашем присутствии…

Игнациус ничего не понимал, но находил все вполне естественным. Как во сне. Они миновали сумрачные площадки, затянутые паутиной, спустились по невидимым лестницам, которые угрожающе визжали на разные голоса, пригибаясь, пролезли сквозь пыльную портьеру с кистями и оказались в душном безвыходном закутке, где вдвоем было не повернуться. Арлекин постучал особенным образом.

– Прибыл гость, милорд!

Желтый свет на мгновение ослепил Игнациуса. В дверях, держась за эфес длинной шпаги, стоял высокий, плотный, бритоголовый, наверное, очень сильный мужчина в черном плаще. На широком и властном лице его двигались хищные, как у кота, усищи.

– Клянусь Звездным Кругом и Тремя Радиантами его, вы не торопитесь, сударь! – прорычал он. – Как будто у нас в запасе целая Вечность!

Распространяя восковую сушь, горели по стенам толстые

свечи. Аня, прижавшись к мелкому узорчатому железу, которым до потолка была обита клетушка, радуясь и не веря, обеими руками коснулась сияющих глаз.

– Ах! Ты нашел меня, я предупреждала – не надо…

– Мадонна, – сурово сказал бритоголовый. – Полночь уже близка. Я проскакал двести верст и загнал четырех лошадей вовсе не ради ваших возвышенных чувств. Мне нужен Человек – из плоти и крови.

– Вы его погубите, – умоляюще сказала Аня. – Вы уже погубили Персифаля. У вас нет сердца!

Бритоголовый нагнулся к ней, уперев локти в медный стол. Подскочившая шпага его задрала плащ, расшитый золотыми скорпионами.

– Вы хотите жить среди людей? Вы хотите повернуть зубцы Круга, чтобы стать наконец свободной? Или вы намерены ждать, пока Фукель отравит Звездочета, как он отравил когда-то вашего отца, и затем повернет Круг в обратную сторону?.. Моя голова полетит первой, не сомневаюсь, но ваша – следом, мадонна.

– Ах, нет! – воскликнула Аня.

Бритоголовый обернулся к Игнациусу.

– Любите ли вы ее, сударь?

– Да, – без колебаний сказал Игнациус.

– И готовы на великие жертвы?

– Да, – сказал Игнациус.

Черты бритоголового немного смягчились.

– Вы отвечаете, как подобает Человеку, мадонна не ошиблась. – Торжественно поднял руку в красной замшевой перчатке с раструбом. – Даю слово Экогалей: если вы повернете Круг, то я обвенчаю вас, чего бы мне это ни стоило. – Он откупорил серебряный флакончик, сильно запахший цветами, и налил в бокалы тягучую маслянистую жидкость зеленого цвета, в которой мерцали искры. – Выпьем! Выпьем Эликсир Ночи! Единственный напиток вечно странствующих!

Игнациус осушил свой бокал одним глотком, и крепкий звездный вкус обжег ему небо.

– А теперь поцелуйтесь, – сказал бритоголовый.

Аня прильнула к Игнациусу. Он ощутил сладкие от эликсира, мягкие, горячие губы. – Мы теперь будем вместе, – шепнула она. В ту же секунду дверь разлетелась в щепки и выплеск обнаженных шпаг пронзил воздух. Комнату заполнили приземистые бочонкообразные жуки, будто панцирем облитые хитиновыми крыльями. Самый важный из них, с алмазной перевязью поверх желтых члеников брюшка, прошипел, смыкая на подбородке множество крючковатых жвал:

– Из-ме-на!

У милорда Экогаля поплыли на лоб квадратные брови.

– Гусмар, названый брат мой, – ласково сказал он Арлекину, жмущемуся у стены. – Мы росли в одном доме, и одна женщина воспитала нас.

Арлекин, торжествуя, сверкнул угольями из мохнатых ресниц.

– Эта женщина, милорд, давала вам сахарный хлеб, а мне – только пощечины. Вы жили в замке, окруженный слугами, готовыми исполнить любой ваш каприз, а я каждый день возвращался к себе в конуру, где скреблись крысы и кашляла больная мать. Вы били меня во время игр, а я не смел ответить вам тем же. – Он перевел дух и заключил с едкой иронией: – Мы и теперь не равны, милорд: вы умрете, а я получу дворянство и орден Тьмы из собственных рук Его Святейшества.

– Что ж, – хладнокровно сказал бритоголовый, – Значит, не осталось в мире чести и благородства. Что ж, прощайте, мадонна, храни вас бог, мы не увидимся более… – Он поддернул перчатки и ободряюще кивнул Игнациусу: – А вы, сударь, постарайтесь умереть достойно.

Цепкие лапы схватили их. Игнациус попытался освободиться, но его будто спеленали. Как две птицы, мелькнули широкие рукава Аниного платья.

– Встретимся на Млечном Пути, где цветут папоротники небытия!.. – звучно крикнул милорд Экогаль, круша кулаками неповоротливые пластинчатые черепа.

Вырваться из жестких объятий было нельзя. Игнациуса притащили в громадный каменный зал, грубые своды которого терялись в темноте. Ржавый свет факелов плясал по скалистым ребрам, и цепь шестируких стражников, озаренная им, мрачно выставляла короткие пики. За бескрайним низким столом, скрестив лапки перед чернильницами на зеленом сукне, окруженные почтительными секретарями, сидели три жука, сплошь увешанные регалиями. Средний, у которого ветвились жестяные рога на затылке, сразу же приподнялся.

– Вы обманули нас! – скрипучим, как железо, канцелярским голосом произнес он. – Вы тайком проникли в Ойкумену, чтобы разрушить механизм часов. Жалкая попытка! Неужели вы хоть на секунду могли помыслить, что мы оставим без внимания дочь Мариколя? Вы сочли нас глупыми и коварными. Но мы не глупы и не коварны. Мы милосердны к друзьям нашим, мы щедро платим тем, кто верой и правдой неутомимо служит великой цели, но врагов и предателей мы караем беспощадно: память о них исчезает в темных водах Овена.

Жук качнул своими рогами – приказывая.

Семеня короткими ножками, изогнув верхнюю часть тела, выползла из темноты одутловатая, щетинистая гусеница высотой в человеческий рост и развернула перед белыми, будто незрячими глазами свиток пергамента, украшенного сургучной печатью на плетеном багровом шнурке. Игнациус с удивлением узнал в ней Градусника – срезанная челюсть и редкие, липнущие от одеколона волосы.

– Неусыпным наблюдением попечителей за дочерью Мариколя установлено, – загнусавила гусеница, упершись носом в пергамент, – что во время пребывания в человеческом мире, каковые пребывания были ей милостиво разрешены членами Тайного Верховного Совета, дочь Мариколя допускала нежелательные и вредные знакомства среди людей, каковые знакомства превосходили степень обязательности, милостиво разрешенной ей членами Тайного Верховного Совета, каковая дочь Мариколя скрытно сблизилась и многажды беседовала на неизвестные темы с неким Игнациусом, пребывающим здесь, каковой Игнациус по представлению Геральдической комиссии происходит из проклятого рода Знающих, каковой род был милостиво запрещен к проживанию в Ойкумене членами Тайного Верховного Совета и осужден на вечное изгнание, каковое знакомство перешло в преступное расположение и дружбу, нарушив тем самым закон о неприближении к дочери Мариколя, каковой Игнациус вероломно обманул попечителей Тайного Верховного Совета и вступил в злодейский заговор с вероотступником и отщепенцем милордом Экогалем, каковой милорд Экогаль неоднократно возмущал граждан наших прискорбными речами о двойственности мира и разделенности его на радости и печали, каковая печаль в природе не существует, а каковая радость милостью членов Тайного Верховного Совета и во веки веков пребывает только в Ойкумене, каковой Игнациус по приглашению милорда Экогаля прибыл в Ойкумену с целью смещения Звездного Круга и Трех Радиантов его, каковые незыблемы, в чем и обличен полностью, неоспоримо и клятвенно подтверждено благонамеренными гражданами в количестве трех, каковые пребывают в неизбывной радости…

– Ваше Святейшество, они обручены, – внятно сказал Арлекин, делая шаг вперед.

Рогатый жук плюхнулся в кресло и задвигал всеми шипастыми ножками: ввва… ввва… ввва… – в полной беспомощности. Чешуя из наград на его груди забренчала. Другой судья, похожий на носорога, бугорчатый и неуклюжий, резко подался к Арлекину, словно желая пронзить его костяным

бивнем, и прохрипел, надувая у рта ядовитые пузыри:

– Кто посмел?!

– Милорд Экогаль, – отчетливо сказал Арлекин и, сделав шаг назад, пропал во мраке.

Трое судей уставились на Игнациуса бархатными непроницаемыми глазами. Я не боюсь, чувствуя противный озноб, подумал он. И повторил очень громко:

– Я не боюсь!

Тотчас же из-за спины его, изящно перебрав сухими ногами, совершенно бесшумно вынырнул громадный, подтянутый крапчатый богомол и неуловимым для глаз движением скрестил над головой метровые заточенные пилы. Беловатая жидкость с шипением сочилась по ним.

Это был Стас.

Игнациус отшатнулся.

Тогда третий жук, с хитиновыми ушами как у слона, махнул лапкой, и гусеница опять торопливо загнусавила:

– Каковой Игнациус приговаривается ко всеобщему и окончательному пожранию, каковое пожрание осуществится в полночь сего дня, при ясной луне, каковая полночь будет объявлена праздником во время боя часов… Каковой милорд Экогаль приговаривается ко всеобщему и окончательному пожранию, каковое пожрание осуществится в полночь сего дня, при ясной луне, каковая полночь будет объявлена праздником во время боя часов… Каковая дочь Мариколя милостивым решением членов Тайного Верховного Совета приговаривается к заключению на срок до боя часов, а затем – к замужеству, каковое замужество определит милостивая воля членов Тайного Верховного Совета…

Игнациуса тащили в гробовой темноте, которая остро пахла плесенью и гниющим деревом, душный запах этот перемешивался с кислой вонью, исходящей от стражников. Света не было совсем. Сыпалась сухая земля за шиворот. Железными клыками лязгнула дверь. – Не туда, – сказал кто-то могучим прокуренным басом. – Туда, туда, сегодня у них брачная ночь, – пискляво объяснил другой. Надрываясь, заржали, зачмокали. Смертельно взвизгнул засов. Игнациус обо что-то споткнулся. – Кто здесь? – быстро спросил он. – Я, – жалобно ответила Аня. Осторожно притянула его к себе и обняла, спрятав лицо на груди. – Мы погибли, милорд Экогаль схвачен, в полночь тебя казнят. – Не плачь, мы выберемся, – сказал Игнациус. Она вдохнула горячие легкие слезы. – Завтра я стану женой Фукеля. Бедная Ойкумена! – Неужели ничего нельзя сделать? – целуя ее в висок, шепнул Игнациус. Аня покачала головой. – Они завладели печатью Гнома,

это власть над всеми полнощными душами. – Глаза уже стали привыкать. Из окошка в толстой стене пробивался фиолетовый тусклый луч. Камера была совсем крошечная. Вероятно – мешок. Игнациус ощупал цементную кладку без единой щели, подергал чугунные мощные прутья. Не выломать. Жизнь кончалась – в дурацкой подземной тюрьме. Где-то далеко ударило тяжелым медным звоном. – У нас есть еще целых шесть часов, – прислушиваясь, сказала Аня. Игнациус опустился перед ней на корточки. – Зачем мы вместе? – Нужен ребенок, – тихо сказала Аня. – Ребенок? – спросил Игнациус. – Я – дочь великого короля, потом Фукель убьет меня и станет регентом. – Скотина, – сказал Игнациус. Аня засмеялась счастливо: – Подумаешь! Иди ко мне. Иди ко мне и – будь, что будет! – У нее редко и сильно стучало сердце. На губах сохранился тревожащий вкус эликсира. Непрерывно шуршало. Наверное, бегали крысы в коридоре. Быстро и глухо звякнул какой-то металлический предмет у дверей. Игнациус подхватил его – связка ключей! – Старый добрый Персифаль! – радостно сказала Аня. С неожиданной силой надела ему что-то на мизинец. – Если спасешься – вот кольцо Мариколя… Звездочет в Главной Башне… Покажешь ему… Надо повернуть Звездный Круг… Поклянись мне! – Клянусь! – сказал Игнациус. Осторожно приложил ухо к дверям. Все было спокойно. Он вставил нужный ключ, и дверь отошла.

– Помоги нам Овен, – отчаянно прошептала Аня.

Стены действительно были земляные, а с потолка свисали холодные голые корни. Как мышиные хвосты. Значит, тюрьма находилась под садом. Горели какие-то шевелящиеся пятна над головой. Игнациус мазнул пальцем – это были светляки. Открыли еще одну дверь. В грязной, обшитой трухлявыми досками караульной перед кувшином с отбитыми ручками, пригорюнясь на маленький кулачок, из которого торчал рыбий скелет, сидел тюремщик, – слюни текли по оливковой бляхе у подбородка. – А тово-етово, етово-тово… – нетвердо удивился он, пытаясь подняться. Ноги у него разъезжались. Видимо, здорово наклюкался. Игнациус без промедления ударил его в челюсть, и жук опрокинулся на спину, вяло заскреб воздух всеми шестью конечностями. Но – пронзительно заверещал. И мгновенно откликнулись – близкие писки и возгласы. Игнациус, нагнувшись, вытащил шпагу из ножен.

– Скорее! – стонала Аня.

Они проскочили запутанный коридорный лабиринт и ворвались в небольшой зал, целиком ограненный узкими зеркалами.

– Отсюда – потайной ход!

Она вдавила завиток оправы – призматический край отъехал, обнажив люк в густой волосатой ржавчине. Его не отпирали, наверное, лет двести. Игнациус не попадал прыгающими ключами. Заливалась тревога, и слышались возбужденные голоса. Наконец прикипевшая крышка с трудом поддалась. Овальная дыра пахнула могильной почвенной сыростью. Теньк! – одновременно повернулись боковые зеркала. Изо всех щелей, как клопы, бестолково полезли стражники. Двое ловко и бережно подхватили Аню, а другие кинулись на Игнациуса. Он неумело махал шпагой. Вдруг она уперлась во что-то жесткое и с трудом вошла. Один из жуков рухнул, дергаясь половинкой тела, остальные – отпрянули.

– Беги! Тебя ждет Звездочет! – крикнула Аня, выгибаясь в хрустящих лапах.

Стражники надвигались. Игнациус, угрожая клинком, протиснулся в мокрую черноту земли и со звоном ударил крышкой. В нее сразу же заколотили. Побежал – невозможно сутулясь. Потолок был шершавый и низкий. Мешала шпага. Впереди вдруг забрезжили неясные контуры дня. Шевеление, выступы, очертания. Он нажал из последних сил. Это был выход. Ступеньки, ведущие к свету, охраняли два хлипких жука с папиросами. Оба ахнули и в ужасе присели, побросав алебарды. Игнациус сшиб их с размаху калеными лбами. Сзади вырастал панический топот. Люк, по-видимому, уже сломали. Он взбежал по ступенькам и вывалился наружу. Был двор, стиснутый домами без окон, окруженный глухой кирпичной стеной, верх которой лизали желтые сугробы до плеч. Под одинокой вздрагивающей лампочкой свистел снег. Узкая тропинка вела к полуоткрытым воротам. Дворник в тулупе, разгребающий створки, поспешно загородился лопатой.

– Привет, Эритрин! Как отсюда выбраться? – задыхаясь, спросил Игнациус.

У того робко выползла макушка из глубины поднятого воротника.

– Ага! Откуда ты взялся? Я же тебе говорил: не лезь! – натолкнулся взглядом на шпагу и мелко попятился.

Ожесточенный писк выстреливал из распахнутого подвала.

– Связался с этой бабой! – испуганно сказал Эритрин. – На кой она тебе сдалась, она же ненормальная, хочешь, я тебя познакомлю: в сто раз лучше и совсем недорого… Постой, постой, подожди секундочку!..

Игнациус оттолкнул его и выбежал из ворот.

На вечерней улице искрились пушистые тротуары. Спешили

прохожие, занятые своими послерабочими делами. Прокатился безлюдный заиндевелый трамвай, а вслед за ним – два пыхтящих грузовика. Почему-то все выглядело как обычно. Он обернулся. Эритрин под роящимся конусом лампочки, держа лопату наперевес, объяснял что-то двум приземистым темным фигурам. Объяснение было трудное. Игнациус быстро пошел и свернул за угол. Черно и жирно блестели парящие полыньи на Фонтанке. Это была именно Фонтанка. Он узнал. Площадь Репина. Выпуклый сквер посредине. Мост с четырьмя цепными башенками. Ему было жарко. Он расстегнул пальто. Насквозь пронзил снежный колючий ветер. Шапку и портфель он, разумеется, потерял. Встречные шарахались от него. Он заметил, что до сих пор сжимает в руке серебристую шпагу. Тогда он бросил ее на мерзлые рельсы, и она зазвенела.

Глава 4

Елка сверкала веселой мишурой, и густой запах хвои наполнял комнаты. Пестрели гирлянды. – Хочу колбасу, – немедленно заявил Пончик и, получив ее, слопал вместе с кожурой. – Хочу вон той рыбы, – и тоже мгновенно слопал. – Хочу пирожное… – Игнациус примерился, чтобы дать ему по отвислым пухлым губам, но пирожное возникло будто ниоткуда, и Пончик смолол его в ноль секунд, а потом, уже благосклоннее, высказался в том духе, что пора бы перейти к лимонаду. Мама Пузырева умилялась: – Весь в дедулю. – Папа Пузырев, одобряя, кивал министерскими седыми морщинами. Разумеется, Пончик был весь в дедулю. По уму, по характеру. Не в отца же, в конце концов. Игнациусу вообще казалось, что он здесь вроде мебели: передвинули в одну сторону, потом в другую, а затем очень мягко, но решительно усадили под еловые лапы, чтобы не торчал на проходе. – Изобрази счастливое лицо, сегодня праздник, – шепнула Валентина в самую сердцевину мозга. Будто воткнула иглу. Игнациус даже дернулся. Они не разговаривали уже неделю. Перегнувшись, он заглянул в трюмо: бледное сырое непропеченное тесто, две угрюмых изюмины вместо глаз и оттопыренные пельмени ушей. Зрелище малопривлекательное. Он изобразил на лице радость. – Перестань гримасничать! – сразу же шепнула сеньора Валентина. Он – перестал. Было скучно. Из телевизора лилось нечто задушевное. Мигали разноцветные огни и склонялись к рампе немолодые грудастые девушки в сарафанах. Игнациус незаметно убавил звук, но мама Пузырева, потянувшись за хлебом, как бы невзначай прибавила его снова. Тогда он начал жрать маринованные помидоры. Он накалывал вилкой дряблые пустые морщинистые тела и целиком запихивал их в рот. После чего жевал – с тупым усердием. Пламенеющий сок стекал по подбородку. Из-под вилки вырывались неожиданные фонтанчики. Он был здесь совершенно чужой и поэтому словно отсутствовал. Горы желтого салата закрывали его. – Саша скоро защищается, – напряженно сказала сеньора Валентина. Знакомые красные пятна появились у нее на лице. – Я вас поздравляю, – ответила мама Пузырева, улыбнувшись прозрачному заливному. – Это было очень непросто, но Саша добился. – А когда именно? – поинтересовался папа Пузырев, доставая запотевшую бутылку шампанского. – Шестого, в понедельник, – сказала Валентина. И голос у нее зазвенел. – Так быстро, какой молодец, – похвалила мама Пузырева, глядя в рокочущий телевизор. – Шестого лишь

репетиция, – сумрачно пояснил Игнациус, – если все пройдет нормально, тогда… – Мама, я хочу курицу, – объявил Пончик, намазывая крем на селедку. – Съешь сначала рыбу, потом получишь. – А я хочу сейчас. – Не капризничай, – сказала сеньора Валентина. – Я не капризничаю, я хочу курицу. – Возьми, возьми, вот этот кусочек, – сказала мама Пузырева, переправляя в тарелку Пончика четыре раздутых ноги. – Мама, слишком много, – недовольно сказала Валентина. – У ребенка прекрасный аппетит, пусть кушает, сколько хочет… – Папа Пузырев забыл про шампанское. – В шестьдесят восьмом году, когда я работал в институте, у нас защищалась некая Капелюхина, – хорошо поставленным басом сказал он. Все незамедлительно отложили вилки. Даже Пончик, который, по-видимому, слегка осовел. Папа Пузырев любил рассказывать поучительные истории. Он их знал великое множество. Игнациус с тоской посмотрел на часы. Время уже приближалось к двенадцати. Жизнь мучительно уходила по капле, минута за минутой сочась с циферблата.

К счастью, спасительно задребезжало в прихожей, и он сломя голову ринулся к телефону, боясь, что опередят.

– Да!

– Это я, не бросай трубку, – предупредил Эритрин. – Мне обязательно нужно с тобой поговорить.

Игнациус выругался вполголоса и ногой прикрыл дверь, чтобы его не слушали.

– Оставь меня в покое, – раздраженно сказал он. – Я же тебе объяснял – пятьдесят шесть раз…

– Нашлись твои вещи, – жалобно сказал Эритрин. – Шапка, дипломат, можешь забрать их.

– Выброси на помойку, – посоветовал ему Игнациус.

– Я не могу…

– Ну тогда продай – с небольшой наценкой.

– Ты ничего не понимаешь, – сказал Эритрин. В голосе его прорвались безумные панические нотки. – Это же – кошмарные люди, оборотни…

– Надоело, – сказал Игнациус.

– Они способны на все…

– Посмотрим.

– Верни кольцо, – умоляюще попросил Эритрин. – Они готовы заплатить. Сколько ты хочешь?

– У меня его нет.

– Любую разумную сумму. Я с ними договорюсь…

– У меня его нет.

– Не обманывай, не обманывай, – жарко и беспомощно сказал Эритрин. – Она отдала кольцо тебе, есть свидетели. Ты даже

не представляешь, чем мы рискуем…

– Хорошо, – сказал Игнациус. Испуг, колотящийся в телефонных проводах, как удавка, отчетливо стискивал горло. – Хорошо. Пусть она придет за ним сама. Она выходит из Ойкумены, я знаю.

Эритрин сорвался на крик:

– Ты с ума сошел!.. Забудь!.. Ничего этого не было!..

Почему-то казалось, что он стоит у телефона босой – полуголый, растерянный, очень потный.

– Хорошо, – опять повторил Игнациус. – Тогда не звони мне больше. И передай этим – кто тебя послал, – чтобы они катились к чертовой матери. Понял? – Не дождавшись ответа, нетерпеливо подул в трубку. – Рома? Алло! Эритрин! Куда ты исчез?

На другом конце линии невнятно завозились, что-то рухнуло, бурно посыпалось на пол, и вибрирующий, полный страха, растерянный голос Эритрина произнес: «Не надо, не надо, я ни в чем не виноват… – а затем, чуть попозже, захлебываясь тоской: Что вы делаете?.. Оставьте!.. Пустите!..»

Разорвался, как будто его отрезало.

– Рома, Рома, – механически повторял Игнациус, чувствуя, как ужасно немеет сердце. – Что случилось, Рома? Почему ты не отвечаешь?

Мембрана тупо потрескивала. Из гнутой пластмассы, из круглой, внезапно онемевшей слуховой дыры будто потянуло ледяной струей. Игнациус бережно, как гранату, положил трубку на рычаги и на цыпочках, тихо пятясь, отступил в привычную кухню. Ерунда, ерунда, подумал он, успокаивая сам себя. Выдвинул ящик серванта. Папа Пузырев уже давно не курил, но держал для гостей хорошие сигареты. Пальцы не могли сорвать целлофан. А потом – протиснуться в набитую пачку. За окном до самого горизонта, светлея однообразной бугристой равниной, простиралась новогодняя ночь: твердый звездяной отблеск и чахлые ивовые кусты, ободранные вьюгой. Мрак. Унылая пустошь. Отчаяние. Когда они с Валентиной поженились, то родители ее отдали им свою квартиру и построили себе кооператив на Черной речке. Следовало помнить об этом. Он чиркнул спичкой, и кончик сигареты уютно заалел. Тут же, придерживая на груди стопку тарелок, в кухню, как утка, вплыла мама Пузырева и потянула воздух расплющенным пористым носом. Игнациус поспешно открыл форточку. – Дует – сказала мама Пузырева в пространство. Тогда он закрыл форточку. – Извините, Саша, я давно вам хотела сказать вам… – Не стоит, – морщась, ответил Игнациус. Мама Пузырева сгрузила тарелки в раковину. – Вы плохой отец, – все-таки сказала она. –

Наверное, – согласился Игнациус. – Вы погубите ребенка. – Такова моя скрытая цель, – согласился Игнациус. – Мальчик буквально пропадает. – От обжорства, – согласился Игнациус. – Ростислав Сергеевич обещал вам помочь, но вы же не хотите. А в четыреста пятнадцатой школе – преподавание на английском и чудесный музыкальный факультатив, виолончель. – Она явно сдерживалась. Проглотила какой-то колючий комок. На плите в кипящей промасленной латке булькало что-то вкусное. – Я терпеть не могу виолончель, – объяснил Игнациус. – Когда я слышу виолончель, я с ног до головы покрываюсь синенькими пупырышками.

Он бросил ватную сигарету. Ему надоело. Этой осенью Пончик пошел в первый класс, и с тех пор дискуссия о школах не прекращалась. Толку от нее, правда, не было никакого. Одна маята. – Сергей будет учиться рядом с домом, – подводя итог, нетерпеливо сказал он. – Но почему, почему?! – Потому что ближе. – Я могу ездить с ним, – предложила мама Пузырева, вытираясь полотенцем. – Спасибо, – вежливо сказал Игнациус. – И Ростислав Сергеевич может с ним ездить. – Спасибо, – сказал Игнациус. – В конце концов, главное – это Сержик. – Разрешите пройти, Галина Георгиевна, – страдая, попросил Игнациус. Мама Пузырева вдруг шатнула к нему несчастное распаренное лицо, на котором кривились дрожащие губы. – За что, за что вы меня оскорбляете?! – Игнациус даже испугался, что она его ударит. Но она не ударила, по-гусиному вытянула шею в розовых лишайных пятнах. – Вы жестокий, вы самодовольный эгоист, вы презираете нас, мы же видим, вы даже разговаривать не хотите, зачем вы женились на Вале? Вы мучаете ее, потому что она умнее вас, я не позволю! Да, умнее и лучше, вы не можете простить ей свою ограниченность!.. – Галина Георгиевна!.. – выдавил ошеломленный Игнациус. – Вы – злой, вы – злой, вы – лицемерный человек, – мама Пузырева упала на стул и закрылась скомканным полотенцем. – Простите, Саша, а сейчас – уйдите, пожалуйста, я прошу вас, я не могу вас видеть… – голые плечи ее вздрагивали, она теребила слезы в мягком носу. Игнациус боялся, что кто-нибудь некстати вопрется. Сделать ничего было нельзя. Никогда ничего нельзя сделать.

Он скользнул в ванную и заперся на задвижку. Включил оба крана – как можно сильнее. Завыли водопроводные трубы. Неделя протекла спокойно. Игнациус развез рукописи оппонентам и подготовил автореферат. Договорился насчет обязательных для защиты рецензий. Обстановка на факультете благоприятствовала. Созоев при встречах здоровался вежливо и непринужденно. О Груне никто не вспоминал. Прошло заседание кафедры. Бубаев – хвалил вопреки всем прогнозам.

Рогощук – отмалчивался, в слепоте змеиных очков. Город готовился к празднику, и из магазинов торчали кипучие нервные очереди. Валентина впервые провела испанцев. Ей подарили балалайку, купленную в «Сувенирах». Правда, она утверждала, что это – севильская мандолина. Игнациусу было все равно. Утихали метели. С утра до вечера падал крупный мохнатый снег и взлетала поземка на перекрестках. Прохожие слонялись, выбеленные, как призраки. Машины упирались голубыми фарами в роящиеся облака. Громадная, увешанная пластмассовыми игрушками ель высилась перед Гостиным Двором, и переливчатые огни стекали по ее ветвистым лапам.

Ничего необычного больше не произошло. Хрипела в шарфах и кашлях декабрьская простуда. Дважды звонил Эритрин и орал как помешанный – перемежая мольбы с идиотскими тупыми угрозами. Речь все время сводилась к кольцу Мариколя. Игнациус нажимал на рычаг и прикладывал трубку к пылающему лбу. Сонная улица, четырнадцать. Он не знал, было это с ним или не было, но он не хотел забывать. Ойкумена существовала рядом, как изнанка древнего мира. Как рогатая тень, как загадочная и древняя сущность его. Там скрипели деревянные лестницы и били куранты на ветряной башне, там, шурша коготками, бродили по тесным переходам уродливые панцирные жуки, там, меряя шагами клетку, ожидал казни яростный Экогаль и Аня томилась в подземной тюрьме, где царил тлен корней и попискивающий крысиный сумрак. Огненный Млечный Путь был распахнут над Кругом во всем своем ярком великолепии, и блистающий холод его лежал на цепях и зубчатых колесах. Полночь еще не наступила. Из внутреннего кармана он достал кольцо Мариколя и протер его. Гладкий, спокойный нездешний металл. Сначала он думал, что это серебро, но один знакомый сказал – платина. На кольце была печатка в виде скорпиона, голову и тело которого составлял кровавый бриллиант. Оно едва налезало на мизинец. Игнациус поднес его к лампе, и скорпион зашевелил нитяными лапками.

Будто живой.

В дверь требовательно постучали.

– Что у вас произошло с мамой?

Валентина смотрела в упор, прожигая немигающим коричневым взглядом.

– Ничего, – ответил Игнациус. – Все то же.

– Пойди и извинись перед ней.

– Не за что.

У нее надулись страшные желваки на скулах.

– Иди немедленно!

Игнациус легко отстранил ее. Женятся не потому, что любят. Женятся, потому что пришло время жениться. Бывают такие дни, когда от весеннего солнца, от растрескавшихся горьких почек, от свежего запаха воды над гранитной набережной сладко кружится голова и особенно горячо звенит кровь в натянутых жилах. Сияет хрупкое небо, подпертое шпилями. Слепят блики из чистых окон. Жизнь вращается как пестрая карусель. Начинается эйфория. Совершаешь необъяснимые поступки. Пленка нереальности обволакивает сознание. Потом она распадается и в остром недоумении замечаешь неровную вялую кожу, извилистый нос и три черных волосатых родинки под ухом на влажной щеке.

Он прошел в комнату.

В комнате перед вопящим скрежещущим телевизором сидел Пончик – как сытый клопик: барабанный живот и раздвинутые кривые ножки. Глаза у него слипались. Папа Пузырев, уже свекольного цвета и поэтому любящий все человечество сразу, увидев его, очень обрадовался.

– Так вот, Капелюхина, – занюхивая корку хлеба, сказал он.

Игнациус обреченно сел. Эта Капелюхина исследовала прочность куриных яиц. Сложность здесь заключалась в том, что скорлупа должна была быть достаточно твердой, чтобы не биться при перевозках, а с другой стороны – достаточно тонкой, чтобы обычный цыпленок мог сразу проклюнуться. Она заказывала яйца в совхозе и кокала их молотком – с разной силой и под разными углами. Сначала сама, а потом ей выделили лаборанта. Вместе они перебили около миллиона штук. Лаборант не выдержал и ушел в аспирантуру. А Капелюхина стала писать диссертацию. Она писала ее двенадцать лет и все двенадцать лет ела яйца три раза в день – на завтрак, на обед и на ужин. И муж ее питался исключительно яйцами. И все родственники – тоже. А дети настолько привыкли к яйцам, что не могли употреблять в пищу ничего иного. Тем не менее они выросли уважаемыми людьми.

Папа Пузырев назидательно выпрямил палец и опустил локоть в тарелку с салатом. В институте он заведовал АХЧ. Как и полагается отставному ответственному работнику. Теперь должна была последовать густая мораль. Дескать, и от науки бывает польза. Но мама Пузырева, слегка приседая, внесла дымящееся блюдо, на котором вываренный сахарный рис был обложен погребальной зеленью, и грохнула его на середину стола. – Ты – выпил, – сказала она, окаменев желтым подглазьем. – Нисколько, – папа Пузырев с достоинством вынул пиджачный локоть из хлюпнувшего салата. – А я говорю:

ты выпил! – Совсем чуть-чуть. – А я тебе запрещаю! – Ну и что тут такого? – А то, что я тебе запрещаю! – Они ненавидели друг друга давно и спокойно. Игнациус, который никак не мог привыкнуть к таким отношениям, глухо пробормотав: «На минуточку», – начал выдираться из-за стола. Деться ему было некуда. На кухне гремела кастрюлями сеньора Валентина. Он потоптался в прихожей и набрал номер Анпилогова. Гудки на той стороне долго падали в безвоздушное слепое пространство.

Наконец трубку сняли.

– Ну ты даешь, я уже спал, – недовольно буркнул Геннадий.

– Так ведь – Новый год, – сказал Игнациус.

– Подумаешь.

– Я хотел поздравить тебя.

– Это необязательно.

– А во сколько ты лег? – поинтересовался Игнациус.

– Как всегда, в одиннадцать. Будто не знаешь, – уже по-настоящему рассердился Анпилогов.

Игнациус ему позавидовал. Хорошо вот так, изо дня в день, ни на миллиметр не отклоняясь, идти к определенной цели. Он знал, что и завтра Геннадий встанет точнехонько в семь утра и поедет в пустом автобусе на работу, смотреть препараты. У него был пропуск на все праздники.

Он дал отбой, и телефон зазвонил тут же – тревожно, нетерпеливо, как междугородняя, словно дожидаясь этого мгновения.

Игнациус крикнул:

– Прачечная номер шесть слушает!

– Александр Иванович? – не удивляясь, осведомились в трубке.

– Он самый.

– Добрый вечер, Александр Иванович. Я говорю с вами по поручению Фукеля.

– Не знаю такого, – мгновенно похолодев, ответил Игнациус.

– Александр Иванович, – сказали в трубке, твердо, по-иностранному выговаривая слова. – Александр Иванович, не надо валять дурака. Вы должны вернуть это кольцо. Безусловно. Оно вам ни к чему. Кстати, я уполномочен предложить за него вполне приличную компенсацию.

– Нет, – сказал Игнациус.

– Александр Иванович, не упорствуйте, – терпеливо посоветовали в трубке. – Не упорствуйте, не вынуждайте нас применять крайние меры. Это будет чрезвычайно неприятно для обеих сторон.

– Идите к черту, – сквозь зубы сказал Игнациус.

– Вам, конечно, нужны доказательства? Естественно. Расспросите своего друга, когда он очнется…

– Что?

В трубке деловито сообщили:

– Ваш друг, Роман Вескин, лежит сейчас около дома сто пятьдесят четыре по улице Полярников. Это в Купчино, слышали? Где кафе «Уют». Как видите, мы настроены очень решительно. Советую вам вызвать скорую помощь, а потом побеседовать с ним, если разрешат врачи.

– Вы с ума сошли, – прошептал Игнациус.

Он вдруг поверил.

– Поторопитесь, Александр Иванович, а то он не сможет разговаривать вообще. Ну, я еще позвоню.

И раздались короткие сомкнутые гудки.

Игнациус замер – с трубкой. Будто пружинистая, мохнатая шестипалая лапа легла ему на затылок. Звонко цокнули зубы. В проеме дверей появилась Валентина – белые овечьи скулы под завитыми кудряшками.

– Мы тебя ждем!

– Зачем? – не понял Игнациус.

Валентина отчетливо покрутила пальцем у виска. Исчезла. Он, как сквозь вату, услышал скомканные далекие голоса, перешарк многих стульев, быстрый хлопок шампанского, и вслед за этим – протяжный, гулкий торжественный бой курантов.

Наступил Новый год.

Глава 5

Аудитория была битком набита. До самого потолка поднимались ряды очумелых расплывчатых лиц. Игнациус даже остановился. Откуда столько народа? Не должно быть столько народа. Очень плохо, что столько народа. Он поклонился, как паяц на шарнирах, и гомон утих, сменившись вдруг зловещей натянутой тишиной. Воткнулись любопытные взгляды. Его бросило в жар. Настенные часы в блестящей металлической шине показывали половину четвертого.

– Ты рехнулся, – отчетливо и зло прошептал Анпилогов справа.

Был весь крысятник: Бубаев-старший, взбивающий пальцами раздвоенную холеную бороду, и Бубаев-младший – согнутый, как интеграл, и крыса-Хипетин в халате, катающий между губ не зажженную тонкую сигарету, и крыса-Молочков, расчесывающий корни белобрысых волос.

Элеонора, придерживая ладонями крылатый шиньон, будто фурия вбежала в аудиторию:

– Ах, Саша, вы – здесь! А я ищу вас по всему институту!..

И гадючник тоже собрался полностью: крепкая, сухая, посаженная на длинную шею, плоская голова Рогощука сияла гипнотическими очками, и вокруг нее, словно оберегая материнское гнездо, ядовитым цветком покачивались такие же крепкие, сухие, приплюснутые, осторожные, слабо шипящие головы. А за кафедрой, перед школьной доской, испачканной мелом, смежив раскосые янтарные глаза, как воскресший коричневый Будда, посапывал во сне лично Мамакан – жевал пустоту мягким трехслойным подбородком.

И Созоев постукивал карандашом по графину:

– Бу-бу-бу-бу… – что-то неразборчивое о планах кафедры на этот год.

Жека толкнул локтем в бок:

– Я сегодня был у него, он не хочет тебя видеть…

– Ладно, – переживая за свое опоздание, сказал Игнациус.

– Странно, но так и велел передать: я его больше не знаю…

– Ладно, – переживая, сказал Игнациус.

Эритрин находился в больнице. У него была повреждена челюсть и сломаны два ребра. Кроме того – сотрясение мозга. Похоже, что его били кастетами. Он пролежал на морозе около двух часов и здорово простудился. Опасности для жизни не было никакой. На другой день явился следователь, но не смог выяснить ничего существенного. Эритрин торопился в гости,

а на перекрестке Полярников и Новостарской у него попросили закурить. Кажется, их было трое. Он точно не помнил. Когда полез во внутренний карман за сигаретами, то высокий, в расхлюстанной лисьей шапке, ударил его под дых. Без какого-либо предупреждения. Дальше была только боль. Омраченье. Удары. Искры, сыплющиеся из глаз. Деньги и вещи остались в целости. То есть, видимо, не ограбление. Внешность нападавших он описать не сумел. Все произошло слишком быстро. Однако утверждал, что никого из них раньше не видел. Адрес и фамилию приятеля, к которому шел, назвать отказался. Дескать, не имеет отношения к делу. Хулиганство, о чем еще говорить. В последнее время он ни с кем не ссорился, врагов у него нет, и он никого не подозревает. Вот такая история. Было только странно, почему пострадал Эритрин, а не сам Игнациус. Он вчера ездил на Сонную улицу – подняв воротник и сутулясь, чтобы не узнали, прошел вдоль чугунной ограды: ворота в оглохший сад были заперты и перевязаны цепью, а двери под треугольным козырьком заколочены крест-накрест – широкими толстыми досками.

И никаких следов на хрупкой корочке наста.

Вероятно, все нити были оборваны. И Созоев уже перестал бубнить.

– А позвольте вопрос? – сразу же сказали в середине аудитории.

Бубаев-старший огладил раскидистую бороду.

– Вопрос самый элементарный: зимой и летом – одним цветом?

Крысятник восторженно запищал и звериные хищные мордочки повернулись к кафедре.

Но Созоев не растерялся.

– Патефон, – чрезвычайно спокойно ответил он.

– Почему патефон?

– А – патефон, и все.

И Бубаев подавленно шлепнулся на скамью.

– А тогда позвольте другой вопрос? – Рогощук, даже не вставая, далеко над сиденьем вытянул свое гуттаперчевое тело. Будто кобра. Прорезались жилы на шее. – Без окон, без дверей, полна горница людей?

И сверкнул по рядам бифокальными мощными линзами.

– Патефон, – опять ответил Созоев. Неприятно набычился, снизу оглядывая аудиторию. – Еще есть вопросы?

И Рогощук тоже втянулся обратно. А гадючник венчиком сомкнулся над ним, и – шур-шур-шур – задымилось участливое шипение.

– Ну, старик сегодня в ударе, под корень рубит, – восхитился Жека.

Две навозные мухи вдруг закружились над макушкой его. И одна из них весело пискнула:

– Привет, ребята!..

Аудитория загудела.

– А тогда позвольте выступить! – опомнившись, закричал Бубаев. И, не дожидаясь разрешения, бодренько покатился вниз. Голый крысиный хвост высовывался у него из разреза пиджака и как проволока хлестал по скамьям.

Игнациус инстинктивно поджал ноги.

– Мне это не нравится, – довольно громко заявил Анпилогов, убирая журнал на английском, который читал.

Встала Элеонора и отряхнула роскошную рыжую шерсть вдоль предплечий.

– Даю справку по процедуре заседания, – невыносимо растягивая слова, произнесла она. Открыла толстенную книгу, переплетенную в дерматин, перелистнула несколько папиросных страниц и продекламировала, как в первом классе, тоненьким, очень старательным голосом:

– В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зайчишка-айка серенький под елочкой скакал, порою волк, сердитый волк, под нею пробегал!..

Аудитория загудела еще сильнее.

Игнациус ничего не понимал. Лишь таращился – до боли в распяленных веках. Осторожно, украдкой пощупал себе лоб – холодный. Придавил, загибая, мизинец о край стола. Кажется, ничего не изменилось.

Обезумевший Жека с размаху заехал ему по спине:

– Не робей, Александр! Матросы не плачут!

А навозные мухи немедленно подтвердили:

– Ништяк!

Между тем неутомимый Бубаев все-таки взгромоздился на кафедру.

– Я не позволю вам профанировать! – яростно фыркнул он, поводя из стороны в сторону нежными розовыми ноздрями. – Вы не имеете права, я все равно скажу! – И, подняв пятерню, загундосил, как будто из бочки: – На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной… Кто ты будешь такой?

Вопрошая – как демон, уставил зрачки на Игнациуса.

Игнациус зашевелился.

– Не отвечай, не отвечай, – громко и высокомерно посоветовал ему Анпилогов, кладя ногу на ногу. – Не надо

дискутировать, он на это и рассчитывает.

– Не буду, – согласился Игнациус, поднимаясь.

Желтый амфитеатр крутанулся вокруг него.

– Ты куда?

– Ухожу.

Его схватили с обеих сторон:

– Саша!..

– Не валяй дурака!..

– Они специально затеяли!..

– Бубаев хотел пропихнуть сына!..

– Поэтому!..

– У них ничего не выйдет!..

– Есть решение ученого совета!..

У Игнациуса неудержимо плыла голова. Свет из облепленных снегом окон шел – тусклый. Серые прозрачные перья роились в воздухе. Аудитория жужжала, как гигантский улей. Созоев, продолжая бормотать, снял очки и втянул голову под черепаший панцирь. Оцепенел – на годы. Мамакан величественно спал, булькая и вздувая мыльные пузыри на губах. Рогощук, неведомым образом очутившийся внизу, будто ветряк, мельтешил руками, выкрикивая: – Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять! Вдруг охотник выбегает! Прямо в зайчика стреляет! Пиф! Паф! Ой-ей-ей! Умирает зайчик мой!.. – А вот это ты видел? – спокойно отвечал ему Бубаев, поднося к самому носу здоровенную красную фигу. В свою очередь задирал обе лопатообразных руки, беззастенчиво дирижируя: – Жили у бабуси два веселых гуся! – И весь крысятник, как по команде, подхватывал: – Ай люли, ай люли! Два веселых гуся!.. – топали ногами в пол, барабанили по скамьям ладонями. Зинаида, отчаянно скрежеща, вращала ручку списанного арифмометра. Фонтаном пенились цифры. Бубаев-младший вместе с Хипетиным забрались на парту и оглушительно свистели в два пальца, приседая, по-видимому, от натуги. Как упившиеся соловьи-разбойники. Крамм, из гадючника, не выдержав их наглого торжества, разорвал зубами реферативный журнал, очень быстро скатал увесистый ком бумаги и запустил им в Хипетина – точно по лбу: – Схлопотал, крыса белая?!. – В ответ Хипетин плюнул, и у Зинаиды потекла тушь на ресницах. Девицы из ее лаборатории пронзительно завизжали и Хипетин в мгновение ока оказался погребенным под острыми топочущими каблуками – взлетели манжеты, пуговицы, белые клочья халата. Злобный Ковырнос, тоже принадлежавший к гадючнику, ухватил Молочкова за галстук и, дергая, начал колотить его носом о парту, зверски приговаривая: – Сдохнешь – не прощу! Сдохнешь – не прощу!.. –

Умира-а-аю!.. – блеял гибнущий Молочков. – Заступи-и-итесь, члены ме-е-естного комите-та!.. – Коричневая доска, как стена судьбы, нависала над кафедрой. Странные нечеловеческие знаки были начертаны на ней. Элеонора, обжигаясь, стирала их кончиком лисьего хвоста, но они загорались вновь – зелеными неоновыми трубками. – Наша взяла!.. – завопил Рогощук и, подпрыгнув к квадратному подбородку Бубаева, вцепился ему в бакенбарды. Тогда Бубаев без долгих размышлений дюбнул его кулаком по уху и Рогощук, не выпуская бороды, описал круг в воздухе, задев подметками Мамакана.

– Я – здесь! – глубоко из нутра отозвался дремлющий Мамакан. С чмоканьем разлепил веки: – Тэкс! – Не торопясь принял у Элеоноры тяжелый том в дерматиновом вытертом переплете, немного подумал: – Тэкс! – и шандарахнул им Бубаева прямо по черепу.

– Выходили гуси, кланялись бабусе… – перекосившись, видимо на остатках разума, просипел выключенный Бубаев. Покачался и шмякнулся как бревно. Ботинки у него слетели, а сквозь драные носки засветились мозолистые тупые пятки.

– Не надо, не надо! – жалобно простонал Рогощук, извиваясь, защищая себя локтями. Но пятьсот страниц «Правил и комментариев» уже всей массой обрушились на него, и змеиная голова провалилась в плечи, оставив между ними идеально ровную пустую площадку.

– Регламент, – солидно объяснил Мамакан, просыпаясь и держа увесистый том наготове. – А еще кто будет выскакивать – башку проломлю!

Порядок кое-как восстанавливался.

Из крысятника тихонечко спустились трое и, взяв Бубаева за ноги, потащили его наверх. Очумевший, истерзанный Хипетин собрал ботинки. И еще двое, теперь уже из гадючника, понесли обезглавленного Рогощука, который провисал между ними, будто гибкий резиновый шланг.

А внутри у него что-то булькало.

– Ну, это уж слишком, теперь моя очередь, – побурев до ногтей, стервенея, сказал Анпилогов. Громко скрипя суставами, сильно кренясь вперед, прошагал на кафедру, отодвинул вновь задремавшего Мамакана. Игнациус с испугом увидел, что он весь – деревянный, занозистый, с кольцевыми разводами сучков на щеках. А вместо волос – темная картофельная ботва.

– Общая проблема, рассматриваемая здесь, – ощутимо злясь и оттого отчеканивая каждую букву, произнес Анпилогов, – сводится к ряду экстремальных задач на условный минимакс.

Согласно Позднышеву и Браве, наилучшей конформной проекцией сознания для данной области знания является та, крайняя изокола которой совпадает с контуром очерченного сознания. – Помолчал и строго посмотрел в аудиторию. Там ошарашенно притихли. – Верно? – спросил он. – Верно, – вразнобой ответили из рядов. – Но тогда, как следствие, сознание наименее отклоняется от нуля при максимальной кривизне воображения, – сухо заключил Анпилогов. Опять помолчал и отрывисто, резко кивнул: – Благодарю за внимание.

После чего возвратился на место и нервно сказал Игнациусу:

– Извини, Александр, я обязан был выступить. Я даже не тебя защищаю. Просто некоторые вещи нужно говорить прямо и грубо – как они есть, иначе о них будут забывать.

– Я понимаю, – с тоской ответил Игнациус, глядя в деревянные потрескавшиеся глаза.

Жека с другой стороны, обнимая его, как в пивной, не смущаясь, заталкивал в ухо пузырящийся дружеский шепот:

– Эмма мне все рассказала, ты – просто чокнутый, я не знаю сейчас, кто из вас прав, Валентина, конечно, тоже не подарок, но ведь глупо бросать налаженную семью, потому что потом придется буровить все сначала: квартира, дети, – если возникает что-то на стороне, то совсем необязательно информировать об этом жену, наоборот, – жизнь становится гораздо приятнее, Эмма не спрашивает меня, куда я иду, а я не спрашиваю ее, мой тебе совет: наплюй, Валентина – хорошая баба, осточертело в КБ, бегает по выставкам, свихнулась на испанцах – ладно, пусть водит группы, бывают сдвиги похуже, конечно – дура, но зачем ломать навсегда – немного внимания, подарок к празднику, и она тебя обожает, главное – никаких забот; ты улавливаешь мою мысль, Александр?

Игнациус улавливал. Советы хороши для того, кто их дает. Ошарашенный внезапной паузой, он выпрямился. Почему-то все смотрели на него. Тишина в аудитории стояла жуткая, как в подземелье.

– Прошу вас, Александр Иванович, – нетерпеливо повторил Созоев.

Видимо, уже не в первый раз.

В полном одиночестве, протыкая молчание шагами, Игнациус поднялся по трем ступенькам. Намокающий воздух загустел от злобы и неприязни. Тем не менее он почти не волновался. Волноваться ему было незачем.

Все это не имело никакого значения.

– Мой доклад посвящен некоторым вопросам прямого взаимодействия гарбонов с точечными марками при делении

цикариоля, – сказал он.

– Ого! – выдохнули под потолком.

Аудитория остолбенела.

Очень обыденно вошел Грун и сел на свободное место. Он был в своем неизменном черном свитере, растянутый ворот которого открывал ключицы, и в выцветших джинсах. Он нисколько не изменился. – Здравствуй, Федор, – сказал Игнациус. – У меня сегодня предзащита. Говорили, что ты умер, а ты нисколько не изменился. – Здравствуй, Саша, – ответил ему Грун. – Не переживай насчет моих данных, мне теперь уже все равно, я давно об этих данных забыл. – Почему ты ушел из института, мы очень волновались? – спросил Игнациус. – Со мной произошла странная история, – ответил Грун, – я потерял себя, вся жизнь переломилась, вероятно, я должен был отсюда уйти. – Со мной тоже произошла странная история, – сказал Игнациус, – сегодня я вдруг опоздал на заседание кафедры: я пришел вовремя и вдруг выяснилось, что я – опоздал. – Ты живешь в двух временных измерениях, – сказал Грун, – они сталкиваются и порождают хаос, от которого меркнут звезды. – Два времени? – спросил Игнациус. – Два времени, – подтвердил Грун. – И еще вокруг меня какое-то черное безумие, – сказал Игнациус, – все говорят и поступают так, словно они сошли с ума. – Это Ойкумена, – не сразу ответил Грун. – Ойкумена? – Я тебе не мешаю, Саша, ты ведь должен читать доклад? – Нет, – объяснил Игнациус, – я выучил доклад наизусть, я повторил его пятьдесят раз и могу говорить механически. – Это Ойкумена, – опять сказал Грун, – по невидимым порам она бесшумно просачивается в мир и обволакивает тебя, засасывая в глухую полнощную топь, ты уже частично принадлежишь ей. – Что же делать? – запинаясь спросил Игнациус. – Отдать кольцо и забыть. Как тебе советовали, – сказал Грун, – это – единственный выход. – Я не хочу, – сказал Игнациус, – я люблю ее, я искал ее всю жизнь, я ее нашел, никакая Ойкумена не заставит меня отказаться от нее. – Победить или умереть? – спросил Грун. – Победить или умереть, – подтвердил Игнациус. – Ну, мне пора, – сказал Грун, – сейчас начнется небольшой ералаш, старик уже машет руками.

– Подожди, я с тобой, – попросил Игнациус.

Но Груна не было. Была знакомая кошмарная аудитория, залитая худосочным электричеством, в искристо-желтом туманном нутре которого, будто водоросли, колыхались нерезкие фигуры.

И Созоев действительно махал руками:

– Хватит-хватит, вы переутомились, Саша!.. Хватит-хватит,

вам надо отдохнуть!..

Жека и Анпилогов, оба с вытянувшимися лицами, почему-то заботливо поддерживали его под локти, а перепуганная Элеонора совала стакан мутной воды:

– Пожалуйста, Александр Иванович…

Игнациус не понимал – при чем тут стакан, но, робея, послушался. И когда он пил теплую, затхлую позавчерашнюю воду, то десятки глаз с жалостью и плохо скрываемым удовлетворением любопытно ощупывали его.

– Я вас отпускаю, вы можете не ходить на работу, пока не поправитесь, – громогласно объявил Мамакан. – Правильно, Андрей Борисович? – Созоев сдержанно покивал. – А от себя рекомендую: каждый день перед сном растираться подогретой кошачьей мочой. Я таким образом вылечил застарелую грыжу. У вас кошка есть?

Игнациус повернулся и как лунатик – не видя – пошел на расступающиеся перед ним одинаковые серые колеблющиеся фигуры.

Было ясно, что все теперь – позади.

– Знаешь, что ты сделал? – догоняя его в коридоре, спросил бледный от гнева Анпилогов. – Ты вместо доклада исполнил песню «По диким степям Забайкалья»…

Игнациус вырвал руку.

– Пусти меня!

– Нашел время забавляться…

– Пусти!

Их толкали спешащие куда-то студенты.

– Неостроумно, – сказал подоспевший Жека. – Ну обиделся на этих крыс, ну идиоты они. Но зачем же самому себе при этом вредить? – Он осекся. – Или, может быть, ты все-таки болен?

– Да пошли вы – туда-сюда… – несправедливо сказал Игнациус.

Он боялся, что брызнут из глаз позорные слезы.

– Ты прежде всего нас подвел, – процедил Анпилогов ему в спину.

– А у тебя – ботва на голове, – обернувшись, сказал Игнациус ломающимся голосом.

Как-то по-дурацки.

Жека ненатурально захохотал.

– А зато у тебя нет слуха!..

Игнациус сбежал в вестибюль, натянул пальто и одним ударом нахлобучил потертую кроличью шапку. Чего они хотят от него? Он никому ничем не обязан. Пусть они катятся ко всем чертям!

Институтская дверь простуженно скрипнула.

Под заснеженными, обомлелыми деревьями в черно-белом контрасте двора переминался с ноги на ногу человек, выдыхая пар из расстегнутой собачьей дохи.

– Слава бессмертному Кругу! – воскликнул он. – Я уже боялся, что пропустил вас в потоке. Честно говоря, я жду вас здесь более двух часов. Как всегда, вы не торопитесь, сударь. Идемте!..

Это был Экогаль, запорошенный инеем по кошачьим оттопыренным жестким усам.

– Как раз вы мне и нужны, – сказал ему Игнациус, бешено глядя в осколки желтого янтаря с вертикальными воспрянувшими зрачками.

– Осторожнее, – предупредил Экогаль. – По-моему, за нами следят.

Он мотнул головой.

Меж сосульками мерзлых кустов, дробящих фонарный свет, шевельнулись какие-то неясные тени.

Игнациусу было все равно. Экогаль потащил его прочь из сквера. Набережная была завалена перелопаченными сугробами, а канал – до парапета – глыбами жуткого льда. Не попадалось ни одного встречного. Дома, уходящие за поворот, выглядели нежилыми. Крылатые грифоны стискивали в зубах цепи, на которых висел ажурный мост.

– У меня к вам записка, я рассчитываю на ваше благородство, сударь, – сказал Экогаль. – Не оглядывайтесь, пустяки, их всего-навсего человека четыре. Кстати, я слышал, что вы хорошо владеете шпагой?

– Давайте записку, – сказал Игнациус.

– Но не здесь же.

– Давайте!

Он вдруг остановился. На спуске с моста, за опасными мелкими ступеньками у шершавого парапета, как ночные ханыги, сгрудились еще четверо: нахохлившиеся, руки в карманах. И один из них – Градусник. Игнациус сразу узнал его. А второй – это, по-видимому, Стас, в растрепанном лисьем малахае.

И Экогаль остановился тоже.

– Все. Живыми они нас не отпустят, – хладнокровно сказал он.

Глава 6

Снег перестал. Очистилось небо в крупных звездах. Умытая яркая луна тихо выплыла над стрелой подъемного крана и через разваленную крышу заглянула внутрь – остовы стен, как челюсти, смыкались вокруг нее. Проступили бритвенные лохмотья труб, концы балок, висящих в воздухе, двери, обои, раковины и ощеренные доски в скелетах бывших квартир. Света было много, даже слишком много. Перчатка, в которую уткнулся Игнациус, казалась серебряной.

– Стоит? – шепотом спросил Экогаль сзади.

Ему было не видно.

– Стоит, – так же шепотом ответил Игнациус, осторожно вытягивая шею.

На заснеженном светлом прямоугольнике парадной отпечаталась растопыренная тень.

Человек ждал и не собирался уходить.

Путь был закрыт.

– Знать бы, где остальные, – сказал Экогаль. – Мы тут, пожалуй, замерзнем.

– А сколько их?

– Десятка полтора.

– Всего?

– Не так-то просто выйти из Ойкумены. – Экогаль вдруг стремительно зажал нос рукой и чихнул – внутрь себя. – Фу-у-у… Некстати. С этим мы, конечно, справимся, если он один…

– Зашумит, – сказал Игнациус, противно сглатывая.

– Не зашумит.

Тонкий и длинный стилет высунул жало из рукава.

– Не надо…

– А говорят, сударь, что вы закололи троих из дворцовой охраны? – недоверчиво хмыкнул Экогаль.

– Там были жуки.

– А здесь кто?

– Все равно нам не спуститься, лестница разбита, – сказал Игнациус.

Они лежали на площадке третьего этажа. Пахло горелым, старым и нежилым. Сквозь пальто уже чувствовался проникающий каменный холод. Свешивались заизвесткованные жилы кабеля. Внутренняя часть дома была сломана для ремонта, и лестница, ненадежно прилепившаяся к стене, пролетом ниже обрывалась в колодезную пустоту – на груды битого кирпича и перекореженную арматуру. Сумрачно сияли осколки стекла

в рыхловатом грязном снегу. Я не хочу здесь лежать, подумал Игнациус. Я ужасно боюсь. Я весь пропитался страхом. Ойкумена понемногу обгладывает меня, оставляя незащищенное живое сердце. Я боюсь этих таинственных чудес и превращений. Я боюсь неповоротливых и беспощадных жуков. Я боюсь сладко-вкрадчивых людей-гусениц. Я боюсь подземного мрака, который медленно разъедает мою жизнь. Я боюсь даже Ани. Даже ее я боюсь. Мы с ней виделись всего четыре раза: понедельник – голый сквозняк ветвей, утро пятницы – последние скрученные листья, воскресенье – на площади, Исаакий в сугробах, и опять воскресенье – черное шуршание на Неве. Она не хотела говорить, где живет. Я поцеловал ее в Барочном переулке. Вот чем это кончилось – замызганная чужая лестница, развалины, чадящие дымом и смертью, смятый окурок перед глазами и банда оборотней, рыщущая по стройплощадке в поисках крови.

– Значит, каждый раз, когда я попадаю в Ойкумену, я что-то теряю в своем мире? – спросил он. – Значит, с каждым шагом моим обрывается какая-то ниточка?

Экогаль дернул плечом.

– Нашли время!

И в разгромленном кирпичном колодце, прямо над их головами, отчетливо раздалось:

– Эй!.. Вроде никого…

– А ты посвети, посвети, – гулко посоветовали из парадной.

Кто-то зажег газету и бросил ее. Пламя, разворачиваясь на лету, пачкая воздух клочьями огня, вспыхнуло и озарило угрюмые покинутые пещеры, беззубые зевы которых подавились морозом. Тени на гигантских ходулях шарахнулись до самого неба.

– Ни души, – сказали в колодце.

– Все обыскать, поджечь подвалы!..

Розово-темные неверные блики освещали Стаса в проломе четвертого этажа. Он свешивал малахай – разглядывая хаос внизу.

А из-за спины его высовывалась охрана.

– Сейчас бы арбалет, – простонал Экогаль. – Я снял бы его первой же стрелой.

Газета вспыхнула и догорела. Он потянул Игнациуса за рукав. Игнациус понял и пополз обратно. Ползти было крайне неудобно. Задирающееся пальто сбивалось в комок. Он уперся ногами во что-то мягкое.

– Осторожно, вы расплющите мне нос!

Они вернулись в комнату, где каким-то чудом сохранились почти все стены, и Экогаль, придерживая разноголосье пружин, осторожно опустился на полосатую, ободранную, без ножек,

тахту, из которой немедленно вытекла трухлявая струйка. Совершенно бесшумно вонзил свой стилет в переборку над головой.

– Очевидно, мы все-таки влипли, сударь. Как в мышеловке. – Гладкий бритый череп его блестел. Узловатые пальцы выдергивали из тахты нитку за ниткой. – Впрочем, будем надеяться, сударь, что еще не все потеряно. Еще есть выход. Нам бы добраться до Галереи, там – мои люди. Они не могли поставить оцепление по всему району. У них не так много лазутчиков, способных принимать человеческий облик. В крайнем случае, переждем ночь здесь, место – вполне укромное…

– Покажите записку, – сказал Игнациус.

– Что? Ах, записку… – Экогаль порылся в обмерзшем меху и протянул на грубой ладони плоскую малахитовую гемму с женским профилем. Иронически смотрел, как Игнациус вертит ее так и сяк – безуспешно.

– Кольцо у вас с собою?

– Да.

– Давайте!

Игнациус отвел нетерпеливую руку.

– Правильно, – сказал Экогаль и засмеялся, приглушенно заперхал, натянув кожу вокруг широких зубов. – Правильно, сударь, никогда и никому не давайте это кольцо – ни на одну секунду, ни за какие клятвы. Имейте в виду, что отнять силой его нельзя, оно потеряет свои волшебные свойства… А чего вы, собственно, ждете?

Скорпион обхватил профиль на гемме, и слабый янтарный свет просиял в нем изнутри.

– Нет никакой надежды, – сказала Аня невыносимо хрупким, пустым, бесчувственным, как стекло, голосом. – Наступает полнолуние. Время нашей судьбы на исходе. Непрерывно заседает Тайный Верховный Совет. Поднята гвардия, отряды ночной стражи перекрыли дороги. Сохнет трава, и птицы падают замертво. Фукель будет властвовать над Ойкуменой… Нет никакой надежды. Из тюрьмы меня перевели в Башню – это камера Дев. Отсюда видно только небо. И слышен четкий, безостановочный стук металлических шестеренок. Идут часы Круга. Персифаль не знает, что я здесь. Когда на празднике Звездных Дождей под плач двенадцати флейт и рокочущие завывания литавров мне придется давать вечный Обет Супруги, я высыплю в свой бокал зернышко маллифоры, спрятанное в ладанке на груди: разорвутся все цепи, тень моя отправится в бесконечное странствие по россыпям Млечного Пути… Нет никакой надежды. Мятеж птицеглазых подавлен. Герцогу

удалось бежать, но войска его разбиты. Заколочены ставни домов. Идут обыски и казни. Черная пыль поднялась над Ойкуменой. Стонут колокола и рдеют в вечерней мерклости сонные иглы чертополоха… Нет никакой надежды. Полночь уже близка. Один из тюремщиков согласился передать эту записку. Я не знаю, попадет она по адресу или нет, но вспомни обо мне, когда наступит праздник и Зеленые Звезды, шелестя, прольются над городом. Я говорю тебе «прощай», – потому что у нас не осталось ничего, кроме этого короткого печального слова…

Раздался щелчок, и скорпион замер, бессильно обвиснув лапками.

– Выходит, что Персифаль не знает, – загадочно произнес Экогаль. Он внимательно слушал. Зрачки его, белыми точками отражая луну, сужались и расширялись как у пантеры. А на скулах проступили деревянные желваки. – Это меняет дело. По слухам, он при смерти, тоже отравлен… Может быть, и лучше, если мадонна обвенчается с Фукелем, это сохранит ей жизнь. Подумаешь, старый муж… Зато – новый Звездочет и молодой любовник. Мы в бараний рог согнем весь Тайный Совет… – И он вдруг охрип, уколотый в задранную гортань игольчатым жалом. – Пус-ти-те-вы-с-ума-со-шли! – Сел, растирая большой угловатый кадык. – Ну и рука у вас, сударь, железная… Успокойтесь, я не стану вас предавать, на мне слишком много грехов, Фукель меня не помилует.

Игнациус бросил стилет.

– Значит, я могу проникнуть в Ойкумену в любое время и в любом месте? – спросил он.

– Конечно, – Экогаль, как копье, выкинул вперед багровую замшевую перчатку. – Вот она, Башня Дев…

Над омертвелым цинком крыш, над переплетением проводов, над рогами щетинистых мрачных антенн, облитая звездным трепетом, плыла шестиугольная суставчатая каланча, огороженная снежным барьером по острой верхушке. Ватное, хвостатое облако уцепилось за голый флагшток ее, ни одной искры не было в узких, погашенных, надменных окнах.

Игнациус попятился и сел на тахту. Бахнула пружина из лопнувшей обшивки.

– Т… д… б… д… – судорожно сдавливая ему плечо, просипел Экогаль.

И точно в ответ на это, сказали очень ясно, в пугающей близости:

– Они здесь, клянусь вечным Кругом! Я просто чувствую, что они здесь. Шевелитесь, пожиратели дерьма, вы будете искать их всю жизнь, пока не сдохнете!

Этажом ниже трещала кирпичная чешуя под крадущимися шагами.

Игнациус окостенел. Если они нас поймают, то обязательно убьют, подумал он, щурясь от напряжения. Просто так они нас, разумеется, не оставят. Или отнимут кольцо Мариколя. Что, впрочем, одно и то же. Потому что тогда мы расстанемся уже навсегда. Но ведь должен же быть здесь хоть какой-нибудь выход. Башня находится на Невском или где-то поблизости, за Гостиным Двором. Надо, по-видимому, идти в Ойкумену. Если победа возможна, то – только там. Это хорошо, что я научился бояться. Раньше я совсем ничего не боялся и у меня была не кровь, а тягучая белая лимфа, как у лягушек. Он шевельнулся, забывшись, и пружины тихо звякнули, а пальцы герцога будто гвозди вонзились в плечо. Экогаль оскалился. Со своей бритой головой и ярким густым румянцем он был похож на целлулоидную куклу. На очень большую и очень опасную куклу. Игнациус оторвал жесткую пятерню. Лунный холод царил в комнате. Изморозь осыпала пол и стены. Вплотную у проема зажигались белые звезды. Нас сейчас обнаружат, снова подумал он, прислушиваясь к хрустящим шагам. Надо идти в Ойкумену и пробиваться к Башне. Там стоят гвардейцы, я не представляю, как справиться с гвардейцами. А в коридорах – жирные тюремные крысы. И сквозь них тоже надо пройти. И еще, говорят, заколдованная каменная дверь: требуется печать Гнома, чтобы отпереть ее. И надо добраться до Главных Часов, и разомкнуть цепь в механизме, и освободить масляную пружину, и перевести стрелки часов на двенадцать. Тогда реальная земная полночь совместится с полночью Ойкумены. Добрый путаник Мариколь, остановивший время, чтобы укрыть свою страну от враждебного мира – он не знал, что в межвременье вольготно живут лишь одни насекомые. Или люди, готовые стать насекомыми. Такие всегда найдутся.

Что-то тяжелое обрушилось в конце коридора, и сейчас же снизу спросили:

– Ну что там?

– Куча дурацкого барахла, – буркнули из соседней комнаты. – Нужен кому-нибудь чайник без ручки? А сломанный торшер?

Пересекая несуществующую дверь, вспыхнул фонарик.

Игнациус не успел даже моргнуть: массивная стремительная фигура Экогаля, обведенная в темноте резким фосфором, прижалась сбоку от косяка и тонкий смертельный блеск высунулся из перчатки. Запахло гарью – наверное, подожгли подвалы. Горький сырой дым потек наверх. Игнациус просто ждал. Делать ничего было не надо. Голубой луч фонарика ощупал

заиндевелые балки, дранку, крылья обоев, натолкнулся на белый косяк и внезапно прыгнул ему в лицо. Ослепленный, он даже не шелохнулся. Он знал, что незачем. Мгновенный хрип, больше похожий на кашель, прозвучал в комнате – легко отлетела чужая жизнь. Свет вывернулся наизнанку, и в глазах начали сталкиваться фиолетовые густые пятна. Заскрипело в углу, будто опустили туда мешок с картошкой. Экогаль сказал возле уха, одним дуновением:

– Все. Теперь нам нельзя здесь оставаться. Да не сидите как неживой, сударь!

Ноги, обутые в меховые унты, лежали поперек дверей. Игнациус, стараясь не смотреть, кое-как перешагнул через них.

– Значит, в полночь, когда восстановится связь времен, Ойкумена погибнет? – спросил он.

Вместо ответа Экогаль выругался во весь голос.

– Назад!

А из дыры в потолке радостно завизжали:

– Ко мне!.. Ко мне!.. Скорее, господин начальник стражи!.. Я первый их обнаружил!..

Они побежали по лестнице. Ступени содрогались, и зигзагообразная трещина вдоль стены увеличивалась прямо на глазах. В квартире уже громко топали. Сыпалась штукатурка. Пустая коробка дома вдруг загудела от воплей. Экогаль, съехав животом по краю площадки, повис на руках. – Прыгайте, сударь! – и ухнул в пропасть. Отломился кусочек бетонной плиты. Игнациус разжал пальцы – ударила твердая земля, кривовато швырнуло, боль в правом колене пронзила до крупных слез. Из подворотни, бросая тени на гладкий снег, бежали какие-то люди в распахнутых черных дубленках. Он захромал в сторону, нога у него совсем не сгибалась. Накатило пронзительное отчаяние. Экогаль, прижатый к стене, яростно отмахивался стилетом. Несколько человек суматошно дергались вокруг него – угрожая, но не решаясь приблизиться.

Появившийся Стас нехотя разгибался после прыжка.

– Ну привет, – обыденным голосом сказал он. И поправил сбившийся рыжий малахай с большими ушами. – Верни кольцо и можешь идти домой, я тебя отпускаю…

Он нисколько не волновался. Дело было совсем пустяковое. За спиной его, разминая кисти, ухмылялись довольные Кенк и Пенк. Почему-то они слегка закатывали глаза. Игнациус машинально прижал карман. Не хватало воздуха. Слезы текли по морозным щекам, и болезненная слабая пустота распирала сердце. Надо было отдать кольцо, все равно изобьют и отнимут. Стас был сильнее его, наверное, раз в десять. Он и сам

не понимал, почему мотнул головой:

– Нет…

– Я же из тебя котлету сделаю, – пообещал Стас и лениво ударил.

Игнациус, будто во сне, увидел, как медленно выпрямляется его страшная, жесткая, натренированная рука и приближается мозолистым ребром своим, чтобы, разрубив горло, наполнить все жилы парализующей болью. Он посторонился, и ладонь пролетела мимо, врезавшись в стенку.

– А-а-а!.. У-у-у!.. – завыл Стас, крутясь на месте. – Ну, теперь я тебя изувечу!..

Двигался он удивительно медленно – по сантиметру, как на рапиде. Можно было закурить, пока он кидался. Игнациус отступил опять, и воющее, изломанное в прыжке тело бревном шмякнулось о кирпич.

– Отлично! – крикнул Экогаль.

Свора, треплющая его, отпрянула, а один заскулил как дворняга и сел на корточки, баюча распластанный мокрый рукав.

– Пробивайтесь на Галерею, сударь!..

Скучно дымились подвалы. Малиновые сполохи перекатывались по истоптанному снегу. Сияла сумасшедшая, шальная луна. Я еще жив, удивляясь, подумал Игнациус. Удивляться было особенно некогда. Кенк и Пенк, враз отбросив ухмылки, деловито ринулись на него. Они были натренированы, вероятно, не хуже чем Стас, но двигались почему-то еще медленнее него. Игнациус мог рассмотреть в отдельности каждый крохотный жест: вот сгибается локоть, морщиня рукав, вот, закручиваясь, сводятся воедино пальцы, вот откинутая рука заносится для удара, а бойцовая тяжесть тела перемещается на ступню. Он толкнул Кенка в плечо, и Кенк рухнул как подкошенный – заелозил по снегу разомкнутыми клешнями. А Игнациус, уже смелее, уклонился от Пенка, который с остервенелым лицом погружал кулаки – в место, где он только что находился, и, не думая ни секунды, по-женски толкнул и его, и Пенк тоже рухнул – рассыпавшись, как поленница. Отлетел, будто пробка, тяжелый рифленый кастет. Зазвенела какая-то мелочь из вывернутых карманов. Царапнул сзади когтями пришедший в себя Стас, но Игнациус лягнул наугад, и отброшенный Стас согнулся в три погибели: о-о-о!.. Двое из окружения Экогаля обернулись, в руках у них были ножи. Первый сразу же получил в челюсть – изумленно попятился, и пятился до тех пор, пока не споткнулся о торчащую железяку. А финка второго, сверкнув дугой, порхнула назад, и сам он

устремился по воздуху вслед за нею. Еще двое чернели на снегу в неестественных раздавленных позах, а Экогаль возил за шиворот третьего, дико ругаясь и осыпая его увесистыми тумаками.

– Пощадите, пощадите, милорд… – стонал избиваемый.

Из подворотни на помощь ему торопились, повизгивая, человек пятнадцать – все в хитиновых панцирях, вытаскивая на бегу шпаги.

– Мы что, в Ойкумене? – задыхаясь и дрожа, спросил Игнациус.

– Давно уже…

Хорошим пинком Экогаль опрокинул лазутчика. – Живи, гусеница!.. – а затем, мгновенно оценив обстановку, вышиб заколоченные створки у себя за спиной. Они скатились куда-то под лестницу. Игнациус с размаху шандарахнулся лбом о поперечный брус – только искры посыпались.

Герцог ломал замок на жестяной крышке подвала.

– Скроемся под землей, в древних лабиринтах, – сказал он. – Нам бы добраться до Галереи, есть еще верные люди. Еще заполыхает – с четырех сторон. – Стальная дужка не поддавалась. – Это перстень Мариколя оберегает вас, сударь, а я думал – легенды…

– Потому и хотели его отобрать?

Экогаль лишь подвернул напряженные злые губы, вытаскивая замок вместе с гвоздями.

Брякнули отодвигаемые засовы. Из подвала повалил густой серый дым. На улице уже орали: – Куда они делись?! Струсил! Повешу, сволочь!.. – вероятно, Стас приводил свое воинство в порядок. Раздумывать было некогда. Игнациус набрал воздуха и нырнул прямо в черную, зловещую квадратную яму. Гудела голова, и колено разламывалось при каждом шаге. Плотный дым выедал глаза. Ничего не было видно в душной и жаркой темноте. – Сюда, сюда, – приглушенно звал герцог. Непонятно откуда. Игнациус брел, как слепой ощупывая горячие, влажные трубы. Поворачивал в какие-то узкие закутки, спотыкался о ящики, разбросанные вдоль прохода. Всякое направление он уже потерял. – Где вы, милорд? – Ответа не было. Тонко пищала вода, и перекликались комариные голоса – глубоко в перепутанных клетях. Немного посветлело. Выступили из мрака углы. Он вскарабкался по невысоким ступеням и с наслаждением вдохнул полной грудью. Сердце у него бешено колотилось. Кажется, выбрался. Но где милорд Экогаль? Милорда Экогаля не было. Вероятно, не было и Стаса с его панцирными насекомыми. Плоский солнечный луч, переливая в себе остатки

дыма, рассекал парадную. Упирался в почтовые ящики, в которых белели газеты. Задерживаться здесь, конечно, было нельзя. Игнациус толкнул дверь и вдруг пошатнулся, неожиданно оглушенный снежным, холодным, блистающим великолепием.

Глава 7

– Сколько времени?

– Без пяти.

– Без пяти – чего?

– Три.

– А день?

– Не понял…

– Какой сегодня день?

– Воскресенье…

– А число?

– Двенадцатое… двенадцатое января. Извините, пожалуйста, я тороплюсь…

Прохожий побежал дальше и не выдержал – оглянулся. Вероятно, его поразил вид Игнациуса. Игнациус поспешно свернул и пошел по Перинной, где меньше народа. Он был ошарашен. Двенадцатое января! Получается, что он пробыл в Ойкумене шесть дней. Почти неделю. Ничего себе образовалась прогулочка! День был яркий. Башня Звездочета на углу Невского и Перинной тупым шестигранником упиралась в небесную синь. Легкий живой туман дрожал в перспективе улиц. Капали сосульки. В первой же подворотне он отряхнул пальто: сажа и ржавые полосы, – захватив носовым платком снега, тщательно вытер лицо.

Сойдет до дома.

Шапку он опять потерял.

К счастью, тут было недалеко: Тербский переулок, Садовая, Апраксин двор. Что он скажет теперь Валентине? Отсутствовал целых шесть дней. Ладно, что-нибудь скажет. Спать… спать… спать…

Он засунул руку в карман. Ключей не было. Тоже, видимо, потерял.

Но сегодня же – воскресенье.

Посмотрим.

Он нажал кнопку звонка, и через секунду выглянул молодой, бородатый, красивый мужчина в тренировочном теплом костюме на молниях.

– Вам, товарищ, кого?

Удар!

Этого человека Игнациус никогда не видел. Он отступил на шаг и проверил номер. Номер был тот. Да и дверь он знал наизусть – свежий полукруглый затес на краске, это когда меняли замок.

– Ошиблись адресом? – спросил бородатый.

– Нет, – сказал Игнациус. – Дом девятнадцать, квартира двадцать один…

– Правильно…

– Улица Низовская…

– Правильно.

– Я здесь живу, – сказал Игнациус.

Кровь внезапно бросилась ему в лицо. Ситуация была анекдотическая: возвращается муж из командировки…

Все смеются.

Кроме мужа.

– Это я здесь живу, – возразил бородатый. – Уже целых три дня. Вам кого-нибудь из прежних жильцов? – Вдруг наморщил желтоватый угристый лоб, вспоминая. – Ах, да… Александр Иванович?

– Он самый.

– Валя предупреждала, что вы можете сюда зайти. Мы ведь с ней поменялись три дня назад. Так сказать, разъехались и съехались – по нынешним ценам. Валя говорила, что вы не будете возражать. Разменяться сейчас – громадная непростая проблема… Так не будете возражать?

Удар!

– Не буду, – сказал Игнациус.

– Она вам и ключи оставила, – обрадовался бородатый. – Айн маленький момент!

Он скрылся в квартире, и Игнациус слышал, как он сказал кому-то внутри. – Нет-нет, мамхен, это не милиция, не волнуйся, пожалуйста, у нас все в порядке. – Возник со связкой ключей. – Вот, держите.

– Адрес?

– Свечной пять, семьдесят девять – это недалеко. Центр, как полагается, все удобства: отличная комната, большое окно, малонаселенная квартира, еще одна старушка – тихая, по нынешним ценам…

– До свидания, – сказал Игнациус.

– Ага, – сказал бородатый. – Не забудьте, пожалуйста, четвертый этаж…

Снег, наверное, валил все эти шесть дней, потому что безукоризненными слоями лежал на проводах, на карнизах, на придавленных голых ветвях. Солнце ярко краснело над белыми трубами. Игнациус взлетел на четвертый этаж. И чуть не сбил помойное ведро перед дверью.

– Так, – сказал он.

Было очень неловко отпирать чужую квартиру, и в прихожей

он громко кашлянул. Коридор, где двоим было не разойтись, освещался тлеющей лампочкой – наверное, ватт десять, не больше.

Посередине него тихо образовалась щель.

– И кто там?

– Новый сосед.

Звякнула одна цепочка, потом вторая, затем третья, и, наконец, сухая, маленькая, как воробей, старуха показалась из комнаты, держа наготове альпинистский топорик.

– Росту среднего, пальто коричневое, грязное, лицо – брюквой, уши оттопыренные, – сказала она. – Вроде все совпадает… Меня Анастасией Никодимовной кличут. Значить, распорядок у нас такой: места общего пользования, убираемся через день, и нужник – обязательно тоже, счетчики у нас разные, табак свой дыми на улице, мой выключатель который пониже, кобелей вонючих не заводить, сейчас, значит, моя лампочка надрывается, андресоль свалилась, стульчак текет и шатается, кранты книзу не перегибай, в ванне дыра, штикатурка – сыпется, ходи на цыпках, крановщика не дозовешься, газ два раза взрывался, на кухне протечка, исподники на колидоре не вешать, встаю я в пять, ложуся соответственно, должна быть тишина по конституции, если там девки пьяные или компании, то здеся не общежитие, безусловно жалоба участковому – в жэк и по месту работы, я двоих уже выселила за аморалию, тараканов – мало, клопы все сдохли, ведро с дерьмом выносить каждый день, стол твой на кухне, который в углу, а полочка – моя, моя полочка, будешь у меня котлеты воровать – подам в суд, вплоть до высшей меры…

– Подружимся, – сказал Игнациус.

Открыл свою комнату. Она была как пенал – полутемная, а окно – со спичечную коробку. Из мебели стояли шкаф, тахта и пара продавленных стульев.

– Приходили к тебе шаромыжники, – сказала старуха из-под руки. – Я чужим, между протчим, не открываю. Так швыряли писульки, а у меня поясница – чтоб нагибаться…

Была записка от Жеки: «Заходил десять раз, куда ты делся, идиот проклятый?» И была записка от Анпилогова: «Александр, немедленно позвони, дело очень серьезное». И была записка от Валентины: «Все твои вещи перевезла, думаю, что так будет лучше для нас обоих».

Удар!

– Телефон здесь найдется? – спросил он.

– Ни к чему мне телефон. И который был, я его сняла и сдала по закону.

Игнациус подмигнул со скрипом.

– А что, Анастасия Никодимовна, раз уж мы подружились, дайте мне три рубля в долг. А лучше все пять, я верну завтра, я – честный.

Старуха посмотрела на него так, будто оправдывались ее худшие предположения.

– Небогатая я, живу на пенсию, капиталов для тебя не скопила…

– Залог оставлю.

Игнациус расстегнул часы.

– Тута не лонбард!

Она бухнула дверью.

Где-то звонко тикало. Наверное, жестяные ходики с тяжелыми гирями. Игнациус хотел уже плюнуть на все и уйти, но старуха появилась опять, зажав в суровом кулаке две измятые бумажки.

– Четыре рубля здеся. И вот рубель мелочью. Не отдашь – по судам затаскаю.

– Спасибо…

– А в девять часов запруся на крюк и лягу, стучи не стучи! – крикнула старуха вдогонку.

Первый автомат не работал, второй тоже не работал, а в третьем, оледенелом по уши, выстроились унылой чередой пятнадцать длинных гудков.

Трубку сняла мать Жеки.

– Их нету дома, они ушли к Македону, вернутся поздно, кто им звонил, что передать?

– Передайте горячий привет, – сказал Игнациус.

– От кого?

– От Менделеева.

– Сейчас запишу…

У Македона телефона не было. Игнациус мороженными пальцами набрал другой номер.

– Это я, – нервничая, сказал он.

– Добрый вечер…

– Ты меня не узнаешь?

– Хорошо, что вы позвонили, как ваше здоровье, я уже волновался за вас, – очень ровным искусственным голосом ответил Анпилогов.

– Ты что – не один? – спросил Игнациус.

– Да.

– И разговаривать неудобно?

– Да.

– Видишь ли, со мной произошла странная история, –

Игнациус вдруг осекся, потому что именно эти слова употреблял когда-то Грун.

– Я вас слушаю, – напомнил Геннадий.

– Как там на работе? Надеюсь, меня не уволили?

– М-м-м…

– Что?!

– Позавчера, – сказал Анпилогов.

– Ты серьезно?

– Конечно.

– Я сейчас приеду.

– Хорошо, я буду ждать вас завтра, прямо с утра, – очень вежливо, но непреклонно сказал Анпилогов.

Удар!

Напротив автомата была закусочная – три притиснутых столика в тусклом подвале. Игнациус взял курицу, подернутую зеленоватым жиром, хлеб и мутный кофе в кружке с отбитой ручкой.

– Стакан дать? – лениво спросила буфетчица.

– Пока не надо…

Он сел и отхлебнул коричневой жижи, которая огнем потекла в желудок. Сразу же навалилась усталость. Спать… спать… спать… Время стекало с него, как сухой порошок. Курица была совсем деревянная. Она, вероятно, сдохла в прошлом году, а перед этим долго болела и покрывалась язвами. Такая у нее была судьба. На не вытертом столике блестели разводы. Вечер в окне быстро синел и загустевал чернотой. Кажется, Игнациус куда-то проваливался. Он брел по безжизненной, кремнистой, раскаленной полуденным зноем земле, которая плоской равниной уходила за горизонт. Земля была – уголь пополам со стеклом и шлаком. Дымный нагретый воздух дрожал над нею. – Я устал, я больше не хочу идти, – хныкал Пончик, обвисающий на руке. Пожелтевшие глаза у него закатывались. – Надо идти, уже немного, – отвечал Игнациус. – Зачем надо? – спрашивал Пончик. – Затем, что будет река. – А когда будет? – Не знаю. – Ты ничего не знаешь… – ныл Пончик. Загребал сандалиями серый шлак. Почва справа от них с горячим металлическим скрежетом вмялась, будто наступил невидимый мамонт, осталась лунка метра полтора в диаметре. А затем с таким же скрежетом вмялась еще, но уже левее: попадания были неприцельные. Пончик сел на землю и скорчил плаксивую рожу. – Я дальше не пойду, – сказал он. – Тогда загнемся, – сказал ему Игнациус. – Почему? – Потому что здесь жить нельзя. – А почему нельзя? – Потому что нельзя. – Это тебе нельзя, а мне можно, – возразил Пончик. Выковырял из шлака толстое бутылочное

донышко, откусил сразу половину него и довольно захрустел стеклом на зубах. – Очень вкусно, хочешь попробовать? – предложил он. – Очень вкусно, – повторил Игнациус.

Буфетчица незлобиво толкала его в плечо:

– Давай-давай, закрываемся… Дома проспишься. Живешь-то далеко?

– Рядом, – сказал он, поддерживая чугунные веки.

На Лиговке, высвеченная снегом, шуршала людская беготня и летали над асфальтом красные тормозные огни. Было около восьми. Голова разламывалась на дольки. У продовольственного магазина остановилось такси и вышла веселая пара. Игнациус придержал дверцу.

– Свободны? Проспект маршала Блюхера… Угол с Ведерниковой…

Он позвонил, но ему не открыли. Тогда он сказал, отгибая обивку у косяка:

– Галина Георгиевна, я знаю, что вы дома, я видел свет на кухне, откройте, пожалуйста, иначе мне придется стучать ногами.

Дверь распахнулась.

– Если будете хулиганить, я вызову милицию, – заявила мама Пузырева.

Она была бледна и решительна.

– Где Сергей? – спросил Игнациус.

– Его нет.

– Где он, я спрашиваю…

– Сережик у Вали…

Ее выдала интонация.

– Сергей! – крикнул Игнациус. В глубине квартиры что-то бренчало.

– Суд определит те дни, когда вы будете встречаться с ребенком, – ненавидя, но пытаясь остаться спокойной, сказала мама Пузырева.

Игнациус подался вперед.

– Пропустите!

– Мальчик травмирован всей этой историей…

– Какой историей? – тоже наливаясь ненавистью, спросил Игнациус.

Мама Пузырева поджала губы.

– Вам лучше знать…

Прежде чем она успела сообразить хоть что-либо, Игнациус нырнул под ее руку и, миновав крохотную прихожую, ворвался в комнату, где, раскалываясь, гремел телевизор. Пончик тупо сидел перед экраном, расставив клопиные ножки, и жевал

не стекло, а пупырчатый шоколад – щеки были в коричневой вязкой слюне. По правую руку от него, на тумбочке, стояла полная ваза конфет, а по левую – корзинка с янтарными мандаринами.

– Здра-авствуйте, – неловко поднимаясь, протянул ошеломленный папа Пузырев.

Он был в пижаме.

– Сергей! – позвал Игнациус. А когда оцепеневший Пончик обернулся, велел ему: – Подойди-ка сюда!

Несколько секунд, тягостно вспоминая, Пончик как на чужого смотрел на него и вдруг залился отчаянным ревом: а-а-а!.. – весь затрясся, будто в припадке, затопал ногами, мандарины посыпались на пол.

Мама Пузырева мгновенно подхватила его и спрятала на груди, как наседка.

– Ростик, вызывай милицию!!!

Папа Пузырева виновато развел руками.

Тогда Игнациус повернулся и пошел обратно по своим расползшимся мокрым следам.

Удар!

Бесконечная улица упиралась прямо в чернеющий лес. Дурацкие бетонные фонари горели вдоль широкой пустоты ее. Проезжали машины. Скрипел рыхлый снег. Он добрел до метро и погрузился в огромные желтые недра. Там было тепло. Вагон слегка покачивало. Голова уходила в туман, и налипшие веки смыкались. Спать… спать… спать… К себе на четвертый этаж он забрался, словно таща неимоверный груз на плечах. Ключ почему-то не отпирал. Игнациус подергал дверь и понял, что накинут крючок.

Он длинно позвонил.

– И кто там? – минут через двадцать пять спросила старуха.

– Сосед…

– Какой сосед?

– Новый.

– Не открою!

– Почему? – через силу спросил Игнациус.

– А ночь на дворе. Откель я знаю – может, ты шаромыжник…

– Так посмотрите.

– И смотреть не буду.

– Анастасия Николаевна…

– Вона! – обрадовалась старуха. – Имени моего не знаешь. А тот, которому въехал, я сама сказала…

– Ну – перепутал, ну – Ни… кодимовна…

– Все равно не открою!

– Куда ж мне деваться?

– А куды хочешь!

– Ну я выломаю дверь.

– Ломай!

Он раздраженно дернул за ручку.

– Грабю-ют!.. Убива-ают!.. – пронзительно завопила старуха, и крик ее ополоснул крышу.

Игнациус отпрянул. Будто током подбросило.

– Люди-и-и!.. На помо-о-ощь!..

Не чувствуя ног, он скатился по лестнице. В доме уже хлопали растревоженные квартиры.

Удар!

Он тащился по темной, пустеющей Лиговке и боялся, что упадет – лицом на сиреневый снег. Покрепчавший мороз ощутимо пощипывал уши. Денег оставалось не больше рубля. И, по-видимому, не оставалось надежды. Метро снова разинуло перед ним свою гулкую желтую пасть. Побежал эскалатор. Игнациус явно пошатывался. Будто мячик, его перебрасывало по городу – из конца в конец. Ехать надо было на «Богатырскую», с двумя пересадками. Восемь станций, а там – автобусом до кольца.

Он опять позвонил – наверное, в сотый раз за сегодня.

Мать открыла без всяких вопросов. Она была тщательно завита и накрашена, словно собиралась в театр. Нитка кораллов пламенела на синем тяжелом платье. Сколько Игнациус помнил, она всегда была такой. Главное – не распускаться с возрастом. Тогда не состаришься.

– Простите? – подняв дугой подведенную бровь, сказала она.

– Мам, я у тебя заночую? – попросил Игнациус. Он не хотел вдаваться в подробности. – Понимаешь, дурацкий случай. Валентина уехала на три дня, а я потерял ключи. Черт его знает, где выронил, хоть на тротуаре ночуй. Ты меня не прогонишь?

– Уважаемый товарищ, – сказала мать отчетливо и громко, как она говорила с больными у себя в поликлинике. – Не находите ли вы, уважаемый товарищ, что сейчас слишком позднее время для шуток?

– Мама… – сказал Игнациус.

– Я не мама, я вам в жены гожусь.

– Но мама…

Игнациус растерялся.

– Уважаемый товарищ, – с той же веселой непринужденностью ответила мать. – Неужели вы думаете, что я не узнаю в лицо собственного сына? Я не настолько глупа.

Она коротко хохотнула.

Игнациус все понял.

– Извините, – сказал он.

– Я только прошу вас, уважаемый товарищ: второй раз звонить не надо!

– Конечно, – сказал Игнациус.

На улице был мрак, снег и ветер. Бульвар тянулся далеко за овраг, к деревянным разметанным избам. Поперек него разворачивалось такси с ярким зеленым огоньком. Игнациус поднял руку. Но сразу же опустил. Ему некуда было ехать.

И, главное, не к кому.

Это был полный обвал.

Глава 8

Это был обвал. Мир распадался прямо на глазах. Ни к чему нельзя было притронуться. На Московском вокзале, в огромном, душном, запотевшем от сотен влажных дыханий зале ожидания он нашел половину свободного сиденья, занятого холщовыми мешками. Кепастые хозяева мешков что-то недовольно бундели на своем гортанном пугающем языке, когда он втискивался. Но Игнациус не обращал внимания. Спать… спать… спать… Высохшие глаза слипались, и голова из жаркого чугуна падала в темноту. Но как только она падала, Игнациус вздрагивал и просыпался. Потому что заснуть по-настоящему было нельзя. Немели затекшие икры. Каждые десять минут по радио объявляли отправление. Или прибытие. Или: «Гражданин Дибульник, вас ожидают у семнадцатой кассы»! Оловянный бесчувственный голос долбил мозг. Громыхали сцепления меж вагонов. В мешках, видимо, были кирзовые сапоги, они больно врезались пятками. Примерно через час подошел милиционер и негромко спросил, что он здесь делает.

– Встречаю, – сказал Игнациус.

– Кого?

– Поезд.

– Какой?

– С колесами…

– Документы! – сказал милиционер.

Документов, конечно, не было. Игнациус в упор не представлял, где сейчас находится его паспорт. Скорее всего, Валентина убрала его куда-нибудь в шкаф, под стопку белья. У него даже появилась мысль – сходить домой вместе с сержантом, чтобы старуха пустила, но тот мотнул жестяной кокардой – пройдемте! Под одобрительное цоканье кепок вывел Игнациуса в гулкий вестибюль, где светился один – весь стеклянный – аптечный киоск, и без лишних слов указал на высоченные уличные двери, обитые медью:

– Вон туда. А увижу еще раз – заберу в отделение.

К счастью, метро пока ходило. Игнациус перебрался неподалеку, на Витебский, и первым делом посмотрел расписание. Поезд из Краснодара, имеющий прибыть в ноль пятьдесят пять сего числа, опаздывал на шесть часов. Это его вполне устраивало. Он отстоял очередь в тесном, медлительном дежурном буфете и все-таки заставил себя проглотить пупырчатую куриную ногу. Наверное, это была та самая курица, которую он уже пытался есть в забегаловке на Свечном. Она,

как наждак, оцарапала ему горло, а затем долгое время тревожно плескалась в желудке, вероятно, не желая смириться с судьбой. Но в конце концов успокоилась. Впрочем, Игнациусу было не до того.

Витебский вокзал был меньше, и людей тоже было меньше. Он ввинтился между двумя тетками в грубых платках, одна из которых, поглядев на него, сразу же пересела, а вторая цепко ухватила перевязанный веревками чемодан. «Не надо бояться, я не человек, я – призрак», – сказал ей Игнациус. Вторая тетка испарилась вместе с чемоданом. Он передвинулся на ее место и привалился к стене. В зале простуженно кашляли. Это был полный обвал. Надрывались динамики. Окна заросли бородатым инеем. Лопнули все нити, связывающие его с прежней жизнью. Он действительно как призрак бродил по границе небытия, разделяющей оба мира. Сумеречные тени задевали его своими больными крыльями. Шелестела сухая кровь. Четырехмиллионный город ворочался по темным квартирам, сопел в подушки, дико всхрапывал во сне, просыпался, таращился, пил из-под крана хлорную воду, ссорился, мирился, предавался любви, и не было ему дела до человека, скрючившегося в тупом оцепенении на деревянной скамейке зала ожидания.

Мы никому не нужны.

Никогда.

Никому.

Это был полный обвал.

Мир распадался на части.

Анпилогов как-то удивительно брезгливо моргал поросячьими короткими белыми ресницами. Ситуация была чрезвычайно неприятная. С работы его пока не уволили, но в ученый совет поступило заявление о том, что младший научный сотрудник А. И. Игнациус использовал в своей диссертации данные, ранее полученные Груном, сотрудником той же лаборатории. Заявитель обращал внимание на факт научного плагиата. Были приложены протоколы экспериментов Груна. Анпилогов сам произвел сравнительный анализ. Совпадение было убийственное, вплоть до отдельных фраз. В ученом совете разводили руками. Бубаев рыл землю. Сразу во все стороны. Покалеченный Рогощук требовал крайних мер. Была назначена комиссия. Факты подтвердились. Гадючник открыто торжествовал. Полетели письма в инстанции. Созоев отлеживался дома. Говорили, что его уберут – и с кафедры, и с лаборатории.

– Это, конечно, чересчур, – добавил Геннадий.

От него пахло кофе и свежим крахмалом. Жилистую худую шею сдавливал безупречный воротничок.

– Кто написал заявление? – мрачно спросил Игнациус.

Заявление написал Жека. Он сделал это сразу же после заседания кафедры. Его нельзя было осуждать. Потому что все-таки – плагиат. А Жека висит в воздухе. Его ставку могут забрать в любую минуту. И теперь, наверное, заберут. Лично он, Анпилогов, не понимает, зачем Игнациусу это понадобилось. Материала на диссертацию вполне хватало. Предварительная договоренность? Чтобы спасти работу Груна? Лично он, Анпилогов, о такой договоренности не помнит. Нет! Не помнит! И вряд ли бы он согласился. Есть границы, которые не следует переступать. Возможно, Игнациус действительно хотел как лучше – тогда надо было оформить соавторство. И уж, во всяком случае, посоветоваться заранее, подготовить весь коллектив. А теперь обстановка на кафедре – раскаленная. К сожалению, уже дошло до Москвы. Оттуда запрашивали. Мамакан рвет и мечет, пытаясь выяснить, кто заложил. А зачем выяснять? И так все ясно. В общем, Игнациусу не простят. Особенно после этой дурацкой выходки на предзащите. Как это могло угораздить его? Разве что Игнациус сильно болен. Болен он или нет? Выглядит он чрезвычайно плохо. Будто постарел этак лет на пятнадцать. Но ведь не болен? Тогда из института придется уйти. Других вариантов не видно. Анпилогов уже думал об этом. Он знает, что НАГИМу требуется сотрудник, владеющий цифровыми методами. Конечно, НАГИМ – не бог весть что, но если Игнациус хочет, то он как ученый секретарь института… Короче – вот ручка, бумага, пиши: «Директору НАГИМ профессору А. К. Потникову от сотрудника ВНИИМЭ заявление…» Это все, что Анпилогов пока может сделать.

Костлявое лицо его плавало в сером тумане, наполнявшем комнату. Туман был густой, липкий и, как в кривом зеркале, искажал предметы: стены были вогнутые, паркет на полу колебался, а старый письменный стол распух, словно надутый воздухом. Игнациус сжимал виски, чтобы унять в них саднящую винтовую боль.

– У тебя когда-нибудь была хоть одна знакомая женщина? – спросил он.

– При чем тут это?

Геннадий оттянул галстук и мучительно покраснел – до корней стеклянных волос.

– Ты обязательно станешь академиком, я тебе предсказываю, – искренне пообещал Игнациус.

Это был полный обвал. Раскачивались пролеты лестниц.

Извивались перила и падали новые этажи. Безудержно вращались окна. Синий звездный блеск переливался по Млечному Пути. Тротуар прогибался, как будто резиновый. Жутко ломило затылок. Он не спал уже двое суток. Горький снег лежал в переплете улиц, будто город засыпали толченым аспирином. Жека был необычайно занят. Он поэтому даже взял отгул на сегодня. Македон предложил ему стереосистему за три штуки. Нечто абсолютно замшевое, только что оттуда, какой ни у кого нет. Система напоминала четыре ящика из-под картошки, криво поставленных друг на друга. Там мигало множество огоньков, змеились компьютерные экранчики и прямо в форточку, рождая глухую зависть соседей, вырывался и плыл над зимними крышами сладчайший голос Монтегю Барта – необыкновенной чистоты и силы. Звенел, резонируя, хрусталь в серванте. Сам Жека, полыхая оттопыренными ушами, тихо, радостно и любовно гладил зеленые клавиши. Губы его причмокивали от полноты бытия. Потому что теперь все умрут от зависти. Колупаев – умрет. Градусник – умрет тоже. Эритрин – окочурится, когда узнает. Гордость обладателя боролась в нем с ощущением, что его все-таки надули: можно было заплатить рублей на двести меньше. Так считала Эмма. Которая присутствовала при сем. Тебя надували, надувают и будут надувать. Потому что ты – пальцем сделанный! Эмма ядовито блеяла, маникюря ногти перед раскладом трюмо. Запах лака и ацетона гулял по комнате. Она вчера завилась в парикмахерской и еще больше походила на стриженую овцу. Игнациуса она упорно не замечала. Он прирос под стеллажами, куда, как дрова, были плотно забиты книги, и снова почувствовал, что стальные острые коготки Ойкумены легонько ощупывают сердце.

– Постарайся больше не делать подлостей, – деловито посоветовал ему Жека, перебирая кассеты. – Постарайся не делать подлостей, иначе мне будет трудно общаться с тобой…

Игнациус даже удивился:

– Кто их делает?

– Ты, – сказал Жека.

– Я?!

Эмма настороженно выпрямилась.

– Я постараюсь, – покорно кивнул Игнациус.

– И тебе надо извиниться передо мной.

– Хорошо, – покорно кивнул Игнациус.

– При всех извиниться.

– Я – понял…

– Тогда я, может быть, тебя прощу.

Жека был чрезвычайно доволен. Он нажал кнопку

и послышался звук спускаемой в унитаз воды. Вступила рок-группа «Сортир».

Это был обвал.

– Дай мне чаю, – попросил Игнациус.

Жека даже не обернулся.

– Или хотя бы воды…

– Возьми на кухне.

Игнациус выпил целую чашку пузырящейся мутной воды, а потом произнес – раздвигая словами все ту же туманную серость:

– Я сегодня занимаюсь предсказаниями. Я предскажу тебе, как ты умрешь. Ты умрешь в возрасте пятидесяти восьми лет от сердечного приступа, который случится, когда Македон построит дачу на один этаж выше, чем у тебя…

Это был полный обвал.

Что-то кричала Эмма. Что-то визгливое, жалкое, истеричное. Махнула кровавыми вытянутыми ногтями – чашка вдребезги… Не позволю, я у себя дома!.. Его, кстати, никто не приглашал!.. И давно следует разобраться!.. Ты должен быть мне благодарен!.. Разменяться сейчас практически невозможно!.. Это лучший из того, что есть, вариант!.. Я заплатила две тысячи!.. Не подпрыгивай, пожалуйста, деньги дала мне мама!.. Разумеется. Конечно, вернешь… – и так далее, и тому подобное. Впрочем, почему – Эмма? Это говорила Валентина. Они ехали по Невскому. Автобус переваливался, как корабль, ползущий по морю. Игнациус жался рядом с ней на краешке мягкого кресла. Было жарко: солнце протекало сквозь стеклянную крышу. Уплывали назад – «Баррикада», широкий Народный мост. И Казанский собор, словно древняя птица, загребал комья снега массивными крыльями колоннады. Валентина гундосила что-то по-испански: дырл-дырл-дырл… Туристы позади нее, как болванчики, дружно крутили головами. Дырл-дырл-дырл… Пончик будет пока у моих… Дырл-дырл-дырл… Ты все равно не справишься… Дырл-дырл-дырл… Заявление на развод я подала… Дырл-дырл-дырл… Обещали сделать в апреле… Дырл-дырл-ырл… Получается, что раньше никак… Дырл-дырл-дырл… У них громадные очереди… Дырл-дырл-дырл… Я живу в Красногвардейском районе… Дырл-дырл-дырл… Однокомнатная квартира… Дырл-дырл-дырл… Никаких – опять или снова… Дырл-дырл-дырл… Совсем другая жизнь… Дырл-дырл-дырл… Мы – чужие, разные люди… Дырл-дырл-дырл… Ну, ты меня понимаешь… Дырл-дырл-дырл… В общем, есть один человек… – она была оживленна и говорлива. Она брызгала искренним ярким весельем. Пожалуй, она была даже симпатична

сейчас: рыжие волосы, смоляные глаза, распахнутая длинноворсая шуба из ламы. Водитель автобуса, до зубов джинсовый, искоса поглядывал на нее. Будто по частям раздевал. Дырлдырл-ырл… Она перешла в горэкскурсбюро… Дырл-дырл-дырл… В КБ ужасно осточертело… Дырл-дырл-дырл… Ей обещают зарубежные маршруты… Дырл-дырл-дырл… Надо серьезно готовиться… Дырл-дырл-дырл… Попробуем остаться друзьями… Дырл-дырл-дырл… А ты – как будто бы постарел… Дырл-дырл-дырл… Побледнел и даже осунулся… Дырл-дырл-дырл… Наверное, сильно переживаешь?.. Дырл-дырл-дырл… Ты все-таки не переживай… Дырл-дырл-дырл… Теперь уже ничего не изменишь… Дырл-дырл-дырл… Обязательно позвони мне на днях… Дырл-дырл-дырл… Мы ошиблись, и надо вместе исправить… Дырл-дырл-дырл… Вот тебе мой телефон… Дырл-дырл-дырл… Только не потеряй бумажку…

У Лавры автобус затормозил. Туристы выходили, щурясь на близкое солнце, сквозившее меж серебряных куполов. Каждый мужчина, прощаясь, галантно целовал руку сеньоре Валентине и произносил звучный, раскатистый, но непонятный комплимент. Валентина сияла. Закуривший шофер перебирал ее всю опытным долгим взглядом. Чувствовалось, что – уже годится.

– Дырл-дырл-дырл, amada[1]! – сказал Игнациус.

Повернулся и чуть не сшиб Стаса, который инстинктивно попытался закрыть себя глухой боевой стойкой. Правда, стойка была хреновая: под глазом у него размякал чудесный фиолетовый синяк, ободранная щека была заклеена пластырем, а правая – ударная – рука висела на бинтах в муфте.

– Болит? – участливо спросил Игнациус, касаясь муфты мизинцем.

– Болит, – хрипло ответил Стас.

Он явно перепугался.

– И будет болеть, – сказал Игнациус.

Стас немедленно отступил, но сеньора Валентина, быстро вклинившись между ними, уже толкала Игнациуса в плечо:

– Ты шел? Ну и иди себе…

Это был полный обвал.

Игнациус брел по серому, бесконечному, прямому как стрела, ледяному, заснеженному проспекту. Шелестели пустые автобусы, пролетая к метро. Комковатые тени пересекали тротуар. Ветер сдувал с крыш метельные загнутые хвосты. Я больше не могу, думал он, трогая пылающий лоб. Я даже не уверен, что люблю ее. Я боюсь уйти в Ойкумену и боюсь оставаться здесь. Я не могу. Я потерял все, что у меня было. Это слишком много для одного человека. Нельзя жертвовать сразу всем. Кольцо Мариколя

оберегает мою жизнь, но не мою судьбу. Я теперь никто. Интересно, если я выброшусь с десятого этажа, оно спасет меня? Он знал, что не выбросится. Вечер полосовал лицо хрупкой морозной пылью. Ужасно болела голова. Два чуждых друг другу времени сталкивались в нем и раздирали сознание, перемешивая мир как в калейдоскопе. Путались причины и следствия, события сплетались в бессмысленный клубок, где невозможно было понять, что происходило раньше, а что – теперь.

Одряхлевший Созоев крикнул в живую дышащую темноту портьер:

– Мара! Принеси нам чего-нибудь!

Появилась неизменная ваза с печеньем. Игнациус, как и в прошлый раз, сгреб целых шесть штук и начал жевать, мучительно наслаждаясь крошащимся песочным тестом.

Пальцы у него постепенно отогревались.

Все равно – это был обвал.

– Я, пожалуй, верю вам, – задумчиво произнес Созоев. Он скрестил пухлые белые ладони на животе. – Конечно, звучит это предельно фантастически, но кое о чем мне намекнул Федя Грун перед тем, как исчезнуть, правда, самые крохи – так ведь я ученый, я привык создавать целостную картину по отдельным разрозненным фактам. Скажите, Саша, вы его там случайно не видели? Нет? Очень странно. По законам невероятных совпадений, вы должны были обязательно столкнуться с ним. Причем в самый кульминационный момент. Это было бы очень логично. А природа любит внезапную логику. Сколько это субъективно продолжалось?

– Час или немногим больше, – неудержимо проваливаясь в сон, сказал Игнациус.

– А вернулись вы через шесть суток. М-м-м… Замедление времени почти в полторы сотни раз. Очевидный хроноклазм. И у вас нет провалов в памяти? Вы отчетливо помните всю цепь событий? Да, это не артефакт, не рыбий ложный мир, создаваемый больным воображением. За шесть дней беспамятства вас бы, несомненно, задержали. – Он откинулся в тень из круга настольной лампы. – Отдыхайте, Саша, вы совершенно измучены. А кольцо Мариколя у вас с собой? Любопытное колечко, на вид самое обыкновенное… – Созоев чуть-чуть помолчал. – Знаете, Саша, я не пытаюсь дать Ойкумене какое-либо рационалистическое обоснование. Вероятно, оно и не требуется. Тут, разумеется, можно выдвинуть ряд красивых гипотез – к сожалению, чисто умозрительных, – можно построить великолепную теоретическую конструкцию о взаимном балансировании миров на весах Времени или о Вселенной,

вывернутой наизнанку, где само Время незыблемо, а Пространство имеет вектор движения, прокалывающий его… Я не стану этого делать. Я скажу вам другое. – Он, еще больше откидываясь, восторженно всплеснул руками. – Я вам завидую, Саша! Нет-нет, не перебивайте! Я, конечно, величина в нашей области, у меня есть несколько интересных работ, моя монография переведена на девять языков и готовится второе издание, на меня ссылаются, меня постоянно цитируют… Если честно, то – ерунда все это… Труд, труд и труд. Ежедневный труд. Железная самодисциплина… Я бы все отдал, лишь бы рядом сейчас была не Мара, а совсем иная женщина. Иная, забытая, запрещенная к воспоминаниям… Человек не может без любви. Отверженность – это удел гигантов. А я не гигант, Саша. И вы тоже не гигант. Я говорю это вам совершенно искренне и определенно…

Он притиснул короткие руки к груди. И вдруг замер – разглядывая что-то невидимое.

– Мне негде жить, – вяло, из теплой тяжелой дремы сказал Игнациус. – Я сейчас вернусь домой, и окажется, что меня выселили как тунеядца. Или старуха уехала в деревню и заколотила квартиру. Или сгорел весь этот проклятый дом. У меня нет денег, я два дня ничего не ел. Кроме куры, которая до сих пор шевелится…

– Ну, это просто, – махнул ладонью Созоев. – Переночуете у меня, завтра что-нибудь придумаем вместе.

Он исчез за портьерой, и шаги его сразу затихли. Навалилась горячая, душная, дьявольская тишина. Страшно пялились окна. Паутинные шорохи летали по кабинету. С другого конца земли доносились невнятные пререкающиеся голоса. Передвинули мебель. Свалилось что-то громоздкое. Конечно, было неудобно ночевать здесь. Но куда еще идти? Игнациус не мог пошевелиться. Лампа выхватывала открытую книгу и ворсистый малиновый полукруг на ковре. Глухо били часы. Наверное, в Ойкумене. Очень тонко пищала кровь, стиснутая в висках. Опять передвинули мебель. Жизнь иссякала. Хотелось проснуться, и чтобы все стало как раньше. Изменить ничего уже было нельзя. Сдавленный протяжный хрип, как питон, выполз из мрака. Он тянулся без конца, на одной нечеловеческой дикой ноте, и в нем была боль, которая отделяет душу от тела. Комната вдруг опрокинулась. Игнациус слепо шарил по обоям в коридоре. Где тут у них выключатель?.. Ни черта не видно!.. Что за дурацкая привычка гасить свет?! Ба-бах! – ударила случайная дверь. Была спальня, и была разоренная пустая кровать, и валялась у входа заломленная подушка, и был опрокинутый таз, и чернилами

растекались две лужи, сплетая щупальца, и махровое полотенце свисало с обвода стола, и смертельно разило лекарствами, и торчали из кресла-качалки венозные босые ноги, и Созоев опять прижимал ладони к груди, и рубашка на нем была напрочь расстегнута, и отставшая прядь волос приклеилась у него на лбу.

– Уже все, уже все, уже все… Не пугайтесь, Саша, со мной бывает в последнее время…

Марьяна ставила чашку на круглый поднос. Обернулась, и глаза ее просияли. Игнациус даже не понял, что она сделала: что-то очень короткое, какой-то неуловимый жест, – но он сразу же вдруг очутился в прихожей, а затем на лестнице, держа в охапке свое пальто.

Тихо щелкнул замок.

Это был хаос, обвал, распад материи. Ойкумена ни на секунду не отпускала его. Скрипел оседающий под ногами снег. Черный купол в пожаре звезд медленно поворачивался над ребристыми крышами. Впереди была набережная незнакомой реки: гранитные столбики в шапках, оснеженная вязь перил между ними, а на другом, приземистом, берегу – убогие, занесенные по самый шифер, дощатые длинные бараки. Наверное, склады. Скукой и запустением веяло от них.

Игнациус остановился как вкопанный.

Еле различимая табличка белела над подворотней. «Сонная улица 12» – было начертано на ней.

– Нет! – сказал он.

Быстро пересек улицу и рванул дверь телефона-автомата. Выудил из кармана номер, который дала ему сеньора Валентина. К счастью, бумажка не потерялась.

– Слушаю, – тут же ответил Стас.

– Приезжай и забери кольцо, – испытывая ненависть к самому себе, процедил Игнациус.

Стас пресекся.

– Отдаешь?

– Да.

– Точно?

– Ты же не глухой, дубина!

– Стой на этом месте и никуда не уходи! – волнуясь, крикнул Стас.

Игнациус бросил трубку.

Кончили! Хватит!

С него достаточно!

Что-то изменилось вокруг. Что-то с освещением. Зеленоватое радостное сияние озарило снег. До мельчайших подробностей проступили – трещинки на стенах, белое нутро сугробов,

подагрические деревья в саду.

Он поднял голову.

Высоко над спящим городом – бесшумно, точно в сказке, – напоминая о несбыточном, сыпался яркий звездный дождь.

Глава 9

Ойкумена пылала с четырех сторон. Горела Соленая Гавань, где отряд Жукоеда разгромил портовые кабаки и разбил бочки с янтарным рыбьим жиром. Горел квартал Уродов, который подожгли сами жители – одноногие, безухие или слепые обитатели городского дна. Жарко трещали склады сукна в Казенном ряду – пламя раскинулось воющей стеной, и звероватые шишиги, выползшие из притонов, тащили узлы с награбленным. Величаво, грозно, торжественно перекатывал коричневые барханы дыма плоский Тараканий Чертог на Гниловодье, продолговатые искры, шипя, стреляли через парапет в зловонную сукровицу канала. Дул горячий ветер. Огненные клубы, испепеляя одним прикосновением, бродили по улицам. До небес вздымались хлопья тяжелой копоти. Шершни-убийцы, как вертолеты, гудящие над головой, задыхались в ней и шлепались на мостовую, ломая перепончатые слюдяные крылья. Багровая мгла окутала город. Люди ныряли в нее и растворялись без следа. Красный надрывный зрачок луны, словно приклеенный, висел над Башней. Валялась пустая хитиновая скорлупа – это Медный Палец прошел по Галерее, беспощадно вырезая дозорных. Зловеще и тихо светились в обморочных переулках пурпурные иглы чертополоха. Чертополох цветет, если корни его напитаны кровью. Без четверти двенадцать, когда с шестигранника Башни упали девять гулких звенящих ударов, Громобой и Палец пошли на приступ Чертога и были отброшены копейщиками из дворцовой охраны – откатились, устилая холщовыми рубахами булыжник перед дворцом. «Вперед!!!» – заглушая рыдающий вой огня, неумолимо ревел Экогаль. Четверо телохранителей – здоровенных, тупых, привычно-озлобленных деревенских парней, одетых в мелкую до колен кольчугу, – окружали его, а тонконогие, как гончие псы, адъютанты переминались кучкой в ожидании приказов. Ордена и золотые перевязи сияли на их нетронутых мундирах.

– Милорд, пошлите туда птицеглазых, – мучаясь, сказал Игнациус.

– Вперед!!! – по-слоновьи ревел Экогаль.

Серые толпы, ощетиненные топорами и дрекольем, снова двинулись на ворота. «Наследник с нами!.. Наследник Мариколя!..» – то и дело выкрикивали из колонн. Игнациус замечал, как при этих криках перешептываются офицеры, как бледнеет от ярости лицо Экогаля, как он кусает твердые губы

и решительно, гневно стискивает фигурную рукоять меча.

– Милорд, пошлите туда птицеглазых…

Личная дружина герцога, закованная в панцири и кольчуги, отливая синевой щитов, стояла на безопасном расстоянии, и желтые квадратные штандарты с вышитым глазом орла гордо реяли над ней.

– Я вас умоляю, милорд…

Серые толпы в панике катились обратно. Медный Палец, крутясь, как щепка в водовороте, пытался остановить их. Его быстро смяли. Оглушительно разрывались пороховые горшки. Арбалетчики, невидимые в узких бойницах, выкашивали целые ряды бегущих. «Мужичье, воевать не умеют, лапотники», – презрительно сказал Экогаль. Адъютанты почтительно засмеялись. Тогда Игнациус стиснул зубы и, спотыкаясь на деревянных ногах, побежал через пузатую площадь, испятнанную буграми распластанных тел. Он задыхался от копоти: воздух сгорел до пустоты. Но он высоко поднимал руку с кольцом, чтобы его узнали. Скорпион, как звезда, сверкал в багровом пульсирующем мареве.

– Наследник!.. Наследник с нами!.. – Десятки прицельных глаз уперлись в него, стрелы звякали о булыжник, рвануло манжету на рукаве – сзади уже нарастал грозный камнепадный топот. Холщовые рубахи, дохнув резким потом, обогнали его. Оглянувшись, он увидел, что стремительный синий клин, будто облако, приближается к Чертогу. Экогаль все-таки двинул туда птицеглазых. Значит, подействовало. Мародеры! Насильники! Игнациус отскочил. Крутобокая бомба жахнула по земле, и шипящая чугунная смерть распорола воздух. Он упал, его подхватили. Ворота были сбиты с опор. Перемешанные отряды хлынули на широкое дворовое пространство. Брызнули стекла первого этажа. Покачнулась и рухнула в бассейн рогатая статуя Жука-самодержца. Все было кончено. «Мариколь!.. Мариколь!..» – раздавалось повсюду. Игнациус отталкивал жалкие мозолистые ладони, тянущиеся к нему за благословением. Все было кончено. Еще отчаянно рубились разрозненные звенья стражи – не прося пощады, зная, что пощады не будет, еще чадили сцепленные телеги, под прикрытием которых Громобой подошел к Чертогу, еще, поскрипывая, вращалась на сорванных петлях лепная половинка ворот, еще пищали гусеницы на мозаичном полу – корчась в судорогах, истекая творожистой лимфой, еще визжал приколотый к панелям прыщавый юнкер-бананоед, и начальник дворцовой охраны, топорща хитиновое крыло, еще вяло, со слабеющей силой отмахивался коротким мечом, еще забегали вперед

телохранители, расчищая дорогу, принимая случайные стрелы – на себя, еще задушенно хрипели в ответвлениях коридоров, еще метались по картинным лаковым залам перепуганные горничные и лакеи, еще дымилась подожженная крыша и медным басом лупил набат на пожарной каланче – но все уже было кончено. Взбудораженный Экогаль, ухватив за клинышек бородки старого таракана в лиловом придворном камзоле, расшитом золотом, возил его по зеркальному паркету.

– Где Фукель?.. Говори, скотина!.. Где Цукерброд?.. Где мерзавец Лямблия?..

У таракана тряслись свекольные щеки и брызгала слюна из распахнутого ужасом фиолетового рта. Он едва выговаривал мутные фразы. Тайный Верховный Совет бежал… объявлен Звездный Интердикт… Его Святейшество наложили запрет на вход в Башню… погашены все три Радианта… ждут подхода туземцев и гвардии… праздник отменен… посланы гонцы на края Ойкумены к диким племенам тарантулов… не убивайте меня, милорд… я буду верно служить вам!..

Экогаль бросил его и пнул ногой.

– Эй, кто там? Закройте двери. Пошевеливайтесь! Мне – вина!.. – адъютант развернул перед ним полотняную цветную карту города. Зажгли десятирожковый подсвечник. Восковая сушь изжелтила лица. Экогаль, склонясь у карты, выставил железные шипы на локтях. – Удержать Гавань… корабли… Один батальон… Арсенал… это – главные силы… Прежде всего – Арсенал… Городские заставы… Чертог… Казначейство… Среди сенаторов много оборотней… Клятва нового магистрата… Тарантулы боятся кипящей смолы… Хюммель! Как со смолой?..

– Человек послан, милорд!..

– Смена караулов… Тюрьма… Затопить лабиринт… А фаланги боятся беркутов, которые выклевывают им глаза… Хюммель!..

– Десять ручных беркутов, милорд! Сторожит Птах, сокольничий вашей милости!..

Экогаль жадно прихлебывал горячее сардэ, заправленное специями. Игнациус без ног лежал в кресле. Он был полностью измочален. Хилый дрожащий кузнечик подал ему на подносе курящуюся паром фарфоровую чашку. Он отмахнулся. Небо сочной зеленью светилось над багровым туманом Ойкумены – шелестел звездный дождь.

– Надо пробиваться в Башню, пока там не опомнились, – устало сказал он. (Экогаль с досадой пожал плечами). – Один хороший удар – и мы там. (Экогаль иронически хмыкнул). – Дайте мне птицеглазых, я протараню вам путь…

– Идет гвардия, – ответил ему Экогаль, не разгибаясь. – Идут полчища тарантулов, идут сонмы ядовитых фаланг, это вы понимаете, сударь? Под городом два гнезда ос, сейчас их отпугивают пожары – но что потом?.. – У него болезненно дергалась щека.

Один из адъютантов прошептал за спиной Игнациуса:

– Сударь, вы сидите в присутствии его светлости.

– Ну и что? – удивился Игнациус.

Офицер тонко улыбнулся подстриженными усами:

– Это не полагается по этикету, сударь…

– Идите вы к черту, – сказал Игнациус. Взял с подноса горячую чашку и немного отпил. Наперченное вино обжигало. – Милорд, дайте мне отряд Жукоеда; наконец, дайте мне просто две сотни из ополчения, мы нанесем удар в самое сердце!.. – Он не слышал себя. За окном шумел целый лес голосов: «Наследник!.. Наследник с нами!..»

Экогаль раздраженно выплеснул остатки вина в камин.

– Эй, кто там? Выставить охрану у подвалов с королевской казной! Все разграбят, мужичье сиволапое!.. – Лиловый таракан ползал перед ним и хватал за глянцевые сапоги, норовя поцеловать носок. – Жизнь!.. О, только жизнь, милорд!.. – но, вдруг осмелев, просвистел что-то снизу вверх: неразборчивое, быстрым дыханием. Экогаль замер. – Ну да? Ну, если соврал! – Обернулся к портьере, застилающей половину громадного резного окна, слегка покачался на каблуках, видимо, предвкушая, и одним властным движением сорвал ее. – Ах! – Невысокий грушевидный человек в пестром костюме арлекина прижался за занавеской. Он даже не пошевелился, оцепенев зрачками на мучном лице.

– Гусмар! Названый брат мой! – радостно воскликнул Экогаль. – Какая встреча!.. Брось кинжал, червяк, я же в латах, или ты забыл наши детские игры?

Кинжал стукнул о дерево. Подскочили очухавшиеся адъютанты.

– Злодейское покушение!.. Разрешите, я прикончу подлеца!.. Вы не ранены, милорд?.. Какое счастье!..

– Заткнитесь, – сказал им Экогаль, любовно разглядывая Арлекина. – А я, признаться, думал, что ты сбежишь вместе с Тайным Верховным Советом. Или тебя не взяли, Гусмар? Предателей не любят. Есть все-таки справедливость в этом мире! Я повешу тебя на площади с барабанным боем – ты теперь дворянин. Уведите его!..

Двое вытянутых офицеров приняли под руки бледного как мел, обомлевшего, не дышащего Арлекина, который так

и не проронил ни единого слова. За окном неожиданно грянуло: «Моя милашка милее всех! У ней рубашка короче всех!..» Сермяжное воинство расползалось в пьяном угаре.

– Если вы, милорд, не дадите мне людей, то я пойду один и сам переведу стрелки, – с тихим бешенством, приподнимаясь, сказал Игнациус.

На часах было без десяти полночь. Экогаль обратил к нему крупное бритое лицо в разводах черной пыли.

– Не забывайтесь, сударь. Командую здесь все-таки я!..

Он ощерился, показав лошадиные зубы. Мощно отпихнув караульных, в залу ввалился Громобой – истерзанный, волосатый, забрызганный кровью по кожаной куртке ремесленника. В немой ярости разевал пасть. Щурясь на него, Экогаль, будто приняв некое решение, лениво опустился в кресло и отхлебнул вина.

– Я вас слушаю, друг мой, – приветливо сказал он, поведя ладонью.

Громобой задыхался.

– Ваши люди, милорд… Они убили Бобра, они арестовали Вертлягу и Коршуна, они ставят своих офицеров командовать нашими отрядами, они разбили в подвалах бочонки с брагой и опаивают моих мужиков, сейчас они намереваются повесить Лисицу, который первым ворвался в Чертог!.. – Громобой дернул на груди истлевшую рубаху и вытащил из-за пояса грубый помятый свиток с печатями. – Вот ваши привилегии, написанные вашей собственной рукой, милорд! Я плюю на них! Я увожу своих собратьев из города и меня больше не обманут никакие ваши посулы и обещания!.. – Он повернулся и прорычал на телохранителя, загородившего двери: – Прочь с дороги!.. – но тут же странно крякнул и попятился как сумасшедший, нелепо размахивая руками: а-а-а… – сел в камин на груды угля и пепла. Из горла его, в розовой ямке между ключицами, торчала рукоять ножа.

– Вы с ума сошли, – одними губами сказал Игнациус, потому что отчетливо прозрел вдруг свою судьбу. И действительно, трое других телохранителей мгновенно зажали его в плотные жесткие тиски – не шелохнуться. – Что это значит, милорд?!

– Вы мне мешаете, – мельком ответил Экогаль, изучая карту. – Вы слишком популярны среди черни. Наследник!.. Плохо, когда на одном теле сразу две головы. Хотите вина? Не беспокойтесь, сударь: посидите в подвале, подумаете… Кольцо Мариколя охраняет вашу жизнь, но не вашу свободу.

Длинным змеиным шипением закатился очнувшийся Арлекин. Он смеялся, надувая толстые губы.

– А вы думали, сударь, что герцог и в самом деле

намеревается повернуть Звездный Круг и разрушить Ойкумену? Вы наивны, сударь… Кем он тогда будет управлять, где будет его империя? Нет, сударь, герцогу нужна власть и только власть – люди, насекомые, – ему все едино.

У него текли через пудру бессильные, жалкие слезы. Грушевидное тело заколыхалось. Экогаль взял его за пышные сборки воротника так, что материя затрещала.

– Ты умен, Гусмар. Ах, как ты умен… Я хоть сейчас назначил бы тебя своим сенешалем. Но ты слишком умен, чтобы оставаться в живых…

Глаза его стремительно расширились: приседая и мучаясь, в дверях привалился распаренный Жукоед и с трудом выталкивал из горла сипящий перегоревший воздух.

– Мы разбиты, милорд!.. Мой отряд разбит!.. Гвардия вошла в город!.. Мужики бегут!.. На улицах резня!.. Нет сил удержать!.. Спасайтесь, милорд, пока это возможно!..

Жукоед был всклокочен, в космах его застряли репьи. А вдоль скулы протянулась кровавая свежая рана. Игнациус почувствовал, как ослабли сдавившие его мускулы. Пороховой высверк внезапно покачнул здание, вылетели свинцовые рамы, пугающее каменное ядро вкатилось в залу из багрового уличного полыхания.

– Проклятье!.. – звучно сказал Экогаль и блестящим полукругом меча разрубил инкрустированный столик…

Все действительно было кончено. Огненный туман струился по улицам Ойкумены. Рыхлые перья пожаров метались в нем. Закручивалась столбом ядовитая черная пыль. С шумом ложились волны искр на плоских крышах Чертога. Игнациуса толкали со всех сторон. Он боялся упасть. Густое людское варево, перемешиваемое паникой и отчаянием, кипело на площади. Хлестали по глазам вытянутые руки. Орали волосатые рты. Горячий пепел сыпался с неба. Он спотыкался на расплющенных мятых телах. Колебалась земля, и карусель искаженных лиц опрокидывалась на него. Танцевал канкан свихнувшийся писарь с гусиным пером в патлах. Грязные пятки утонувшего торчали из бочонка с брагой. Двое ремесленников, тряпично-пьяных, голых по пояс, бессмысленно резались на крохотном пятачке между телегами, видимо сводя старые счеты. Экогаль, как бешеный мамонт, ревел в самое ухо:

– Надо пробиваться в Гавань!.. Ждет каравелла!.. Команда – верная!.. Мы переплывем Море Мрака, омывающее Ойкумену… И затеряемся среди тысяч коралловых островов на другой стороне ночи!.. Мы еще вернемся!..

Игнациус еле выдрался из-под костяных пальцев:

– К черту!

Над хлопьями дыма, над облаками черной пыли, застилающими город, стрекотал яркий зеленый дождь. Толпа разъединила их. Экогаль все ревел и тянулся, безумно оскалясь:

– Убейте!.. Убейте его!..

Телохранители, заламывая ему руки назад, тянули прочь. Легли поверх голов первые раскаленные стрелы. Площадь завыла. Игнациус, выдавленный на чугунную тумбу у ветхих домов, видел, как из конца улицы неумолимо надвигается закованная в хитин, расцвеченная бликами пожара, вороненая сплошная стена гвардии. «Вжик!.. Вжик!.. Вжик!..» – при каждом шаге богомолы выбрасывали перед собой страшные зазубренные пилы. Кто-то ухватил его за рукав и стащил вниз.

– Надо выбираться отсюда, держитесь за меня, я вам помогу, сударь!.. – пискляво прокричал Арлекин. Игнациус пихнул кулаком отвратительную сдобную рожу.

– Продадите Фукелю? Да?..

Деваться было некуда. Их с неимоверной силой прижало к стене. «Вжик!.. Вжик!.. Вжик!..» – падало на площадь. Арлекин совал ему под нос жеваный клочок бумаги:

– Звездочет… обязательно передать… последняя наша надежда…

В багровых сумерках Игнациус едва разобрал каракули: «Александр, пробивайся к Башне, дорога каждая секунда. – И знакомая, жирно обведенная подпись: Федор Грун».

– Грун? – ошеломленно сказал Игнациус.

– Звездочет, сударь, – объяснил Арлекин.

– Грун?!

– Это Персифаль, сударь.

– Грун!!!

– Поспешим, сударь, – сказал Арлекин и буквально клещами выдернул его из толкотни под какую-то низкую арку. – Верьте мне, верьте. Есть ходы, о которых важные господа не знают: есть кухни, есть дворницкие, есть черные лестницы, куда не заглядывает даже ночная стража…

Они протиснулись в узкую каменную щель и оказались на параллельной улице. Улица была безжизненная, словно нарисованная на холсте: малиновая пленка облегала дома и выше заколоченных ставен взметывались из утрамбованной земли мясистые листья чертополоха. Мутно светили трехпальчатые фиолетовые цветы.

– Замрите, сударь, – шепнул Арлекин.

Через покатое плечо его Игнациус видел, как еле звеня по булыжнику быстрыми копытами, чрезвычайно легко, будто призраки, пронеслась над мостовой кучка всадников

в развевающихся длинных плащах – человек десять, не больше – и растаяли в густом огневище.

– Милорд Экогаль, сударь, – прошептал Арлекин, странно улыбаясь. – В прошлый раз ему помог спастись сам Фукель. Не удивляйтесь: Фукелю нужен реальный и сильный враг, чтобы противопоставлять его насекомым. Он же знает, что Экогаль не собирается разрушать Ойкумену.

– А разве Фукель – человек? – спросил Игнациус.

– Конечно, сударь. Насекомые не способны править самостоятельно.

– Все равно я вам не верю, – сказал Игнациус.

Они пролезли сквозь сухую траву, меж колючими толстыми стеблями, и долго бежали по скудно освещенным то земляным, то дощатым, то облицованным сырым, неотделанным камнем узким, извилистым, путаным переходам с угрожающими потолками, прыгали в невероятные лазы – подсаживая друг друга, карабкались из тесных тупиков на следующий ярус.

Игнациус потерял всякое представление о том, где они находятся. Капала вода. Сыпался древесный мусор. Задавленно пищали крысы под живыми сгнившими половицами.

– Скорее, скорее, до полуночи всего три минуты, – задыхаясь, шипел Арлекин. В желтых щелях неожиданно открывались захламленные чуланы, кладовки с крупой и банками, длинные пеналы, завешанные дряблым бельем, страшноватые пахучие кухни, в которых какие-то полуодетые люди, отдуваясь и ухая, швыркали чай из блюдец, поставленных на растопыренные пальцы. В одной из них Игнациус с изумлением обнаружил Валентину: поддергивая пышные кринолиновые юбки, она сердито отчитывала пожилую женщину в переднике, горько стоящую перед ней.

– Прау Жужелица, – бросил через плечо Арлекин, – самая злобная из мегер, близка Фукелю.

Валентина сгинула. Словно не было никогда. Щели кончились. Коридор пошел вверх и распахнулся мраком, о необъятности которого свидетельствовало гигантское эхо шагов. Арлекин ступил на железную винтовую лестницу без перил, уходящую куда-то во тьму, под купол.

– Мы в тайниках Башни, сударь.

Игнациус поднимался вслед за ним, судорожно балансируя расставленными руками. Оказывается, победить очень просто, надо только решиться, подумал он. Надо решиться, и тогда ничего не страшно. Лестница мелко дрожала. Спицы лучей протыкали гулкую темноту, и в постепенном истаивании их чувствовалась безразмерность пространства. Забил крыльями

голубь – далеко, в слуховом окне. Железные ступени уперлись в известковую кладку.

– Перстень, сударь!

Игнациус приложил кольцо Мариколя, и скорпион засиял. Кованая дверь отошла с протяжным вздохом.

Звездная прозрачная зелень хлынула оттуда.

– Зажмурься, – шепнула Аня, – можно ослепнуть, это Камера Дев.

Теплая рука осторожно потянула его. Щурясь от быстрых уколов, он искал знакомые губы.

– Осталось пятьдесят секунд, – простонала Аня, откидываясь. – Ты безоружен, возьми вот это.

Игнациус сдавил рифленую рукоятку. Заскрипели ржавые петли. Целым букетом ахнули снаружи визгливые голоса. Высверлила уши тревога. Звонко столкнулся металл. Точно буря, обрушились отовсюду гудящие рубящие удары. Сквозь туманные уколы звезд Игнациус различил надвигающиеся на него хитиновые пилы и отточенные резцы жвал. Он заехал кинжалом. Богомол опрокинулся. Кажется, это был Стас. В суматохе не разобрать.

– Звездочет ждет нас! – тянула его Аня.

Глаза привыкали. Богомол лежал ничком, так что лица видно не было. Пара жуков-стражников шевелила лапками, вероятно в агонии. Тихо оседал распластанный по стене Арлекин, и короткое пестрое древко торчало у него между лопаток:

– Ойкумена должна погибнуть…

Они помчались наверх, перепрыгивая через ступеньки. Игнациус царапал спекшееся горло ногтями. Впереди была еще одна кованая железная дверь. Также запертая, массивная, неприступная. Витиеватый иероглиф, как неоновый, пылал на ней. Стрелы шлепались справа и слева о шершавый камень. Было странно, что до сих пор не задели. Он безуспешно дергал литую старинную ручку из бронзы. Так и этак. Перстень здесь почему-то не помогал.

– Печать Гнома, – сказала Аня. – Гном воздвиг Ойкумену, потом его отравили. – Игнациус поддел иероглиф и сорвал его. – Нарушивший печать Гнома потеряет все, – глухо сказала Аня.

– Посмотрим, – невнятно ответил он. Ручка стукала, как будто стреляла. Дверь все равно не поддавалась. Как мертвая. Снизу приближался противный крутящийся визг.

– Поцелуй меня напоследок, – жалобно попросила Аня.

Игнациус поцеловал.

Аня достала из выреза крохотный золотой флакончик.

– Это зернышко маллифоры, настоянное в вине. Оно дает

забвение. Ты снимешь перстень, и мы уйдем вместе. Бедный отец…

Остатки иероглифа корчились, словно огненные змеи. Скрежет когтей затопил лестницу. Дверь вдруг начала медленно, очень медленно отворяться. Изможденный старик в балахоне и островерхом двухцветном бархатном колпаке возник на пороге:

– Пришли?

– Старый добрый Персифаль, – сказала Аня. Наклонилась и поцеловала его пергаментную руку.

Дверь легко закрылась за ними.

– Кольцо при вас? – прошамкал старик.

– Да, – сказал Игнациус. – Да!

– Идемте…

Они поднялись в круглую комнату, где предметы угадывались только по их лунным очертаниям. На столе, заваленном свитками, книгами и причудливыми инструментами, жужжала сфера из семи планет.

– Ты все-таки пришел, Александр, я уже отчаялся ждать тебя, – опершись о нее, сказал старик.

– Грун? – неуверенно спросил Игнациус. Нечто странно-знакомое было в костяных, отбеленных возрастом, заостренных чертах кривоватого слепого лица. – Природа любит внезапную логику, – пробормотал он.

– Что? – спросил Грун.

– Это я – так…

Грун, схватившись за сердце, с трудом перевел дыхание.

– Надо торопиться, Саша, я очень болен, и мне осталось совсем немного. – Он опять с трудом перевел дыхание. – Легенда гласит, что запустить ход времени в Ойкумене может лишь человек из мира людей, которого полюбит мадонна, обручится с ним и отдаст ему перстень короля Мариколя.

– Я люблю его, – тут же сказала Аня, – прости меня, бедный Персифаль.

Она вся дрожала. Огромные медные шестерни стучали над ними, поворачиваясь с каждым стуком на один зубец. Маслянела пружина. Свисали огромные цепи. Грун отчетливо щелкнул пальцами – и раздвинулись створки на потолке. Ожерелье из крупных угловатых звезд мерцало в глубокой черноте над дымящейся Ойкуменой. Даже не верилось, что бывают такие чудовищно крупные звезды. При космическом, неземном свете их Игнациус увидел длинные стрелки часов: они показывали без минуты двенадцать. Он снял с безымянного пальца кольцо Мариколя и поднял его.

– С этой секунды ты становишься смертен и уязвим, –

сглатывая на каждом слове, слабо предупредил Грун.

Игнациус отмахнулся. Кольцо легло точно на часовую ось. Что-то заскрежетало, сцепилось и тронулось внутри старинного механизма. Звякнул дугообразный анкер. Громовой удар до основания потряс Башню. Прокатилось землетрясение. Шатались пол и стены, сыпался потолок, разворачивались свитки с дикими нечеловеческими письменами. Казалось, они проваливаются в преисподнюю.

Грун, хватая ртом воздух, лежал в деревянном кресле.

– Тебе плохо? – спросил Игнациус.

– Нет, просто я умираю…

Три… пять… семь… – грозно отбивали куранты. Игнациус прижал к себе Аню.

– Значит, все правда, значит, мы победили, – шептала она.

Девять… десять… одиннадцать… – Сдвинулся целый мир. Комната вокруг них тряслась и стонала. Звезда за звездой рушилась изнанка Вселенной. Треснул упор часов, посыпались шестеренки. Натянулась и дернулась кверху железная цепь. Раскатились колесики: полночь! Ослепительно и больно, бриллиантами миллионов огней засиял Звездный Круг над их головами. Вдруг – лопнул. Все закрутилось. Совместились горячие недра времен. Ойкумена погибла и снова вынырнула из пучины. Проявился какой-то трепещущий свет. В последний момент Игнациус заметил, как, взмахнув крыльями балахона, проваливается в багровую черноту остекленелый Грун и как, начиная с флагштока, словно от удара молнии, медленно и страшно расщепляется пополам суставчатая Башня Звездочета.

Глава 10

Я расскажу все как было – ни о чем не умалчивая и ничего не добавляя от себя.

У нее имелась отвратительная привычка: когда она пила, то обязательно стукала чашкой о блюдце. Звук был очень противный – холодный и резкий. Будто стукал один фарфоровый зуб о другой. Игнациус заранее напрягался. Невозможно любить женщину, которая так стукает чашкой.

Вообще невозможно было любить.

– Я вчера не слышал, как ты пришла, – раздраженно сказал он.

Аня выпрямилась и хрустнула пальцами.

– Мы ходили в театр, – сказала она.

– Кто это – «мы»?

– Весь отдел.

– Двадцать восемь человек?

– Ну конечно…

И она покраснела. Она не умела врать.

– Ты не умеешь врать, – сказал Игнациус. – Впрочем, теперь это – все равно. Был скандал с Горгоной, что не запираем дверей. Она будила меня четыре раза. До трех ночи. Я же просил тебя…

– Я ходила в театр, – упрямо повторила Аня. Звонко стукнула чашкой и спохватилась. – Пожалуйста, извини… Как ты думаешь, могли бы мы поменяться? Комната на комнату. Или еще как-нибудь? – Она придавила мизинцем синеватую дрожащую жилочку на виске. – Вчера Горгона выдумала, будто я отсыпаю у нее манную крупу из шкафчика. И повесила амбарный замок. А сегодня ворчит, что ночью у нее откусили половину котлеты.

– Порядочные девушки не жрут по ночам чужих котлет, – сказал Игнациус. – Порядочные девушки возвращаются домой как положено. И заботятся о семье. – Он запнулся. – Ну что ты на меня смотришь?

– Ой, забыла, забыла!.. – воскликнула Аня.

Чрезвычайно легко поднялась и выбежала из комнаты. Чрезвычайно легко и чрезвычайно поспешно. Игнациус даже, не выдержав, застонал. В свою очередь тоже поднялся и дернул разбухшую форточку. Ворвалось бормотание, ударило мокрым снегом. Утро наступало пронзительное, ветреное, сырое – в грохоте обрывающегося льда и в шипении мутной, летящей с поребрика крыш, обезумевшей талой воды. Тс-тс-тс, сказал он себе. Потому что накатывало обычное бешенство. Комната была узкая, тесная, и жить в ней было совсем невозможно. Вообще

невозможно было жить. Голая лампочка надрывалась над клеенчатым липким столом, где – которые сутки уже – засыхал в хлебных крошках изогнутый ломтик сыра. Он терпеть не мог сыр. Ничего нет противнее сыра. Неопрятная, брошенная, развороченная тахта желтела неостывшим сном. Валялась скомканная рубашка. Игнациус намотал в пальцы угол простыни и стащил ее на пол – со всеми делами. Нельзя любить женщину, у которой плесневеет в тарелке вчерашний ужин и целыми днями распахнута мелко измятая пустая постель.

Он уже говорил об этом – тысячу раз.

Аня примчалась обратно и замахала руками.

– Ой, ты представляешь, я чуть было не сшибла Горгону! Ползет себе по коридору, я – тоже бегу… Еле-еле затормозила…

Она попыталась улыбнуться.

– Я опаздываю, – напомнил Игнациус.

– Сахара, оказывается, нет, и – у меня кончились деньги…

С деньгами было совсем плохо.

– Сколько тебе нужно? – спросил он.

– Рублей двадцать.

– Подумаем…

Ему было стыдно. Аня посмотрела на сброшенные подушки и ничего не сказала. Она ничего не говорила в таких случаях. Будто не замечала. Все-таки надо сдерживаться. Он стал слишком раздражителен. Это ужасно. Это старческое перерождение психики. Он знал об этом. И все-таки надо сдерживаться. Мелочи. Быт. Суета. Она очень старается.

– Неужели же ты не могла все как следует рассчитать! – вдруг взорвавшись, запальчиво сказал он.

Накатила горячая, душная, болезненная волна.

Часы показывали семь тридцать пять. Было обычное сердцебиение. Правда, немного сильнее. И была обычная неприятная сухость во рту. А еще вдобавок, чего раньше не наблюдалось, медленно плыла голова, и он никак не мог остановить вращающуюся вокруг него комнату.

Аня прятала виноватые жалобные глаза.

– Сегодня у одной из наших сотрудниц – день рождения…

– Конечно, иди, – сказал Игнациус.

– А ты – как?

– У меня срочный перевод, я буду долго работать вечером.

Это была неправда. И они оба знали об этом. Игнациусу хотелось ударить самого себя.

Аня вдруг наклонилась, как кукла, и прижалась лбом к его плечу.

– Ну зачем ты, зачем? – очень быстро, с проскакивающими

в голосе слезами сказала она. – Ну давай я никуда не пойду? Они мне не нужны – только ты… Но я же не могу целый день сидеть в жутких стенах и задыхаться от твоего бесконечного молчания.

– Действительно, – согласился Игнациус, поймав, наконец, зрачками мутный, прыгающий рисунок обоев. От волос ее терпко припахивало эликсиром, и он поморщился. Запах был неприятный. И еще ему было неприятно, что она прижимается. – Конечно, иди. И – не думай, не мучайся – ты мне ничем не обязана.

– А ты очень меня не любишь? – спросила она.

– Очень, – сказал Игнациус.

– Это Ойкумена, – сказала она.

– Нет, это – я сам, – сказал Игнациус.

Нельзя любить женщину, которую не любишь. Потому что тогда начинаешь ненавидеть каждый ее жест, каждую интонацию, каждое ее неосторожное слово. Он сидел в сквере напротив своего института и глядел, как меняются зеленые цифры на табло при входе. Время и температура. Температура и время. Был март. Отсырели и стекли за горизонт дряхлые выдохшиеся морозы. Клочья синевы продрались к полудню из мокрых туч. Хлынули на город потоки рыжего света. Дул резкий ветер с залива, и под тревожным упорством его оседал ноздреватый прогревшийся снег в сугробах. Чернели поперек тротуаров первые неуверенные ручьи. Пучился грязный наст в каналах. Сладкие тягучие соки распрямили артерии тополей и, дойдя до их самых конечных, до самых их тонких веточек, с болью и наслаждением отщепили коричневые почки на них. Прояснившийся воздух стал горек.

У Игнациуса совершенно не было сил.

Капелюхина встретила его нервно и раздраженно:

– Вы опять опоздали, – сказала она.

– Да, – подтвердил Игнациус.

– Это уже не первый случай.

– Я знаю.

– Так больше продолжаться не может.

– Разумеется, – сказал он.

– Я была вынуждена пропустить начало конференции, чтобы лично включить прибор. Я предупреждаю вас самым серьезным образом…

Игнациус, спасаясь, уткнулся в смотровое окошечко. Прибор назывался «ДМЗ» – дестабилизатор механической защиты. Его изобрела сама Капелюхина: обруч, проложенный войлоком, зажимал куриное яйцо, а пульсатор (заостренный на конце

молоточек) тюкал его под заданным углом и с заданной силой. В обязанности лаборанта входило снимать разбитое яйцо и ставить новое. Капелюхина особо следила, чтобы использованные яйца не пропадали. Она уже защитила докторскую и шла прямиком на профессора. Игнациус накинул халат. Сотрудники лаборатории косились на него с острым и нескрываемым любопытством. Он был легендарной фигурой: увольнение, плагиат, скандалы.

– А знаете, Александр Иванович, – обратился к нему кудрявый Гоша, – в Южной Америке обнаружили целый неизвестный народ? Несколько тысяч человек на стадии средневековья. Сплошные загадки. Они появились непонятно откуда, обликом явно европейцы и говорят на языке древних белгов.

Игнациус пожал плечами. Ойкумена не интересовала его. Нельзя любить женщину, которая тебя обожает. Обожание утомительно, оно будто клейкая паутина опутывает человека – хочется немедленно освободиться. И уйти навсегда. Любить можно только безответно. А взаимная любовь – это абсурд. Он нажал кнопку. Пульсатор качнулся и острым клювом тюкнул по скорлупе.

После работы он снова спустился в сквер и уселся на ту же отдельную мокрую, покосившуюся скамейку. Делать ему было абсолютно нечего. Дожидавшийся Анпилогов немедленно подошел к нему, протягивая чистенькие, без морщин, купюры:

– Вот тебе – двадцать рублей.

– Теперь будет – ровно сто. Плата за слепоту и безразличие.

– Не понял, – сказал Анпилогов.

– Я ведь не отдам, – признался Игнациус, улыбаясь и пряча деньги в карман.

– Пожалуйста, – Геннадий равнодушно кивнул. Он был без шапки – худой, хрящеватый, с бледным замерзшим редковолосьем на голове. – Не стесняйся в дальнейшем. Если тебе понадобится еще…

– Ладно, – сказал Игнациус.

– Старик уже звонил к вам в институт – они отрегулируют твою Капелюхину.

– Ладно, – сказал Игнациус. Повернулся и с интересом посмотрел на него – снизу вверх, из ветвей, обнесенных ледяшками. – Значит, ходили в театр? Цветы, шампанское?.. Наверное, поцеловал ей руку?..

Анпилогов покраснел так, что бесцветные волосы его стали казаться чужими.

– Если ты думаешь, что я способен…

– Способен, способен, – сказал Игнациус. – И правильно, что способен. Привет – Геннадий…

Он пошел на другую сторону улицы. Запрещая, горел светофор, и машины, негодующе разбрызгивая слякоть, шарахались от него. Обрывались сосульки. Часто капало с крыш. Красное вечернее солнце растекалось в зеркальных витринах универмага. Бурлили у метро зловещие толпы народа. В половину неба пылал над черными трубами холодный желтый закат. Там, по-видимому, догорала Ойкумена. И в агонии корчились злобные панцирные жуки. Месяца три, не больше, подумал Игнациус. Предположим, он доживет до семидесяти. Это в лучшем случае. Значит – март, апрель, май. Начало июня. Нельзя любить женщину, если – март, апрель, май. Начало июня. В лучшем случае. Вообще невозможно любить. Он механически топтал скользкую ледяную кашу. Трамваи отбрасывали с рельсов фонтаны воды. В конце проспекта на шелковом полотнище неба темно-синей трехглавой громадой теснились широкие купола собора. Время было как этот закат. То есть – красного цвета и желтого цвета. И такое же, как закат, холодное. Беспощадным потоком своим оно пронизывало его – вымывая всю жизнь, оставляя пустую ненужную скорлупу.

Он свернул вдоль собора. Валентина уже поглядывала на часы. Изнывающий Пончик буквально подпрыгивал.

– Папа, ты только недолго, – противно загудел он, приседая и дергая Игнациуса за рукав. – Десять минут погуляем и ладно? А то мы собрались в кино…

– Какое кино?

– Про пиратов…

– Он давно просится, – объяснила Валентина. – А на завтра сеансов не было.

– Не хочу с тобой гулять, – ныл Пончик. – Ты меня водишь-водишь по улицам – скучно… А Серегин папа купил ему настоящее большое ружье. Ну, не настоящее – стреляет пробками. Ка-ак даст!.. Ну, давай не пойдем гулять сегодня, а то в кино не успеем…

Валентина тряхнула его за мокрый воротник.

– Помолчи!

– Ну, чего – я? Я только хотел…

Валентина еще раз тряхнула его:

– Помолчи!

– Тогда до свидания, крокодил, держи корягу, – с облегчением сказал Игнациус и протянул пятерню.

Пончик шлепнул по ней.

– Взаимно!

Валентина, однако, не уходила.

– Мы могли бы пойти вместе, – наконец сказала она. И на скулах ее зажглись знакомые мятые пятна. – Я купила по случаю три билета – на всех…

Игнациус моргал в изумлении. Желтые полосы заката утягивались за собор, небо быстро темнело, и горький прозрачный воздух наливался губительной чернотой.

Он отчетливо произнес по-испански:

– Возьми все что хочешь, сказал бог. Возьми. Но заплати за все.

Жутковато, как будто из другой галактики, прозвучали гортанные переливы на вечерней мартовской капающей и текущей улице.

– Ну и дурак, – высокомерно сказала Валентина. Застегнула перламутровые пуговицы на шубе и как фурия обрушилась вдруг на неповинного Пончика. – Что ты ноешь?.. Ты замолчишь наконец?..

Игнациус смотрел, как они идут вдоль проспекта, к далекой трамвайной остановке: жужелица-Валентина заколачивала каблуки в асфальт, а светлячок-Пончик подпрыгивал, не успевая за нею.

Честно говоря, он был только рад.

Нельзя жить в мире, от которого сохранились одни развалины: призраки, пепелища, сладкий дурманный ветер над скелетами голых руин.

Он вздохнул. В автобусе его стиснули так, что тупая заржавленная игла, давно уже появившаяся в груди, беспокойно заныла – приближаясь к сердцу. И до сердца ей оставалось совсем немного. Был час пик. Не хватало пространства. Майский жук в роговых очках давил на него распухшим портфелем, две вертлявые, тощие стрекозы, прихорашиваясь, терлись о спину, а молодой джинсовый паучок больно упирался в ребра острыми костяными локтями. Копошились гибкие крючки и жвалы. Ойкумена все-таки настигла его. Победить, оказывается, невозможно. Реальны только поражения. Пустыня может быть полна людей и все-таки оставаться пустыней для того, кто пересекает ее. Идущий за миражом гибнет.

Он немного постоял на площадке и открыл дверь. Горгона караулила его в прихожей:

– Краля твоя опять сортир не вымыла, – просипела она. – Я ей говорю: насыпь хлорки в горшок, вонять не будет, а она не сыпет. И коклету мою, обратно, слопала. Она думает, если ночью пришла и на цыпках по колидору пробегла, так ее и не слышно. А я чутко сплю, дергаю одним ухом: вышла – кто там шебуршит?

А это она посередине кухни – босая, в исподнем, сиськи торчат – и коклету мою, обратно, лопает. Я ей вежливо говорю: зачем мою коклету лопаешь, паскуда? Я больными ногами иду в магазин, покупаю собачьего фарша за двенадцать копеек, жарю его на малгарине, поливаю купоросом, чтобы не отравиться, и делаю себе коклеты для организма. А ты мои коклеты нахально лопаешь посреди ночи. Так ее думала пристыдить, думала, совесть у нее найдется. Куда там! Поворачивает тараканьи свои бельмы, нагло дожевывает и говорит: у вас, говорит, гальюнации, Анастасия Никодимовна… Какие-такие гальюнации? Сроду у меня гальюнаций не было… А живет, говорит, в нашем доме человек по имени Клопедон. Никто его не видел, и квартира его неизвестно где. А только, значит, живет. Вот этот самый Клопедон – ему сто лет. Он еще до революции здесь дворником служил и все ходы знает. Днем Клопедон спит, а ночью бродит по лестницам, палец у него железный – отпирает любую дверь. Людей он не трогает, а где чего съестного найдется, вмиг заберет и стрескает. Это он вашу коклетку утындырил. Я, говорит, когда на этаж поднималась, он мне навстречу попался: здоровенный такой мужик, голова, как котел – пустая, рожа – красная, обваренная, вместо волос – швабра, и глаза светятся. Вообще, говорит, он смирный, но если, например, кому коклету жалко, то может и убить. Потому что ему тогда стыдно делается за свой аппетит. Аппетит у него – страшный. От стыда и убивает. Так что вы, Анастасия Никодимовна, по вопросу о коклете громко не выступайте, а то Клопедон услышит и, значит, – того…

– Как фамилия? – переспросил Игнациус, стараясь протиснуться мимо нее к дверям.

– Клопедон, – таинственно понижая голос, повторила Горгона. – Вот гальюнация так гальюнация, я теперь заснуть не могу – вижу: стоит мужик в шароварах, сам голый, голова, как чугунный котел, перевесилась, и мне пальцем грозит: у-у-у, старая!.. – Горгона обидчиво шмыгнула. – Уж, казалось бы, месяц живем, подружились, вон ты давеча мне кошачьей шерсти в кастрюлю настриг, так я ничего – выловила и обратно к вам…

– Хорошо, – сказал Игнациус. – Я завтра поговорю с ним, я его знаю, действительно – Клопедон, он у нас в институте вахтером работает. Вдумчивый, серьезный товарищ. Не переживайте, Гор… Анастасия Никодимовна, лично к вам он больше заходить не будет.

Горгона слегка успокоилась и вытерла мягкий нос огромным платком.

– Я тебя уважаю, Санваныч, ты человек положительный, а краля твоя хвостом вертит. Только ты из дома, она – щелк,

и нет ее. Какая-такая работа до полуночи? С шаромыжниками гулять – такая работа!.. Взял бы да отхлестал вожжами, она тебе кто – жена невенчаная? То-то и оно, а ты размяк, дурень. Прибей и выгони, покажи характер! – Горгона энергично кивала. – Может, тебе водочки налить? Весь-от посинел, прямо малиновый…

– Я не пью, – сказал Игнациус.

– Потому и добрый.

Погремев чем-то в шкафчике и неразборчиво пошептав, она налила ему треть стакана. Водка была очень противная. Игнациус, морщась, выпил и пошел в свою комнату. Там было прибрано, проветрено и даже вымыт крашеный пол. На расправленной чистой клеенке белела записка от Ани: «Не ищи меня, больше сюда не вернусь». Аккуратные строчки на длинном клочке бумаги. Игнациус пожал плечами и скомкал ее. В общем-то ему было безразлично. В открытой форточке грохотала шальная капель. Хлюпало, ухало, чмокало и свистело. Мазнуло по лицу водяной прилипающей пылью. Комья снега подтаивали между окон. Он во весь рост повалился на скрипнувшую тахту. День заканчивался. Растекались минуты. Водка совсем не действовала на него. Нельзя любить женщину, которую уже любил когда-то. Когда-то очень давно, много лет назад. В пылких снах и юношеских мечтаниях. Вообще невозможно было любить. Потому что – бессмысленно, и потому что – напрасно. Потому что теряешь тогда – все, что есть. Потому что любовь пожирает – всю жизнь, без остатка. Отдаешь целый мир и ничего не получаешь взамен. А идущий за красочным миражом – погибает. Водка все-таки медленно действовала на него. Стало жарко. Дремотное сознание прояснилось. Игнациус дышал в узорчатую ткань тахты. Как в туманном волшебном зеркале перед ним выплывало: диссертация, Жека, Анпилогов в ботве… вечно ноющий Пончик, метания, провал на защите… помертвевший бессильный Созоев, остекленелый Грун… Валентина в распахнутой шубе, чужое лицо матери… Он как будто перелистывал альбом своих давних потерь. Фотографии, серый картон. Альбом идиота. Страница за страницей проваливались в никуда. Дождевой будоражащей свежестью тянуло из форточки. Аня села вдруг на тахту рядом с ним – наклонившись и положив ладонь на затылок. Тем же запахом эликсира веяло от нее. Пальцы были холодные и чуть влажные.

– Ты не спишь? – спросила она.

– Нет, не сплю, – после паузы ответил Игнациус.

– К сожалению, я не могу уйти. Я как будто привязана к этому дому…

– Очень жаль. – Игнациус замолчал.

Аня вздрогнула и немного поежилась:

– А на улице – сыро и все течет…

– Просто оттепель, – неохотно сказал Игнациус.

– Просто оттепель? Я думаю, что уже – весна…

– Ну – не надо, не надо! – сказал Игнациус. И рука, которая гладила его, осеклась. Аня выпрямилась и, кажется, стиснула зубы.

– Ты, конечно, мне не поверишь, но я люблю тебя.

– Сообщи об этом по радио, – сказал Игнациус.

– Я люблю тебя, и поэтому погиб Персифаль…

Наступило молчание. А через секунду:

– Ах, вот как?..

– Он не мог стать мне мужем, потому что я любила тебя.

– Ну – не надо, не надо! – вторично сказал Игнациус.

– Тебе очень плохо? – спросила она.

– Нет, пожалуй, терпимо, – ответил Игнациус. – Все-таки единственный, кого я жалею, – это Персифаль.

И опять наступило молчание, точно обрезало.

– Но ведь я ничего не могла поделать, – сказала она.

– Ты нисколько не виновата, – сказал Игнациус. – Может быть, но если не любишь, то – всегда виноват.

– Да, конечно, я – виноват, – согласился Игнациус.

– Нет!.. Не думай!.. Я вовсе не о тебе!..

– Хорошо, – терпеливо сказал Игнациус, – пусть я не виноват, но я тебя не люблю. Не люблю, не люблю! И давай на этом закончим!.. Все! Закончим! Закончили! Теперь – уходи!.. – Он задвигал локтями и перевернулся на спину. Потолок был ободранный, в летаргической паутине годов.

– Как ты думаешь, сколько тебе осталось? – спросила Аня.

– Я не знаю… Немного…

– В июне?

– По-видимому, июнь…

– Обещают, что июнь будет очень жаркий.

– Ну уж это мне теперь все равно…

– И потом, неизвестно еще, а вдруг ты ошибся?..

– Не волнуйся, я не ошибся, – раздраженно сказал он.

Сел рывком и в надтреснутом зеркале на стене увидел свое отражение. Постаревшее, серое, осунувшееся лицо. С утра протекли уже три месяца, но пока изменений не было. Только, кажется, немного побелели виски. Он придвинулся к зеркалу и повернулся в профиль. Да, действительно, чуть-чуть побелели виски. Да, действительно, виски чуть-чуть побелели.

– Я не ошибся, – вяло сказал он.

Глава 11

У него обнаружили геронтофагию, «пожирание старостью». При этой болезни резко ускоряются некоторые обменные процессы в организме, постепенно выпадают волосы, тускло обесцвечиваются глаза, ревматическая боль нежно покусывает суставы. Начинается преждевременное старение. Человек как бы скользит по возрасту, пробегая за один день несколько месяцев своей жизни. Субъективно это почти не ощущается. Полагают, что геронтофагия связана с распадом биологических часов. Или с нарушением психологического восприятия действительности. Как-то примерно так. Я не специалист. Болезнь эта чрезвычайно редкая и чрезвычайно загадочная. Причины возникновения ее непонятны. Никаких лекарств нет.

Игнациуса обследовали очень долго и очень тщательно. Ему предложили лечь в клинику и поставили на медицинский учет. Он, естественно, от всего отказался. Как и многие на исходе лет, он испытывал острую неприязнь к врачам. Недоверие. Смутную настороженность. Раз в неделю его посещал участковый терапевт. Но и только.

Он остался жить в своей прежней квартире, хотя Горгона писала слезные жалобы в горисполком, требуя выселения заразно больного тунеядца. Геронтофагия не опасна для окружающих. Ему дали бюллетень до конца года, и у него образовалась масса свободного времени. Он не представлял, куда его тратить. Он вставал рано, потому что страдал бессонницей – день проходил в утомительном перемалывании длинных, как эпохи оледенения, светлых и пустых часов. Он физически чувствовал это время, текущее сквозь него. Будто поток проникающей радиации. Ночью он обычно лежал без сна, распахнув легкие веки, и в зашторенной темноте слушал безжалостный треск секунд. Он совсем ни о чем не думал. Думать было утомительно. Его никто не навещал, потому что он не хотел этого.

Я его знаю – грузный, большеголовый, неопрятный старик в мятом костюме и разношенных плоских туфлях со шнурками, зажав коленями отполированную палку, положив бульдожьи щеки на набалдашник, неподвижно сидит на скамейке в пыльном сквере и глазами из бутылочного стекла упирается в какую-то далекую, непонятную, одному ему видимую точку. Сжатые губы – изогнуты. Рефлекторно подрагивают пегие кустики бровей. Вспоминает ли он при этом о чем-нибудь давно позабытом или, наоборот, старается изгнать нечто из памяти – неизвестно.

Сквер у нас небольшой, он разбит на месте снесенного

углового дома, две глухие стены без окон огораживают его. С левой стороны проходят трамвайные рельсы на булыжнике, а по правую руку – шумная, многоголосая, торопливая улица. Несколько чахлых, измученных тополей, тянущихся к небу ветвями, заколоченная в землю кремнистая щебенка, детский квадрат с окаменевшим песком и застрявшие на полувзмахе качели. Пейзаж довольно унылый. Однако народу хватает. Скамейки обыкновенно заняты. Даже на песочнице устраиваются говорливые старухи. А вот он всегда один – к нему не подсаживаются. Он не разговаривает ни с кем, не читает газет и затрепанных пухлых журналов, не присматривает за детьми, не играет в бесконечные шашки со знакомыми из ближайших парадных. Как я догадываюсь, пенсионеры нашего района, спаянные многолетним общением, тихо ненавидят его. Он – сам по себе.

Однажды, чисто случайно, даже не подозревая о сложных дворовых отношениях, исторгнувших его, я уселся рядом, и он рассказал мне свою историю. Видимо, это была минутная слабость. Иногда желание рассказать угнетает хуже любой болезни. А может быть, я ему просто понравился. Трудно судить. Была середина мая, ранняя густая теплынь, незрелое солнце, клейкая зеленая опушь в кронах тополей, и мне странно было слушать про таинственную Ойкумену, лежащую на границе дня и ночи, про великое царство насекомых, все-таки разрушенное человеком, про загадочные часы на башне, в стрелках которых запутался ход времен, про яростного свирепого Экогаля, про Арлекина, изменника и борца за справедливость, про несчастного забытого Груна, который умер, потому что дочь Мариколя не смогла полюбить его.

А закончив, он равнодушно спросил:

– Вы мне, конечно, не верите? Правда?

– Не знаю, – честно ответил я.

Мне казалось, что он меня разыгрывает. Все это звучало как сказка. Невозможно было поверить в нее, сидя на скамейке, в центре огромного города, под перестук трамваев и быстрое упорное шуршание прилипающих к асфальту шин.

– Не знаю…

Он обиделся и опять замкнулся в себе. С тех пор, пересекая сквер по пути к дому, я непременно здоровался с ним, но он мне уже не отвечал и даже не поворачивал головы в мою сторону. Люди часто жалеют об излишней откровенности. В начале июня, когда навалилась слепая жара, его все-таки забрали в клинику, и больше мы не встречались.

Вероятно, я уже никогда не услышу о нем.

Вероятно.

Жизнь смывает и не такие истории.

Кстати, я видел Аню и даже разговаривал с ней. Мы как-то столкнулись на улице, и она спросила что-то об экзаменах в нашем институте. Кажется, она собиралась туда поступать. Она действительно очень симпатичная, но ничего особенного – такого, чтоб потерять голову – я в ней не заметил.

Красивая девушка – вот и все.

Некоторое время она еще жила в нашем доме, а потом вышла замуж и переехала.

Сад и канал
Повесть

1. Зверь пробуждается

Полковник был мертв. Он лежал на ступеньках, ведущих к воде, черные тупые ботинки его облепила ряска, а штанины форменных брюк были мокрые до колен. Словно он перешел сюда с того берега. Он покоился навзничь, – пальцы, как птичьи лапы, скрючились над лацканами пиджака, а от головы с восковыми залысинами отслоилась фуражка. Неподалеку валялся знакомый портфель, застегнутый на кожаные ремни. Удивительно было видеть их по отдельности: портфель и полковника. Раньше мне казалось, что они неразлучны. Вот полковник вылезает из «Волги» – отдуваясь и прижимая портфель к животу; вот он неторопливо пересекает набережную, и портфель чуть покачивается у него в руке; вот он завтракает, сидя на ящике в углу стройплощадки, и тогда неизменный портфель, поставленный между ног, сжат щиколотками. Уж не знаю, как он обходился с портфелем дома. Возможно, и спал вместе с ним, положив под голову вместо подушки. Во всяком случае, на улице он не выпускал его ни на секунду. Но не это окончательно убедило меня. Убедило меня нечто совсем иное. Убедило меня его изменившееся, какое-то сильно заострившееся лицо. Оно как бы выгорело, сожженное невидимым солнцем, провалилось, обуглилось, мутным камнем светлели морщинистые белки в глазницах, старческое мясо с него исчезло, кожа, превратившись в пергамент, присохла к костям, точно на муляже, выделялись на ней мышцы и сухожилия. Полковник сейчас неприятно походил на мумию. Правда, я никогда в жизни не видел мумий. Мертвецов, впрочем, я тоже еще никогда не видел. Я присел и осторожно потянул на себя крышку портфеля. Неожиданно он раскрылся, и высыпались изнутри какие-то документы, какие-то синеватые папки, какой-то сверток, видимо завтрак, обернутый полиэтиленом. Ничего этого я трогать, конечно, не стал. Еще чего! Потом хлопот с этим не оберешься. Я лишь попытался накинуть крышку обратно и, не вставая, как можно дальше отодвинулся по ступенькам.

Ситуация в данный момент была такая: справа в кустах что-то ворочалось, мокро отхаркивалось, трещало ветками. Иногда раздавался звук, будто проволокли по земле тяжелую дряблую тушу, и затем – вдруг похныкивание и лепет, как у испуганного ребенка. В общем, складывалось ощущение, что соваться туда не следует. А вот по левую руку пока было сравнительно тихо. Зато там, будто бабочки, подпрыгивали над кустами крохотные синеватые огоньки. Честно говоря, огоньки эти мне тоже

не слишком нравились. Какие такие огоньки, понимаете? Откуда они возникли? Однако больше всего мне сейчас не нравился сам Канал. Почему-то он зарос мелкой ряской, хотя еще вчера был вроде бы совершенно чистый; поверх душной ряски лежали широкие листья кувшинок; на некоторых из них уже распустились темно-желтые, светящиеся, пальчатые цветы, и аромат сладкой гнили, который они источали, затекал в ноздри. Я чихнул. Никаких кувшинок, по-моему, вчера тоже не было. И вдобавок на другой стороне Канала, там, где крепкие уродливые деревья образовывали кронами почти сплошной лиственный свод, будто души воскресших, поднявшиеся из преисподней, спотыкались и выламывались в хороводе приземистые фигуры. Что-то мерзкое и, кажется, не совсем человеческое, что-то ископаемое, землистое, с ужасно вывернутыми в стороны локтями и голенями. Как бревно, висел среди них голубоватый луч прожектора со стройплощадки, и они ударялись в него именно как в бревно, вскрикивая жутковатыми голосами и после – отскакивая. А в довершение всего этого несколько бесовского действа с колокольни, черным многосуставчатым пальцем упертой в небо, медленно выкатился и поплыл в воздухе удар колокола. Раз… и еще раз… и еще – все чаще и чаще… На секунду все вокруг как будто оглохло. Я заметил, что по этажам ближних домов поспешно зажигаются окна. Со стуком и звоном распахивались задубевшие рамы. Паника, вероятно, охватила уже весь этот квартал. Затрещала сигнализация в Торговых Рядах. Под их мощными позапрошлого века арками замелькали фигуры охранников. Слабенько хлопнул выстрел. Запипикал дежурный звонок, взывая о помощи. Я уже догадывался, что тут происходит очередное «явление». Кажется, девятнадцатое по счету и, видимо, именно здесь – его эпицентр. Угораздило меня оказаться точнехонько в эпицентре. Впрочем, поручиться за это, конечно, было нельзя. При «явлениях», как известно, ни за что поручиться нельзя. На то оно и «явление», чтобы опровергать любые наперед высказанные прогнозы. И эпицентр, если его вообще удастся когда-нибудь определить, вполне возможно, находится совсем в другом месте.

Главное сейчас было – не дергаться. Обтерев о камень пальцы, трогавшие портфель, пригибаясь, чтобы со стороны меня не было видно, я перебежал к кустам, где подпрыгивали те самые крохотные огоньки. Почему-то огоньки мне сейчас казались наиболее безобидными. Россыпь их тут же брызнула от меня в разные стороны. Сучья и разлапистые колючки кустов цепляли одежду. Я надеялся, что в гуле набата не привлеку ничьего внимания, но едва я присел и втиснулся под акацию, в тесную,

узорчатую от проблесков, корневую душную черноту, отдуваясь и прижимая сердце, выпрыгивающее из груди, как испуганный голос окликнул меня: «Это кто там?.. – а потом вдруг заплакал и застонал в тихом ужасе: – Уйдите, уйдите!..» Напряженные руки отталкивали меня в плечо, я, наверное, секунды четыре не мог справиться с выгнутыми локтями – наконец, проломил их сопротивление и прижал к телу, в это время внезапно оборотился на нас слепящий зрачок прожектора, и в раздробленном листьями, мертвенном, ртутном его тумане я вдруг узнал, отрезвев на мгновение, соседку из нижней квартиры. Звали ее, кажется, Маргарита. Скрученное сбитое платье, растрепанные со сна волосы. И она, по-моему, тоже узнала меня: обмякла, мелко дрожа, и перестала отталкивать. Трудно было что-нибудь разобрать в ее захлебывающемся бормотании. Вероятно, она не понимала сама себя. Ей казалось, что это были какие-то огромные площади, скверы, улицы, пульсирующие аппендиксы переулков, съехавшие чуть ли не до асфальта крыши, клочковатый дым, фонари, подергивающие змеиными головами. Почему-то все это сворачивалось вокруг тугой сферой, насмерть втискивалось друг в друга, потом куда-то проваливалось. А из трещин просевшего неба сыпались мелкие камешки. Нет, конкретного места она, разумеется, не помнила. Но зато она помнила, по ее словам, как выглядит Зверь. Что-то такое каменное и очень-очень громоздкое: угловатая лошадиная морда, составленная как будто из кирпичей, два чугунных крыла, тумбы лап, грохочущие по мостовой, полный дыма и рыканья, гранитный, неровный, серозубый оскал, глаза – точно из выпуклого стекла. Он, наверное, очень добрый, неожиданно заключила она.

Жаль, что у меня с собой не было диктофона. Персонификация Зверя могла бы представлять интерес для дальнейшей работы. Было бы, вероятно, забавно свести ее, например, с Леней Курицем и потом посмотреть, как Куриц, поправляя очки, надрываясь и кашляя, будто чахоточный, даже немного подпрыгивая от нетерпения, выдавливает из нее информацию. Правда, информации, на мой личный взгляд, здесь было негусто. Но ведь Леню Курица подобные затруднения, конечно, не остановят. Как однажды довольно-таки обидно заметила Леля Морошина, нет дурака хуже энтузиаста. Леня Куриц откроет свою знаменитую папку, крест-накрест стянутую бельевыми резинками, сварит крепкий до ядовитости кофе, закурит тридцатую в этот день сигарету, строгим голосом предупредит об ответственности за дачу заведомо ложных сведений и затем будет спрашивать, спрашивать, спрашивать хоть

трое суток, без еды и без отдыха, пока не вывернет свидетеля наизнанку. В этом отношении на него положиться можно. Между прочим, и для нашей Комиссии она тоже могла бы представлять интерес. Мысль об этом мелькнула у меня в голове и тут же пропала. До разбора в Комиссии нам обоим – и Маргарите, и мне – еще требовалось дожить. Обстановка пока этому не благоприятствовала. Заунывный железный скрежет донесся со стройплощадки. Я вздрогнул и оглянулся: оказывается, пришел в движение громадный башенный кран; решетчатый палец его стрелы медленно поворачивался, и на тросах под ним, будто мертвое солнце, покачивался чугунный шар. Вот он, наращивая скорость, бесшумно проплыл по небу, вознесся, когда стрела внезапно остановилась, немного вперед, и с размаху ударил в бетонное здание, стоящее на особицу. Я невольно, будто во сне, обернулся к полковнику. Но полковник по-прежнему был безнадежно мертв. Стенка здания покачнулась и с приглушенным грохотом осела на землю. Душное темное облако пыли вспучилось на этом месте. Оно быстро распространялось, накрывая собой окрестности. Один за другим пропадали в нем блеклые зрачки фонарей. И вдруг эту пыльную загробную муть прорезали огни милицейских мигалок. Заметался панический синий блеск. Окна ближайших домов мгновенно погасли. А из улиц, сходящихся к изгибу Канала, раздались шипение и громкий металлический лязг. Две продолговатых бронемашины, как крокодилы, вдруг выскочили оттуда, люки у них откинулись, и солдаты, горохом посыпавшиеся с бортов, побежали – ощерясь оружием и фонариками.

Одновременно глухим басом заухала и завопила сирена. Это означало, что начинается экстренная локализация зоны «явления». Управление безопасности было сегодня на высоте. Наш горисполком, слава богу, наконец-то научился работать. Но с другой стороны, это означало, что вокруг нас стягивается сейчас кольцо оцепления. У меня оставались какие-то считаные минуты, чтобы вырваться из мешка. Значит, так, сказал я резким шепотом, непрерывно оглядываясь, от меня не отставать ни на шаг, не кричать, не шарахаться, главное – не мешать. Делай как я и, пожалуйста, не возражай. Будешь рыпаться – я тебя просто брошу. Надеюсь, ты меня поняла?.. Маргарита неистово кивала после каждого моего слова. Тихонечко поползла вслед за мной, шурша коленями и локтями. Мы раздвинули кромку кустов, обрамляющих сквер: тусклым лунным изгибом сияли впереди трамвайные рельсы, одинокий фонарь освещал часть асфальта и крону широколистого дерева, а под деревом, с другой его стороны, прячась в тени, затаился солдат с автоматом.

К счастью, он в этот момент шевельнулся, и что-то у него там блеснуло. Значит, путь напрямик, то есть самый короткий, для нас был безусловно закрыт. Мне совсем не хотелось объясняться сейчас с солдатами. Прикрываясь кустами, мы осторожно перебрались в сторону стройплощадки. Там стоял какой-то мерклый, сухой туман, видимо от еще не осевшей пыли. Воздух, словно от радиации, немного светился. Громоздились бетонные блоки, жутковатая разломанная арматура. Рыбьей серостью пучились брошенные мешки с цементом. Маргарита сразу споткнулась и шлепнулась в проем между ними. Вероятно, она ушиблась, но, к чести ее, даже не застонала. Лишь протерла глаза, оставив на лице белые мучные разводы. Тем не менее вся картина от этого немедленно изменилась. Что-то произошло, что-то незаметное, какое-то легкое потрясение. Расселся вдруг штабель досок неподалеку, сама по себе крутанулась рифленая ручка лебедки. А за пяльцами голых ободьев ее, выпирающих лепестками, будто призрак из преисподней, вдруг выпрямился человек.

Он был длинный, как бы растянутый слепящим светом прожектора, угловатый, нелепый, в тяжелом суконном костюме и даже при галстуке, уголок носового платка высовывался из кармашка, а орлиный горб переносицы оседлали узенькие профессорские очки. Стекла их были точно залеплены молоком. Подпрыгивал, выступая вперед, острый клинышек бороды. Я успел рассмотреть это все до мельчайших подробностей. «Что?! Дождались Второго Пришествия?! – выкрикнул человек тонким голосом. – Шатается и сотрясает стены свои Храм Подземный!.. Крысы – синего цвета!.. Железный репейник на площадях!.. Шелестит, разгораясь страницами, книга вечного Апокалипсиса!.. Кровь, как мертвое время, сочится из букв его!.. Встают с камней мумии, и сухие глазницы их взирают на то, чего не видит никто!..» Он сорвался на визг, взлетевший в мутную небесную пелену. Я чуть не высунулся наружу, потому что узнал в нем известного всем «профессора». Тоже мой сосед, кстати из квартиры напротив. Он уже дней пять, если не ошибаюсь, числился пропавшим без вести. Значит, все это время он просто скрывался на стройплощадке. Фары выскочивших транспортеров скрестились и поймали его в дымящийся яркий фокус. Профессор пошатнулся, видимо ослепленный, но отнюдь не упал, а стал, напротив, как бы еще длиннее. А за узкой спиной его заплясали разнообразные тени: многорукие, кажется, многоногие, ломаные по всем мыслимым измерениям. Без единого звука выскакивали они, как чертики из коробки, и стремительно падали-корчились, по очереди продвигаясь к лебедке. Я не сразу

сообразил, что это – солдаты с дубинками. «Руки за голову!!! Стоять!!!» – вдруг камнепадами звука загрохотало из невидимого усилителя. Хорошо, что нас закрывали мешки с цементом. Мы вообще находились несколько в стороне. Тени прыгнули на человека – сшибли его и потащили. На мгновение образовался ком, дергающийся головами и локтями. Оглянувшись, я увидел, что под деревом уже пусто. Вероятно, солдат, охранявший подходы к дому, тоже ринулся на перехват. Во всяком случае, путь к нашей парадной теперь был свободен. Я так и не понял, как мы с Маргаритой перебежали на противоположную сторону. Не уверен, но кажется, на мосту нас невнятно окликнули. И, наверное, даже выстрелили: я услышал противное «вжик!» где-то слева. Пуля чиркнула по камням и, к счастью, ушла в неизвестность. Снова – громко и неразборчиво заревел мегафон, но тугая парадная дверь уже закрылась за нами. Отчетливо щелкнул замок. Я немедленно передвинул на нем шпенек блокировки. Все-таки лучше, чем ничего. Я всем сердцем надеялся, что взламывать дверь в парадную они все же не будут. Согласно утвержденной инструкции о «явлениях» этого не полагалось. Впрочем, так же, по той же самой инструкции, использование оружия тоже категорически запрещалось. Ну и что? Когда у нас соблюдались хоть какие-нибудь инструкции? Однако теперь мы вроде бы получили некоторую передышку. Может быть, до своих квартир добраться успеем. Было тихо. Маргарита, как дряблая тряпичная кукла, оседала по стенке. Горло у нее втягивало и выталкивало нагретый воздух. Я сказал, буквально запихивая ей в сознание каждое свое слово: «Поднимайся к себе и сразу же, слышишь, сразу же ложись в постель! Постарайся заснуть, и если потом тебя спросят, учти: ты сегодня на улицу вообще не показывалась!..» Слабо кивнув, она потащилась наверх, оскальзываясь по ступенькам; еле слышно, по-видимому в беспамятстве, бормотала: «За что это нас?.. За что?.. За что?..»

Я подождал, пока за ней закроется дверь. А потом тоже медленно, преодолевая одышку, начал подниматься к себе. Наверху меня ждали проснувшиеся близнецы. И жена, вероятно, уже металась по всей квартире, высматривая меня из окон. Наверное, уже раза четыре звонила мне на работу, и можно было только надеяться, что эти звонки не зафиксированы в рабочем журнале. Время как-никак было предельное – три часа ночи. Не хватало еще, чтоб я сам давал путаные объяснение перед нашей Комиссией. И однако даже не это сейчас меня по-настоящему беспокоило. Беспокоило меня сейчас нечто совершенно иное. Я по-прежнему видел лежащего на Канале

полковника, мокрые его полуботинки, концы брюк, облепленные ряской и какими-то веточками, торчащие прямо из лацканов кителя птичьи лапки и особенно, конечно, лицо: высохшее, потемневшее, желто-коричневое, как у мумии – с блеском стекловидной кожистой пленки в глазницах. Вот что сейчас беспокоило меня прежде всего. Я даже не сразу сумел вставить ключ в замочную скважину. Руки у меня дрожали, и бородка ключа почему-то не втискивалась. Она не втискивалась и не втискивалась, как бы я ни старался. Я уже отчаивался и думал, что придется, по-видимому, осторожно стучать. Очень уж не хотелось мне осторожно стучать. Однако до меня наконец дошло, и я просто перевернул ее другой стороной.

Это был первый настораживающий эпизод, который коснулся лично меня. А вторым таким эпизодом была разразившаяся через неделю гроза.

Лука Вепорь в середине восемнадцатого века писал:

«Бысть град ночей – камен, со дворы и домы велыки, и укоренишася без корней… А се месьто еси рекомо – Болото… Бо без дна еси и железныя травы кровянолисты поверьх яво… Таково же и есть град ночей: домы зеркальны, голанская черепица на них, а углы тех домин в муравленных израсцех… Како сладостный морок для сна и погибели стояша оне… Воды неба вкруг них лежаху хрустальны… Желтым цветомь, и рудым цветомь, и цветом тараканного олова… Мнози мняще покрыцем и златоми облекоша… Чюдна музыка играху в них со день до нощь… Проникаще иде во камен и содеяху томление… Нодевающо поясы и колпакы шутовьския, и танцоша, как обезумевши, и всюду толпяшась, и веселяхося серьди камня… А не ведомо убо в веселии человец, что се месьто еси рекомо – Болото… Бо без дна и железныя травы кровянолисты поверьх яво… И живе во земле, во Болоте, яко кладница, некое Тварь… Рожем своим бородавчата, а сути назваша есмь Угорь… Так сю Тварь назваша со скудних времен… Лупыглазех, аки беси во мраке, собой пузатех, во пятнох мнозих, сы задней плавницей… И тело свое надуваемо болотней водой… Камен-град, со дворы и пороги, стояша на Угоре, како на тверди… И пробудишося, и ракоша, и мнози развяша яво иными членами… И содешося от того тряс велыкий, и поиде с Нево-езера вода, выдохьнутая сим Тварем, и двое дни набиралась она во камен, и камен изъела весь… А с того пресекаху до срока летныйсая нощь, и стонаху, и свет в ней загорашася беле нечеловеций… Како бысть и зовут ея теперь – белыя нощь… И гореть яму – пока исполнится крайний срок»…

Документ был написан на хрупкой истлевшей бумаге, слегка обломленной по краям. К сожалению, он попал в мои руки слишком поздно. К тому же это была только первая его часть, по содержанию, кстати, весьма и весьма туманная. Окончание документа я разыскал лишь в середине августа, когда события уже приняли необратимый характер. Впрочем, даже если бы я получил обе части одновременно, я бы вряд ли тогда ими серьезно заинтересовался. Скорее всего, я не обратил бы на них никакого внимания, потому что главным событием того времени для меня действительно явилась гроза.

Я очень хорошо помню тот день. Была пятница, жуткая духота, и на работу я приехал только к одиннадцати. Вся наша Комиссия к тому времени уже кипела от разговоров. Обсуждалось, конечно, «явление», которое перепахало собой прошедшую ночь. Я, оказывается, ошибся, оно было не девятнадцатое, а восемнадцатое по счету. Так, во всяком случае, указывалось в официальных бумагах. К нам уже поступили первые иллюстративные материалы, разумеется пока еще очень сырые и требующие дополнительной обработки. Тем не менее кое-какие выводы сделать уже было можно. Сообщалось, например, что «явление» в этот раз длилось более четырех часов (срок вполне достаточный, чтобы его грамотно локализовать) и, по-видимому, захватило площадь несколько большую, чем обычно. Интенсивность его также была достаточно высока: наблюдались видения, переходящие в массовые галлюцинации, и, как обычно, центральным пунктом видений был образ Зверя. Судя по опросам свидетелей, что такое – мохнатое, длинномордое, размерами с динозавра, но разброс внешних данных был, как всегда, чрезвычайно велик, и свести их к единому облику опять не представлялось возможным. Было, однако, в данном случае и нечто существенное. В этот раз в результате «явления» был, оказывается, разрушен некий военный объект, проходящий по документам округа как «строение дробь тридцать восемь». Таким образом, это был уже второй военный объект, фигурирующий в отчетах. В прошлый раз от сильных пожаров пострадало так называемое строение дробь пятнадцать (на самом деле – склад горюче-смазочных материалов). Группа следователей военной прокуратуры подозревала тогда поджог. Хотя вряд ли здесь можно было говорить о какой-либо закономерности: оба «строения дробь…» находились друг от друга достаточно далеко, в зону «явления» попали, по-видимому, совершенно случайно, и, согласно недавнему разъяснению коменданта округа, безусловно, отличались по своему назначению. Впрочем, в чем именно

состояло назначение этих объектов, комендант все-таки внятно не разъяснил. Да мы, в общем, ни на какие такие особые разъяснения и не рассчитывали. Просто в дальнейшем следовало держать этот любопытный факт в поле зрения.

Тут же, между прочим, крутился и Леня Куриц. Как всегда – суетливый, хохочущий, рассказывающий самые последние анекдоты, непрерывно заваривающий нашим женщинам чай или кофе, вроде бы беззаботно болтающий, а на самом деле – тщательно процеживающий информацию. У него в нашей Комиссии была какая-то странная роль: как бы добровольный помощник и одновременно – неофициальный представитель прессы. На птичьих правах, разумеется, которые он сам себе предоставил. Иногда его вдруг приглашали и сообщали что-нибудь невразумительное. Чаще все-таки не приглашали, и тогда он просачивался в Комиссию тихо и целеустремленно. Разрешения он, естественно, ни у кого не спрашивал и свое право присутствовать отрабатывал разными незначительными услугами. Однако все это – спокойно, без подобострастия, не переступая черту, за которой уже начинается явственная торговля. Он, наверное, потому и прижился в нашей Комиссии, что всегда ощущал, где проходит эта невидимая черта. В чувстве собственного достоинства ему отказать было нельзя. Правда, сегодня я сразу же обратил внимание, что он явно чем-то встревожен. Честно говоря, трудно было не обратить на это внимание. Сегодня Леня не дергался, будто у него внутри отщелкивали стальные пружинки, не рассказывал анекдотов, не сыпал сплетнями и новостями, собранными по всему городу, не обхаживал с преувеличенной церемонностью женщин, которые были этому только рады, не склонялся к ручкам, не целовал, не клялся в верности до последнего вздоха. Он даже пирожных, по-моему, не притащил, как обычно. Забился вместо этого в угол, нахохлившись и прикуривая сигарету за сигаретой. Брови у него были резко стянуты к переносице. А когда к нему обращались, он вздрагивал и ронял на колени чешуйчатый пепел.

Это было так необычно, что встревожилась даже всегда флегматичная Леля Морошина. Некоторое время она украдкой присматривалась к нему, а потом весьма озабоченно покачала в воздухе карандашом:

– Что-то ты, Ленчик, нынче – того. Ты, Ленчик, наверное, немножечко приболел?

И любопытно, как Леня Куриц отреагировал на ее слова. Он не вздрогнул и не уронил пепел, уже довольно густо усеявший джинсы, не взорвался фейерверком острот, которые у него всегда были наготове, и даже не попытался поддержать разговор.

Он просто посмотрел на нее, как будто никогда раньше не видел, и покачал головой:

– Ничего-ничего, это пройдет…

И вдруг улыбнулся тоскливой, сиротской, какой-то извиняющейся улыбкой.

Честно говоря, увидев эту улыбку, я несколько остолбенел. Потому что ну никак она не вязалась с привычным мне Леней Курицом. Ну не мог известный мне Леня Куриц так улыбаться. Вероятно, в этой внезапной улыбке проступила судьба. Однако о трагической судьбе Лени Курица я тогда еще не догадывался и воспринял как должное, когда он вызвался подвезти меня до библиотеки.

Я, наверное, никогда не забуду эту поездку. Припекало уже с утра, а сейчас ртутный блеск зноя просто неистовствовал на улицах. Палило и распаривало невыносимо. Красный столбик термометра указывал в тени более тридцати градусов. Мутный сернистый жар исходил от асфальта, стекла и камня. Невыносимо сверкали окна обморочных домов. В воздухе слышался шорох – колеса машин приклеивались к мостовой. Душный гнилостный запах выползал из каналов на набережные. Даже солнце к полудню вдруг стало какого-то коричневого оттенка, и расплывчатые тяжелые облака, появившиеся неизвестно откуда, прикрывали его, спускаясь все ниже и ниже над городом. В просветах улиц уже скапливалась белесая пелена. Очертания зданий терялись в ней как в тумане.

Я отчетливо помню, что почти всю дорогу Леня молчал. У него был четыреста первый «москвич», древняя марка, уже давно снятая с производства, в некотором смысле – почти музейная редкость, но – притертый и, чувствовалось, очень крепенький, безотказный, спокойный, надежный, как иногда бывают старые вещи. Ощущалась в нем заботливая рука хозяина. Леня Куриц и в самом деле любил свой «москвич» чуть ли не до потери пульса. Года четыре назад, не пожалев времени и усилий, самостоятельно перебрал весь двигатель, сменил поршни, кольца и разные другие необходимые мелочи, опять же сам где надо подшпаклевал, подклеил, покрасил, и с тех пор, как он выразился однажды, забот у него уже не было. «Москвич» теперь тянул лучше, чем новый. Тем более странно было видеть, как безжалостно Леня относился к нему сегодня, как он резко и яростно дергал его, проскакивая перекрестки, как он разворачивался, выбрасывая из-под шин противный резиновый визг, как он протискивался в щели между машинами, против обыкновения не опасаясь поцарапать обшивку. Точно в нем закипало гневное внутреннее раздражение и, не в силах

противиться, он срывал его на этом стареньком «москвиче». Он уже тогда, вероятно, догадывался, что именно происходит, и метался и мучился в поисках хоть какого-нибудь выхода из тупика, но возникшая у него догадка выглядела настолько неправдоподобно, что он просто не рисковал поделиться ею ни с кем из нашей Комиссии, только бился, точно бабочка о стекло, постепенно ослабевая, и не мог ни рассеять, ни задержать тот мрак, который на нас надвигался.

Потому он, вероятно, и был сегодня удручающе немногословен. Смотрел только вперед, сжимал руль, покусывал губы, и лишь когда мы свернули с горячей, клубящейся серым туманом, оловянной Невы и подъехали к широкому пандусу, опоясывающему библиотеку, он, внезапно затормозив, однако по-прежнему глядя вперед, сильно прищурился и сказал тихим голосом:

– Ты интересовался, кто же вас продает, – так вот я выяснил. Понимаешь, я выяснил, кто вас действительно продает. Вас продает Леля Морошина. Да-да, Леля, имейте это в виду. Я к тому, что вы уж слишком ей доверяете…

Я в это время вылезал из машины и – чуть было не сел обратно.

– Леля Морошина?! Леля?.. Ни за что не поверю!..

А Куриц, все так же глядя вперед и сощурившись, по-собачьи вздохнул и спросил, не поворачивая головы:

– Слушай, Виктор, я когда-нибудь тебя обманывал?..

– Нет, – я вынужден был это признать.

– А ты помнишь случай, чтобы я поторопился с какой-нибудь информацией, чтобы я ошибался или дал тебе неверные сведения?

Мне опять нечего было ему возразить. Я только спросил:

– Откуда тебе известно?

Однако Куриц лишь дернул небритой щекой:

– Ты же знаешь, я не засвечиваю своих источников. – И через секунду добавил, опять зевнув по-собачьи: – Собственно говоря, кому это теперь интересно?

Он, как всегда, попал в самую точку. Но, к сожалению, я в тот момент даже не подозревал об этом. Я был слишком ошеломлен известием насчет Лели Морошиной и потому лишь несколько остолбенело смотрел, как он разворачивается. Вот «москвич» выскочил задними колесами на поребрик, вот он, сдав еще, чуть не задел выступающий угол ограды, вот он стрельнул громким выхлопом из-под днища и, подмигнув тормозными огнями, понесся куда-то в сторону Невского. Леня Куриц опаздывал на встречу с профессором. К сожалению, я этого тоже тогда

не знал. Впрочем, если б и знал, это бы все равно вряд ли что-нибудь изменило. Время было упущено: Зверь проснулся, и темная кровь его уже заструилась по жилам. Пыльная сетка трещин уже появилась на площадях. Проступила сквозь них трава, и ржавчина уже начала обгладывать трамвайные рельсы. День за днем нарастали у нас проблемы со связью. Телефоны то умолкали, то ни с того ни с сего снова начинали работать. А то вдруг соединяли с какими-то совершенно невозможными номерами. Электричество теперь отключалось практически каждую ночь. Причем выяснить действительные причины этих неполадок не удавалось. Инженеры с подстанций божились, что аппаратура у них в полном порядке. Сбои могут происходить где угодно, только не на подстанциях. У меня голова шла кругом от этой непрекращающейся круговерти. И к тому же сейчас мои мысли действительно занимала Леля Морошина. Неужели она в самом деле потихонечку продает нас военным? Вот, значит, откуда такая непрошибаемая уверенность у генерала Харлампиева. И вот, значит, откуда такая непрошибаемая уверенность у генерала Блинова. Ведь на прошлой неделе они просто требовали ввести чрезвычайное положение и при этом ссылались на сведения, которых у них ну никак не могло оказаться. Теперь понятно, откуда у них эти сведения.

Я поднялся по каменным, немного щербатым ступенькам библиотеки. В окнах первого этажа, приподнятых цоколем, отражалась гнетущая духота. Две полированных гранитных вазы стояли в нишах при входе, и возле правой из них распласталась тушка мертвого воробья. Я вдруг сообразил, что вижу мертвую птицу уже не в первый раз. С птицами последнее время вообще творилось что-то не слишком понятное. Словно у них от жары или от пыльной городской атмосферы внезапно лопалось сердце и они, умерев еще в воздухе, безжизненно шлепались на мостовую. Может быть, нам стоит заняться еще и птицами? Все же – факт странный, не получивший пока должного объяснения. Только кто, интересно, будет им заниматься? Я вздохнул, рук у нас не хватало даже для обычной текущей работы.

Духота, однако, стояла чудовищная. Стены буро-красного неровного камня выглядели раскаленными. Жара пропитала собой даже полумрак читального зала, и неудивительно, что очень бледный, буквально до прозелени, с какими-то зачесанными вперед височками молодой человек – в сюртучке, видимо, ощутимо спирающем его узкие плечи, оторвавшись от раскрытого перед ним фолианта чудовищной толщины, весьма недовольно проглядел мой заказ и сдвинул бесцветные брови:

– Таких реквизитов у нас в наличии нет…

– Они у вас есть, – уверенно сказал я.

– То есть вы полагаете!..

– Да, я именно полагаю!

Молодой человек наконец разглядел на заказе шифр нашей Комиссии, после чего поморщился и сдвинул брови еще сильнее:

– Придется немного подождать. Один секунд…

И – исчез, только вялым электрическим светом сиял колпак лампы, распростертый над фолиантом. Я с некоторой натугой приподнял кожаный переплет. Золотое тиснение, вязь, крупный готический шрифт. Золомон Обермоттер «Рассуждения о земных и воздушных иллюзиях». Переплет тупо стукнул о поверхность стола. Вот ведь как! Интересные книги они здесь читают. Именно это издание было указано и в моей заявке. На прошлой неделе, однако, мне сухо ответили, что данная книга временно не выдается. Я уже не помнил сейчас точной причины отказа. Вроде бы находится на реставрации и в настоящий момент не доступна.

Я забарабанил пальцами по деревянной стойке. Мне ужасно не нравилось то, что происходило вокруг в последнее время. Хотя, разумеется, это могло быть и вполне естественным совпадением. Однако же что-то уж слишком много в последнее время таких вот вполне естественных совпадений. Заняться что ли еще и некоторыми совпадениями?

Между тем за огромными окнами библиотеки сгустился мрак. Отражения ламп уходили в него длинными тусклыми вереницами, казалось не имеющим конца. Электрический свет был бессилен перед этими поистине инфернальными сумерками. Вдруг трепещущий бледно-лилейный свет озарил все помещение. Напряглась в ожидании тишина. Жутковатые тени выметнулись по стенам и в ту же секунду опали. Мигнули лампы. Мелкий сдавленный всхлип вдруг донесся из-за стеллажей с книгами. И тут же, словно ссыпался в отдалении целый вагон досок, окатил здание расплывчатый, долгий, как смерть, удар грома. Задребезжали стекла. Заколыхались складчатые портьеры на окнах. Внезапный сквозняк с шорохом, подминая страницы, пролистнул книгу, вздернул вверх узенькую закладку, исписанную, по-моему, по-арабски, и, словно перо, покрутив ее мгновение-другое над головой, рванул вниз и вышвырнул в тревожную темноту коридора.

На секунду мне показалось, что там – пробежали. Молодой человек в сюртучке все не показывался и не показывался. Умер он что ли там у себя в хранилище? Обстановка немного действовала мне на нервы. Тем более что из-за стеллажей опять донеслось

нечто вроде короткого всхлипа.

Ощущение было не из приятных.

– Есть тут кто-нибудь?! – неестественным голосом спросил я.

Ответом мне была все та же напряженная тишина. Новая грозовая вспышка озарила все здание, и буквально сразу же, вздувшись и клокоча, накатился шум ливня. Быстрые, светлые снизу капли побежали по стеклам. Я откинул деревянный барьерчик, преграждающий вход, и пошел вдоль дохнувшего мертвой бумагой, нескончаемого хранилища. В эту минуту люстра, хрустальной бомбой зависшая над потолком, слегка потускнела, зато впереди, как в пещере, проступило какое-то желтое, колеблющееся, слабое марево. Точно от свечи, обдуваемой током воздуха. Запахло горячим воском и терпкой, незнакомой мне, раздражающей парфюмерией. За стеллажами, оказывается, находился еще один небольшой зальчик: блеклые гобелены на стенах, диванчики, кресла с гнутыми золочеными подлокотниками. В трехрогих светильниках действительно плавились свечи, а у бордовой гардины, скрывающей дверь в соседнюю комнату, стоял человек.

Странное он производил впечатление: низенький, плотненький, крепко, но как-то, по-видимому, неуклюже сбитый, лупоглазый, как будто навечно вытаращившийся от злости, в длинной, до пола, ночной шелковистой рубашке, заканчивающейся оборками. Свободной рукой он почему-то сжимал изящный серебряный молоточек, наверное для колки орехов, и по мелкому высверку граней чувствовалось, какая у него во всем теле нервная дрожь.

Человек обернулся ко мне, и глаза его вылупились еще больше.

– Ну?! – голосом как у простуженного кота мявкнул он. Притопнул короткой, по-видимому кривоватой ножкой, обутой в сафьяновый сапожок. – Сволочь!.. Дубина!.. Я тебя зачем посылал?! – Он, вероятно, уже ничего не соображал от бешенства. Две слезы прокатились по выпуклым грушевидным щекам и застыли на подбородке. Человек ярился и плакал одновременно. – Где мерзавец Кутайсов?! Где вся гвардия?! Караулы – ушли?! Я тебя спрашиваю, дубина, почему мост опущен?! Почему за семеновцами не послано?! Тишина, тишина!.. О! теперь здесь всегда будет одна мертвая тишина!..

В растерянности я отступил назад.

– Простите – кажется, я не туда попал…

Но человек, по-видимому, уже не слушал меня. Вскинул руку и сквозь смешные круглые дыры ноздрей потянул в себя воздух. Костяшки на пальцах, сжимающих молоток, побелели. Дождевой

страшный рокот заполнял комнату. Тем не менее он, вероятно, что-то расслышал:

– Восемь убийц… На лестнице… Дверь в Зеленой гостиной, конечно, открыта… Смерть, смерть идет на куриных ногах!.. Никогда больше!.. Так проходит мирская слава!.. – Человек, облаченный в рубашку, как будто устал. Тяжелая нижняя челюсть его несколько выдвинулась. Бульдожье лицо оплыло, и погас в глазах яростный блеск, свидетельствующий о надежде. Он вообще весь как-то погас. – Что же, тогда давай попрощаемся, старый солдат… Ты мне служил честно, теперь твоя служба окончена… Ступай с Богом, и – не забывай своего императора… Все зачтется – на самом последнем Суде… Там, где уже не человек судит…

Он спокойно и властно кивнул мне на прощание. Повернулся – и трехметровая инкрустированная по краям дверь сомкнула створки. Мертвенная вспышка молнии снова затрепетала на стенах. И еще не успела она отгореть, чтобы через секунду смениться обвалом грома, как со стороны анфилады, стуча каблуками, раздувая черные опереточные плащи, застегнутые на горле, размахивая кинжалами и пистолетами, ворвались в зал какие-то люди. Трое из них, пыхтя и деловито посапывая, тут же навалились на дверь, которая даже не дрогнула, а еще один, по-видимому уже совсем очумелый, оборотился ко мне и с ненавистью прошипел:

– Ты что тут делаешь?..

Вороненым зрачком глянул из отворотов плаща пистолет. У меня, как перед смертью, внезапно перехватило дыхание. Сейчас же другой мужчина, надменный, высокий, с испанской бородкой, охватывающий сжатые губы, чуть потеснил его, видимо, чтобы лучше меня рассмотреть, и вздернутая углом бровь его выразила презрение.

– Архивариус… – он махнул неестественно белой, точно из припудренной сдобы, вялой рукой. – Сударь, можете быть свободны… Учтите: вы ничего не видели…

– Свидетель!.. – настаивал тот, что наводил пистолет.

– Бросьте, князь! Что вы? Какой, к черту, свидетель!.. Раб, готовый прислуживать всем господам сразу… – Пошевелились в воздухе холеные пальцы. – Идите, сударь, идите!.. – И надменный мужчина тут же обернулся к дверям, где по-прежнему безуспешно пыхтели первые трое. Яркие губы его слегка вывернулись. – Боже мой!.. Да сломайте ее, наконец!.. Что вы там возитесь?!

– Диваном, диваном ее, – зычно посоветовал очумелый мужчина.

Трое в черных плащах немедленно подхватили ближайший выпуклоногий диван и, кряхтя, будто каторжные, потащили его по направлению к двери. Гулкий деревянный удар раскатился под сводами. Опять вспыхнула молния, и заплясали от пола до потолка громадные тени. Я неловко попятился, укрываясь за стеллажами. Зазвенело не выдержавшее окно. Капли дождя хлестнули по узорчатому паркету. Вдруг донесся треск расщепившегося сухого дерева. Ушибаясь боками о книжные полки, я выбрался, наконец, в неестественную тишину читальни. Странно было опять видеть спокойную зеленую лампу на столике, распахнутый под ней фолиант, юношу в узеньком сюртучке, нахохлившегося над полуистлевшим текстом. Он увидел меня и, опираясь ладонями в стол, медленно приподнялся.

Синими искрами сверкнули перстни на пальцах.

Юноша взирал на меня с каким-то почти мистическим ужасом.

– Кто вы, милостивый государь? Откуда? Я вас не знаю… – И вдруг, точно пронзенный догадкой, мелко-мелко потряс своими височками. – Не надо! Не надо! Не говорите!.. Я все понял… Значит – свершилось…

Он, по-видимому в беспамятстве, выпрямился, одновременно закрывая глаза, и, внезапно оторвав от стола ладони, прижал их к лицу. Вытекли из рукавов тонкие кружевные манжеты. Еще раз донесся ослабленный расстоянием сухой деревянный треск и сразу же вслед за ним – победные крики.

Видимо, дверь все-таки пала под натиском.

Времени, вероятно, уже совсем не было.

Я быстро спросил:

– Где у вас телефон? Пожалуйста, проводите меня к телефону… – потому что я уже, в общем, догадывался, что здесь происходит. – Вы дежурный?.. Ну-ну, придите в себя, действуйте по инструкции!..

Я надеялся все же, что он еще не совсем потерял сознание. «Явление», сколь бы яркой и впечатляющей картиной оно ни предстало, засасывает человека далеко не сразу. Разум некоторое время еще борется с галлюцинациями.

Однако в данном случае я, наверное, неправильно оценил ситуацию.

Бедный юноша, вероятно, уже полностью погрузился в видения. Во всяком случае, он вновь прошептал еле слышно: «Свершилось… – а затем, оторвав длинные музыкальные пальцы от глаз, как-то совершенно по-новому оглядел окружающее. И уже совсем другим, бесцветным и отстраняющим голосом произнес: – Милостивый государь! Что вам угодно?..»

Царственным холодом веяло от его выпуклых, чуть голубоватых зрачков. И однако вовсе не это поразило меня в ту минуту. Меня поразило его меняющееся лицо. Оно буквально на глазах высыхало и покрывалось пергаментной смуглостью.

– Я вас слушаю, милостивый государь!..

Он уже не был – ни бледный, ни – юноша, ни – вообще что-то живое.

Сухопарая жилистая мумия вдруг оскалила зубы. Горсткой пыли осыпались с черепа истлевшие волосы. Губы еще шевелились, но, по-видимому, уже намертво прикипая к деснам. Кожа на заострившемся подбородке натянулась и лопнула, а изнутри, предвещая, наверное, полный распад, точно ракушка из камней, высунулась белая скелетная косточка…

И, наконец, был еще один, заключительный эпизод, вроде бы расставивший все по своим местам. Это произошло в субботу, которая уже давно стала для нас рабочим днем. Около одиннадцати утра мне позвонила жена и напомнила, что сегодня мы приглашены к дяде Пане.

– Уже два раза переносили, больше неудобно, – подчеркнула она.

Это сообщение, честно говоря, меня не обрадовало. Ни к какому такому дяде Пане мне идти, естественно, не хотелось. Какой такой может быть в эти дни дядя Паня?

Тем не менее я для простоты ответил:

– Ладно, – и бросил трубку.

Мы, как всегда, были в легкой запарке. Помнится, мне как раз в эту минуту принесли очередную сводку. Если можно было верить данным, собранным за последнее время, то и длительность, и частота «явлений» несколько увеличилась. Теперь они происходили, как правило, раз в неделю, продолжаясь не меньше часа и группируясь по-прежнему исключительно в старой части города. На рабочих картах она была обозначена как исторический центр. Также, видимо, возросла и интенсивность событий. Все опрашиваемые давали примерно одну и ту же картину. Начиналось это обычно глубокой ночью. Человек просыпался и неожиданно осознавал, что находится в какой-то ужасной клетке. Или, например, в камере с толстыми бетонными стенами. Или – глубоко под землей, откуда уже не слышны никакие звуки. Здесь обычно существовали некоторые мелкие разночтения. Однако участники всех «явлений» были согласны между собой в одном: ощущение тесноты и одновременно – безудержный панический страх. Будто медленно, но неотвратимо приближается к ним нечто

чудовищное. Шагов, правда, не слышно, только иногда – прерывистые звериные хрипы дыхания. Мало кому удавалось преодолеть этот страх. Люди опрометью выбегали на улицу, падали, расшибались, ломали себе руки и ноги. Было пять или шесть достоверных случаев, когда захваченные «явлением» просто выбрасывались из окон. Четыре смерти, двух человек каким-то образом удалось все же вытащить. В общем – кошмары, паника, массовый приступ клаустрофобии.

Правда, значимость этих данных была пока относительно невелика. Их еще было надо сопоставить друг с другом, свести в таблицы, тщательно проанализировать. Всю первую половину дня я занимался именно этим, и всю первую половину дня я настойчиво, но крайне осторожно наблюдал за Лелей Морошиной. Неужели она и в самом деле продает нас военным? Я пока не осмелился передать кому-либо слова Лени Курица. И, кстати, вовсе не потому, что я ему, например, не верил. Я как раз ему верил, но у меня все-таки были какие-то мучительные сомнения. Так, в конце концов, можно обвинить любого. Нет ничего проще, чем так вот, на словах, взять и обвинить человека. И что потом? Как потом с этим человеком общаться? Я, во всяком случае, общаться с таким человеком уже бы не смог. Вот почему я не спешил обнародовать это ужасное обвинение. Да и Леля Морошина вела себя в этот день очень естественно: ничуть не смущалась, когда я на нее украдкой поглядывал, улыбалась, перекладывала с места на место бумаги, склонив голову, что-то вносила, наверное, в отчетную документацию. Она нисколько не походила на тайного осведомителя. В общем, здесь я пока еще ничего не решил. Только мучился, пытаясь сосредоточиться на своей работе. И чем больше я мучился, тем, разумеется, хуже все это двигалось. Так я и промучился до обеда, практически ничего не сделав.

А в обед меня неожиданно вызвали в отдел кадров, и Степан Степаныч, наш кадровик, сразу же повел себя как-то странно. Руки он мне не подал, хотя до этого здоровался регулярно, как на пружинах вскочил, одернул свой знаменитый по всему департаменту зеленый сталинский френч, посмотрел на меня, будто видел впервые в жизни, и казенным голосом проскрипел, что вот тут с тобой хотят побеседовать… м-м-м… два товарища…

– Какие еще товарищи? – спросил я несколько удивленно.

Однако Степан Степаныч только значительно пожевал губами:

– Отнесись, пожалуйста… м-м-м… серьезно. Что это ты, как на пляже?.. М-м-м… Застегнись!

Он явно имел в виду мой пиджак.

Под его неодобрительным взглядом я неловко застегнул пуговицы. Лишь после этого кадровик открыл вторую, так называемую секретную дверь, обитую листовым железом, и я очутился в крохотной, на три стула, сильно прокуренной комнатке, где у зарешеченного будто в тюрьме окна, к тому еще наполовину зашторенного, заполняя собой почти все пространство, сидели два человека. Оба были в военных кителях, но без фуражек, которые козырьками друг к другу покоились сейчас на сейфе, оба – раскрасневшиеся от жары, лоснящиеся, точно покрытые жидким лаком, оба – грузные и, вероятно, сделанные по одной заготовке: генерал-лейтенант Харлампиев и генерал-лейтенант Блинов.

Ничего подобного я, разумеется, не ожидал.

Зато они, казалось, только на меня и рассчитывали.

– Николай Александрович?.. – генерал-лейтенант Харлампиев даже слегка приподнялся. – Извините, что так оторвали вас, без предупреждения, буквально на несколько слов. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста!.. – он мотнул тяжеленными, низкими, как у бульдога, щеками. – Все в порядке, Гриднюк, можешь идти!

Кадровик глухо щелкнул начищенными ботинками и развернулся.

– Так присаживайтесь, Николай Александрович… Простите, запамятовал, вы, кажется, курите?

Тут же появилась откуда-то пачка импортных сигарет, а из другого «откуда-то» – широкая хрустальная пепельница. Судя по количеству скопившихся там окурков, они находились здесь уже довольно давно.

Все это мне чрезвычайно не нравилось.

– Слушаю вас, Игнат Трофимович, – сказал я с некоторой запинкой. Я не сразу вспомнил, как генерала Харлампиева по имени-отчеству. Затем сел напротив и положил ногу на ногу. Сигареты и пепельницу я сразу же отодвинул подальше. Я таким образом хотел продемонстрировать свою независимость. – Пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы.

Генерал Харлампиев несколько принужденно засмеялся.

– Только не подумайте, Николай Александрович, что мы хотим получить от вас какие-нибудь неофициальные сведения. Если бы нам вдруг потребовались данные о работе вашей Комиссии, мы тогда, как и положено, обратились бы к товарищу Половинину. Впрочем, я не думаю, что Комиссия скрывает от нас что-нибудь существенное. А с товарищем Половининым у нас хорошие, я бы даже сказал, дружеские отношения. В конце концов, мы все делаем общее дело…

Он как-то неуверенно посмотрел на генерала Блинова, и генерал Блинов, привалившийся к сейфу, в свою очередь благожелательно посмеялся:

– Ну разумеется, разумеется…

– Что конкретно вы от меня хотите? – спросил я.

Некоторое время генерал Харлампиев, убрав улыбку, задумчиво взирал на меня, а потом откинулся так, что лампа, свисающая с потолка, очутилась у него над затылком. Она, оказывается, была зажжена, и красноватый блеск скользнул по крепкой генеральской прическе. Я и не замечал до сих пор, что генерал Харлампиев у нас – рыжий.

– Всего два вопроса, – сказал он, помедлив крохотную секунду. – Вопрос первый. Не считаете ли вы, Николай Александрович, что ситуация в городе уже стала критической? Я не буду вдаваться в подробности, вы, вероятно, знаете их не хуже меня и поэтому, наверное, согласитесь, что мы неуклонно движемся к катастрофе. Власть фактически парализована, городское хозяйство, опять-таки не мне вам объяснять, просто разваливается. Никакие меры, к сожалению, не дают результатов, никакие решения, пусть даже разумные, не выполняются. В городе нет людей, которые могли бы навести элементарный порядок… Как вы сами считаете?

– Ну, предположим, – уклончиво сказал я.

Оба они почему-то обменялись удовлетворенными взглядами. А генерал Харлампиев от радости даже негромко крякнул. Не знаю уж, что там его так обрадовало. И, как в бане, растер рукой мощную багровую шею.

– Вопрос второй. Кто прежде всего пострадает при этом хаосе? Отвечаю: при хаосе прежде всего пострадает гражданское население. Старики, дети, женщины. Вот вы, Николай Александрович, человек семейный. Вы должны понимать, чем это грозит вашим близким.

– Я, кажется, понимаю, – медленно сказал я.

– Только учтите, – вдруг резким высоким голосом добавил генерал-лейтенант Блинов. – Вас никто не запугивает, молодой человек. Мы просто обсуждаем некоторые возможные следствия нынешней ситуации. Они нас не радуют, разумеется, но такова реальность.

Они опять обменялись удовлетворенными взглядами.

– Я понимаю, – так же медленно повторил я и встал.

Генерал Харлампиев тоже встал.

– Ну, я вижу, Николай Александрович, что с вами вполне можно договориться. Не то что с некоторыми, извините, из ваших коллег. Значит, мы с вами будем – работать, работать, надеюсь,

очень продуктивно работать… Если что, прямо ко мне, без стеснения, прошу, по любому вопросу…

И обитая листовым светлым железом дверь затворилась.

Вот какая заковыристая получилась у нас беседа. Кстати, позже беседа эта имела совершенно неожиданные последствия. Но предвидеть тогда все последствия этой беседы я был, конечно, не в состоянии и лишь нервничал, сбитый с толку, мучился и терялся в догадках. Леля Морошина, разумеется, тут же вылетела у меня из головы. В этом настроении я просто не способен был думать ни о какой Леле Морошиной. Честно говоря, я в тот момент вообще ни о чем не мог думать и поэтому с напрасным усердием почти три часа таращился на проклятую сводку. Мелкие строчки машинописи рябили у меня перед глазами. Цифры, факты и даты, как юркие насекомые, перебегали с места на место. Отдельные изолированные слова и короткие фразы я кое-как еще понимал, но весь текст при малейшей попытке хоть как-то его осмыслить мгновенно разваливался, перемешивался всеми своими частями, терял грамматику и, лишаясь какого-либо внятного содержания, превращался в пугающе бессвязную кашу. Казалось, что никакого содержания там не было даже изначально. В конце концов я запер документы в ящик стола и поехал домой. Я часто думал потом, а что было бы, если бы я тогда домой не поехал, если бы вовремя сообразил, что не домой мне сегодня надо, а в противоположную сторону, если бы жена позвонила мне еще раз и напомнила бы об этом. Иногда мне казалось, что это была сама судьба. Слишком уж многое потом из этого проистекало.

В общем, так или иначе, но поехал я все-таки в сторону дома, и конечно, сперва очень долго и муторно ждал на остановке автобуса, и конечно, автобус пришел набитый, как банка с кильками, и конечно, я все же каким-то образом сумел в него втиснулся. Здесь, вероятно, трудно было бы установить какую-либо последовательность действий: просто все вдруг вскипело, как убегающее молоко, ринулось через край, бешено забурлило, образовалась какая-то стремительно прорастающая внутрь воронка, – я опомниться не успел, как оказался чуть ли не в середине салона, и причем, не просто в самой его слипшейся сердцевине, а еще и отторгнутый от ближайшего выхода плотно сомкнутыми телами. Страшно было даже подумать, что уже через пять остановок надо будет протискиваться сквозь них наружу. С того места, где я находился, это выглядело делом абсолютно немыслимым. И конечно, имея целых пять остановок в запасе, я ни о чем таком думать не стал – только весь изогнулся, чтоб мне не перерезало поясницу чем-то ребристым, кое-как сдвинул

ногу, на которую упорно пытался наступить сосед слева, судорожно вцепился свободной рукой в верхний поручень и застыл в этой позе, поскольку ничего другого не оставалось. Разумеется, никаких мыслей у меня после этого уже не было. Автобус явно просел; прохрипело что-то не очень разборчивое из пластмассового динамика, с неприятным металлическим взвизгиванием сошлись двери, фыркнул мотор, и людское варево мерно заколыхалось.

И сейчас же высокий женский голос произнес с паническим ужасом:

– Что вы на меня дышите? Дышите, пожалуйста, куда-нибудь в сторону!.. – А грубоватый мужской бас тут же ответил ей: – Я на вас вовсе и не дышу, гражданочка! Вам показалось!.. – Как это не дышите, что ж я, по-вашему, совсем не чувствую?! – Бросьте, гражданочка, здесь на вас дышат еще пятьсот человек!.. – Но они же дышат как люди – в обратную сторону!.. – Успокойтесь, гражданочка, ну, не надо из-за всякого пустяка так нервничать!.. – Я не нервничаю, мужчина, я вами вполне обоснованно возмущаюсь!.. – Послушайте, дама, хватит устраивать здесь сцены!.. – А вы чего вмешиваетесь?! – Я, дама, просто хочу ехать спокойно… – Ну, и едьте себе! Отвернитесь вон в ту сторону!.. – Вас же слышно!.. – Я говорю: а может быть, он – заразный?.. – Я – заразный?! – Конечно, вон у вас – прыщики по всему подбородку!.. – Это кожа такая… – Ну да, у венерических всегда кожа!.. – Что? – А то!.. – Да сама ты, наверное, только что – из психбольницы!.. – Хам!.. – Свихнутая!.. – Нет, гражданин, я сейчас вызову милиционера!.. – Вызывай кого хочешь, тебя же в отделение и потащат!.. – Тише, граждане!.. – С-сука!.. – Водитель, водитель, остановите!!! – Держите ее!.. – Да успокойтесь вы наконец, ради бога!..

Впрочем, минут через пять все это рассосалось как-то само собой. Нервный запал иссяк, и обстановка в салоне несколько нормализовалась. Воцарилась обычная отчужденность людей, вынужденных какое-то время терпеть друг друга. Все, не исключая меня, тупо смотрели в пространство. Воздух был влажен. Автобус, завывая мотором, трудолюбиво полз по проспекту. И тут, почти у самого своего уха, я вдруг услышал шепоток напряженного разговора.

Говорили, видимо, двое, почти до горлового сипения понижая голос, и, если бы не чудовищная теснота, придавливающая их ко мне, расслышать что-либо было бы практически невозможно.

– За три тысячи? Знаешь, Женя, мне что-то не верится… – Точно-точно, Серега же Навокаев тогда уехал… – Пока еще ничего неизвестно насчет твоего Сереги… – Почему неизвестно? Он уже

и приветы передавал мне оттуда… – Как передавал? – Что? – Я спрашиваю: как приветы передавал, по телефону?.. – Ты что, чокнулся? Кто же будет говорить об этом по телефону? Передал на словах, через этого… ну как его… ты его помнишь… ну – через Вадика… – То есть, после *отскоча* у тебя никаких контактов с ним не было?.. – Я не знаю, Виталий, на что это ты намекаешь… – Слушай, Женя, вот ты – человек, вроде бы, умный и даже грамотный. Ну, ты посчитай сам, в конце концов: переход, фальшивые документы, дорога, натурализация. Ты хоть знаешь, сколько там стоит вид на жительство? И все это за три тысячи?.. – Серега же Навокаев, говорю тебе, проскочил!.. – Опомнись! Гниет твой Серега где-нибудь на городской свалке!.. – Так ты думаешь?.. – Боже мой, какие же вы еще полные индюки! Это – прожив тридцать лет при советской власти! Вас ведь можно ощипывать для супа прямо живыми!.. – Знаешь, Виталий, я, видимо, все равно поеду. Ты, может, и прав, но там у меня будут хоть какие-то шансы. А что тут? Ждать, пока призовут очередного «железного» человека? Призовут, разумеется, и он уж, конечно, наведет тут полный порядок. Ты вот слышал, наверное, что начинается очередная эпидемия?.. – Ладно, твое дело, но хотя бы купи себе пистолет, что ли. – Это еще зачем? – Ну, по крайней мере, тоже аргумент какой-никакой будет… – Нет, Виталик, оружия я с собой не возьму. Не могу убивать, и все равно ничего не получится… – А зароют на свалке?.. – Ну, значит, не повезло, такая у меня судьба… – Женя, прости, но какое-то это все же ребячество!.. – Да, наверное. Но ведь здесь уже совсем плохо. Не живешь, а будто проваливаешься куда-то в навозную жижу… – Ну, это, знаешь, как подойти к жизни…

Разговор этот меня сильно заинтересовал. Речь, по-видимому, шла о некой фирме «Гермес», вот уже скоро год подпольно работающей в нашем городе. Деятельность ее была совершенно примитивна и однозначна. Клиенту предлагались виза, работа и последующая натурализация в одной из западных стран. Клиент выплачивал довольно приличный аванс и после этого, точно призрак, исчезал навсегда. Ни живым, ни мертвым его больше никто не видел. Мне об этом рассказывал Гена Плужников, который занимался данной проблемой уже несколько месяцев. Он, наверное, год жизни отдал бы за подобную информацию. Я, как крыса в капкане, отчаянно завертел головой. Однако в салоне, набитом сверх всякой меры, было просто не провернуться. Тем более что именно в эту минуту автобус ужасно просел, накренившись в очередном повороте, и тяжелая людская масса, сместившись справа налево, распластала меня по ребрам, вывернутым локтям и портфелям. Одновременно

начал перестраиваться клин пассажиров на выход и меня развернуло, в итоге совершенно отжав от прежнего места. Только здесь я внезапно сообразил, что забыл о сегодняшнем приглашении. Куда я еду? Мне ведь действительно нужно в противоположную сторону. Ведь жена будет ждать меня на углу Владимирского и Колокольной улицы. Как помешанный, я начал протискиваться к задней двери. Те же локти, ребра, портфели пропускали меня точно через упорную мясорубку. И когда я, преодолев, казалось бы, невозможное, кое-как протолкался, протиснулся и все-таки вывалился на улицу, вид у меня, наверное, был как у базарного клоуна: весь кошмарно потный, взъерошенный, растрепанный, покрасневший, с перекрученными рукавами и жеваной, чуть ли не мокрой рубашкой, с перекрученными же, обвитыми вокруг ног брюками. Мне потребовалось минут пять, чтобы вернуть себе человеческий облик. Да и то я в этом был не слишком уверен.

В общем, транспорта в обратную сторону я прождал еще, наверное, минут двадцать, а затем где-то столько же, если, конечно, не больше, трясся в трамвае, набитом ничуть не меньше автобуса. На место встречи я опоздал, таким образом, примерно на полчаса, и эти полчаса опоздания, вероятно, спасли мне жизнь.

Правда, поначалу это вовсе не было очевидно, потому что жена сразу же набросилась на меня просто как разъяренная фурия. Оказывается, за последние месяцы я стал совершенно другим человеком: отмахиваюсь ото всего, обо всем и всегда забываю, всюду опаздываю, никогда не дослушаю толком, если меня о чем-то попросят. Мы на сколько с тобой договаривались сегодня? Нет, ты все-таки посмотри, ты посмотри на часы! Это самое, между прочим, и называется неуважением. Между прочим, и это уже далеко не первый подобный случай. Да, конечно, работа, но есть у женатого человека и некоторые другие обязанности. И к тому же еще неизвестно, какие из этих обязанностей более важные. Лично она полагает, что семейные обязанности должны быть на первом месте. А если кто-нибудь с ней не согласен, значит «кто-нибудь» этот просто человек не семейный. И ему незачем таковым человеком прикидываться. Он тогда посторонний, он что-то вроде случайно забредшего гостя.

То есть это было целое обвинительное заключение. Близнецы с упоением и восторгом слушали всю эту тираду: оба в разводах мороженого, вихрастые, трогательно конопатые, у них даже глаза немного светились от этого редкостного представления. Вдруг как по команде они вытянули вперед правые руки и, показывая на меня, радостно сообщили неизвестно кому:

– Папу ругают…

Тогда жена осеклась, взяла меня под руку и, заставив идти рядом с собой шаг в шаг, уже совсем другим тоном сказала:

– Может быть, нам и в самом деле уехать на время к маме? Она сегодня снова звонила: пожалуйста, сколько хотите, хоть на неделю, хоть до конца лета…

– Ну конечно! Хотя бы на месяц! – обрадовано воскликнул я. – За месяц, уж будь уверена, здесь все наладится. – Я вдруг вспомнил странное предупреждение генерала Харлампиева насчет моих близких. – Разумеется, поезжайте, билеты до Ярославля я вам обеспечу…

– Но ведь ты понимаешь, что я там одна не смогу, – сказала жена.

Я как будто с размаху ударился лбом о кирпичную стену:

– Елки-палки! Давай больше не будем об этом спорить!..

– А ты знаешь, как там сейчас относятся к приезжим из Петербурга? Ты, пожалуйста, не забывай, у нас, в конце концов, эпидемия…

– Боже мой!.. Так ведь нет пока никакой эпидемии!..

– Вот, – сказала жена. – Именно ты им это и сообщишь. Ты в администрации города, ты можешь сделать это вполне компетентно…

– Давай без иронии!

– А я, между прочим, серьезно, – сказала жена. Она упрямо сдвинула брови, что свидетельствовало о крайнем ее раздражении. – В общем, так: либо мы все вместе едем, либо не едет никто, и значит, мы остаемся. Ничего другого ты от меня не услышишь!..

Близнецы, почуяв возможность вмешаться, немедленно запищали:

– Ну поехали, папа!.. Ну – ладно!.. Ну что ты… Ну давай поедем!..

Умоляющие их голоса зазвенели так, что прохожие начали на нас оборачиваться.

– Помолчите! – коротко приказал я.

Близнецы, конечно, тут же обиделись и одновременно надули щеки. И уж совершенно неожиданно для меня еще сильнее обиделась, по-видимому за них, жена. Она сверкнула глазами и демонстративно вытащила руку из-под моего локтя.

Со стороны мы, наверное, выглядели довольно забавно: все четверо – хмурые, старательно, чтобы не встретиться взглядом, отворачивающиеся друг от друга, с преувеличенным вниманием рассматривающие раскаленную улицу и к тому же вразнобой шаркающие по асфальту ногами. Сразу чувствовалось,

что в этой семье крупно повздорили. И я тоже, наверное, заразился этим всеобщим унынием. Также шаркал ногами и также старательно отворачивался и от жены, и от близнецов. И поэтому, вероятно, утратил ту напряженную бдительность, которую вроде бы приобрел за последнее время. И в результате не сразу заметил протянувшуюся за нами четкую цепочку следов. А когда вдруг заметил, то до меня далеко не сразу дошло. Я, наверное, раза четыре оглядывался, и только потом меня точно ударило.

Я схватил близнецов за шиворот и как вкопанный остановился.

– Ну? – сказала жена, поворачиваясь и окидывая меня недовольным взглядом. – Что случилось? Ты решил вообще не идти с нами? Ради бога! Только тогда и не следовало затевать эту историю!.. – Впрочем, она тоже что-то почувствовала, вероятно по моему лицу, мгновенно насторожилась и произнесла быстрым шепотом. – Поворачиваем назад?

– Нет, – сказал я, медленно, будто в трансе, оглядывая ближайшие к нам дома. – Подождите… Пока не надо!.. Молчите!.. Держи ребят!..

Я по-прежнему не понимал, откуда исходит опасность, и лишь слабо ноющим сердцем чувствовал, что она где-то близко. Где-то, может быть, всего в нескольких метрах от нас. Еще шаг, другой, третий – и мы провалимся в огненную преисподнюю.

Тем не менее ничего подозрительного я вокруг нас не видел. Обе стороны улицы плавали в сизой, чуть колышущейся, сухой, легкой дымке. Из-за этого они казались чуть-чуть нереальными. И дрожащая нереальность эта еще усиливалась отраженным от многочисленных окон, блистающим, беспощадным солнцем. Впереди выдавался немного среди других дом дяди Пани. Было несколько странно, что он вот так выдается немного из общего аккуратного ряда. Я заметил смешную игрушечную округленность его очертаний: выпуклость серых стен, некоторую приподнятость крыши. Видны были даже ее ржавые, неровные жестяные ребра и одновременно – проплешины то ли дыр, то ли давно высохшего лишайника. Словно дом был сделан не из кирпича, а из толстой резины, и его как раз в этот момент надували изнутри горячим воздухом.

– Боже мой! – неожиданно сказала жена.

И вдруг присела – как встревоженная наседка, обеими руками обхватив близнецов.

Вероятно, у нее интуиция сработала раньше, чем у меня. Но буквально уже в следующую секунду я тоже торопливо попятился, тоже слегка присел, впрочем выворачивая назад

голову, и тоже, видимо, как наседка, обхватил всех их троих, пытаясь прикрыть собой.

Дом дяди Пани, оказывается, не просто выдавался среди других. Он стоял на холме из асфальта, который непрерывно увеличивался в размерах. Словно его выдавливало какой-то магматической силой. Брызгала коричневая земля, и корка асфальта трескалась, как пересохшее тесто.

Я увидел, как дрогнул поднявшийся метра на три фундамент и как страшно заколебались стены, отслаивающие целые пласты штукатурки.

К счастью, мы находились достаточно далеко от этого извержения. Крыша дома вдруг лопнула, ощерившись по краям разодранной арматурой. Дом, будто тюльпан, внезапно раскрылся четырьмя каменными лепестками. Как в сумасшедшем сне, показались пролеты лестниц, комнаты, глухие изогнутые коридоры. Как ни странно, кое-где в доме было зачем-то зажжено электричество. Впрочем, оно тут же бесшумно погасло, точно его никогда и не было.

Желтоватая тяжелая пыль поднялась над обломками.

– Ох!.. – сказала жена и крепко-крепко зажмурилась.

Ударил горячий смерч. Стремглав пронеслась по воздуху развернутая газета. Мостовая под нами медленно колыхнулась. Но даже сквозь душную пыль, мгновенно забившуюся под веки, я вдруг заметил, как жадно и радостно, вытянув цыплячьи шеи, смотрят на это все привставшие с корточек восторженные близнецы…

Вероятно, я был одним из первых, кто обнаружил «прорыв истории». Правда, Леня Куриц, всегда стремившийся быть в курсе всего, несколько поздней утверждал, будто самые ранние его признаки были зарегистрированы еще в начале июня и что аналогичные материалы у него в картотеке имеются. В частности, именно где-то в первых числах июня на Садовой улице, недалеко от пересечения ее с Невским проспектом, якобы видели человека в странной парчовой малиновой шубе, отороченной мехом, и такой же парчовой малиновой шапочке, напоминающей тюбетейку. Говорили, что этого человека якобы задержала милиция, но в ближайшем к месту происшествия отделении, которое находилось в переулке Крылова, о подобном инциденте, как выяснилось, никто даже не слышал. Словно человек прибыл из ниоткуда, постоял минут десять, а потом растворился в воздухе. К сожалению, больше о нем ничего не известно. Однако примерно в это же время, также на Садовой улице, но теперь уже совсем в другой ее стороне, из района Коломны, где протянули

арки приземистые Торговые ряды позапрошлого века, ныне, кстати, также используемые в основном под склады и магазины, начали поступать непрерывные жалобы от жителей близлежащих домов, что буквально каждую ночь там собираются какие-то весьма подозрительные компании – безобразно горланят, дерутся, по-видимому упиваясь до посинения, а потом, тоже с криками и матерщиной, вываливаются на набережную Канала. Торговые ряды на Садовой – это, между прочим, в моем районе. Дом, где я проживаю, как раз напротив этого довольно-таки уродливого строения. Правда, я сам никаких подозрительных компаний там никогда не видел, что, впрочем, при моей вечной загруженности вполне естественно. В общем, после целого ряда настойчивых письменных жалоб, после телефонных звонков и личных заявлений граждан с просьбами разобраться, после нескольких обращений к депутатам местного муниципального образования на Садовую улицу был в конце концов послан усиленный милицейский наряд, который действительно обнаружил несколько взломанных (по-видимому, уже давно) складских помещений. Петли мощных замков на них были аккуратно вывинчены, сигнализация не работала, что, кстати, прибывших милиционеров нисколько не удивило, однако тусклые лампочки внутри помещений, как это ни странно, горели, а контейнеры, ящики и тюки были перекомпанованы так, чтобы освободилось посередине некоторое пространство. Никаких хулиганствующих компаний там, естественно, не обнаружили, но в одном из таких помещений, на первый взгляд наиболее посещаемом и обжитом, под тяжелым и, видимо, дорогим столом из мореного дуба как ни в чем не бывало посапывал некий затюрханный мужичонка. Одет он был в какое-то немыслимое тряпье, замусоленное, все рваное, удерживаемое от распада многочисленными веревочками, и, разбуженный, оказался в высшей степени невменяемым: то ли был пьян, то ли, как решили милиционеры, сильно придуривался. Мужичонка изумленно таращился на окруживших его людей в форме и на все вопросы ответствовал только «дык…» и «тово-етово…». Толку от него добиться не удалось. Никаких документов при нем также обнаружено не было. В результате мужичонку отправили в соответствующую больницу, а оттуда дня через три выписали по неизвестному адресу. В дальнейшем следы его, по-видимому, затерялись.

Некоторые истории воспринимались просто на грани абсурда. Например, одно время доходили до нашей Комиссии очень упорные слухи, что на папертях нескольких городских церквей, переживающих в последние месяцы внезапный наплыв

верующих, неизвестно откуда вдруг появилось невообразимое количество нищих, изъясняющихся вроде по-русски, но вместе с тем и с каким-то странным акцентом, чрезвычайно убогих и довольствующихся весьма умеренным подаянием. Поговаривали, что это наплыв беженцев с Украины. Хотя что там, на Украине своих церквей не хватает? Уж чего-чего, а церквей на Украине достаточно. К сожалению, эти невнятные слухи так и остались слухами. Ими, кажется, не занимался всерьез даже неутомимый Леня Куриц. Видимо, и для Лени Курица существовали какие-то человеческие пределы, и в те сумасшедшие дни он, наверное, просто не мог разорваться на части.

Кстати, тогда же было отмечено и появление первых «мумий». Самые ранние сведения о них начали поступать к нам также в первых числах июня. Возникали они с каким-то поразительным, просто удручающим однообразием и поэтому, вероятно, также не вызвали у нас особого интереса. Выглядело это примерно следующим образом. Гражданин Поливанов Н. М. сорока восьми лет, русский, коренной петербуржец, разведенный, имеющий ребенка от первого брака, по специальности – инженер, найден мертвым в своей квартире (улица Разъезжая, 26) – с почерневшим лицом и коричневым, высохшим, точно дерево, телом. Вероятное пребывание в таком состоянии – несколько суток. Признаков насильственной смерти нет. Диагноз неясен… Гражданин Потякин С. Б. девятнадцати лет, русский, коренной петербуржец, не женат, детей не имеет, слесарь-сборщик Четвертого инструментального предприятия, найден в своей квартире (улица Подольская, 21) – с почерневшим лицом и коричневым, высохшим, точно дерево, телом. Обнаружена легкая алкогольная интоксикация. Пребывание в таком состоянии – не менее двух дней. Признаков насильственной смерти нет. Диагноз неясен… Гражданка Мамонова О. С., тридцати трех лет, русская, петербурженка, замужем, имеет ребенка, управляющая делами треста «Ремчас», найдена мертвой в своей квартире (проспект Огородникова, 13) – с почерневшим лицом и коричневым, высохшим, точно дерево, телом. Пребывание в таком состоянии – около четырех часов. Признаков насильственной смерти нет. Диагноз неясен… И так далее, и тому подобное.

Этот список можно было бы продолжать достаточно долго. Полагаю, что в картотеке у Лени Курица фигурировало не менее двух сотен фамилий. В некоторых случаях мумификация происходила буквально на глазах у окружающих, и, что самое интересное, при полном отсутствии какой-либо внешней причины. Начиналось это, как правило, с так называемой

«быстрой фазы»: человек вдруг приходил в неистовое возбуждение, напоминающее истерику, зрачки у него расширялись, речь существенно ускорялась, пальцы рук, будто в треморе, быстро и непроизвольно подергивались. Продолжалось все это обычно секунд двадцать-тридцать и заканчивалось так же внезапно, как и начиналось. То есть сама «фаза тремора» была очень короткой, но за этот практически неуловимый период человек резко преображался. Собственно, это был уже совсем другой человек. Даже внешне он зачастую выглядел как дальний родственник прототипа. Словно кто-то другой вселялся в его прежнюю оболочку, и теперь, преодолевая внутреннее сопротивление, заставлял вести себя самым неожиданным образом. Человек, например, становился приниженным и чрезвычайно робким, непрерывно сутулился, кланялся и за что-то молитвенно благодарил окружающих. Самое странное, что он при этом, как правило, часто-часто крестился и униженно, точно милостыню, выпрашивал хлеб и мелкие деньги. А получив подаяние, пытался с ним немедленно спрятаться. В общем, «опера нищих», как это классифицировалось в наших неофициальных бумагах. Но достаточно часто присутствовала и другая модель поведения. В этом случае «мумия», напротив, становилась чрезвычайно высокомерной, неожиданно проявлялись – заносчивость, грубость и явное пренебрежение к собеседникам. Человек, словно маленький бог, начинал повелевать и командовать, вместе с тем то и дело с каким-то испугом оглядываясь по сторонам. Он словно не понимал, как здесь очутился. Этот образ, конечно гораздо более трудный для локализации, был впоследствии назван «царское облачение». Все свидетельствовало о том, что возникает совершенно новая личность. Финал тем не менее был в обоих случаях одинаковый. Человек вдруг спотыкался на полуслове, вздрагивал, точно уколотый, резко темнел лицом, где высыхала и трескалась, как пергамент, твердая кожа, глаза его заливало белой смертельной мутью, а затем он слабо качался и падал, как кукла, бесчувственно ударяясь о землю. Раздавалось хрипение, и жизнь отлетала, по-видимому, уже навсегда. Никого из захваченных мумификацией реанимировать не удалось.

И наконец, циркулировали совсем уже неправдоподобные слухи. Будто бы существует в тайных пустотах под Исаакиевским собором некий подземный Храм. Необъятные своды его высечены в гранитной скале. Девять дьяконов, слепых от рождения, отправляют там службы. Девять черных гадюк охраняют алтарь, выточенный из нефрита. Раз в году совершается возле него особая Черная Евхаристия, и тогда, приложив ухо к земле, можно

слышать удары в громадный каменный колокол. А причащаются там глиной, песком и нефтью. Одежда дьяконов – из корней. Руки их – черны от сырой земли. Этот Храм существует с момента основания города. И суждено ему пребывать во мраке ровно триста лет и еще один день. А затем бесшумно, словно мертвая, распахнется болотная почва, рухнут здания, рассыпятся в труху городские коммуникации. И предстанет глазам уцелевших Пещера, заросшая серебряными сталагмитами. И тогда девять дьяконов, помахивая кадилами, выйдут из нее на поверхность. И, подняв к небу бледные, незрячие лица, под гул колокола отправят последнюю службу. А потом навсегда разойдутся в девять концов света, и не будет жизни на этом месте тоже – триста лет и еще один день…

Это был для нас исключительно тяжелый период. Позже его не без едкой иронии окрестили Большим Раздраем. Именно в эти дни и в самом деле начали разваливаться все городские коммуникации. Неожиданно, например, лопались трубы, и целые микрорайоны оставались без водоснабжения. Также внезапно прекращалась подача электроэнергии, и десятки кварталов тогда погружались в средневековые сумерки. В это время опасно было появляться на улицах. Многочисленные утечки газа приводили к взрывам в домах и сильнейшим пожарам. А и то и другое влекло за собой жертвы среди населения. Точно какое-то сумасшествие охватывало самые простые стороны нашей жизни. Вдруг без всяких к тому причин начал заболачиваться громадный пустырь, примыкающий к Сенной площади: сквозь слой мусора проступила вода в пахучих разводах и пробилась осока, над которой тут же поплыли звенящие комариные тучи. Стали обнаруживаться каверны на главных городских магистралях. Этакие чуть-чуть прикрытые сверху асфальтом промоины и пустоты. Провалилось больше десятка машин, опять были жертвы и муторное разбирательство. Разрушались дома, призванные, по всем прогнозам, стоять еще очень долго. Ни с того ни с сего появлялась на них сеточка мелких трещин, они углублялись и разрастались, точно в подсыхающей кашице, дом начинал «дышать», как это называли ремонтники, и вдруг стены, обращенные к улице, ссыпалась на мостовую кирпичной крошкой.

В такой обстановке, конечно, было не до первых, смутных еще «прорывов истории». Информация к нам, естественно, поступала, но – в обрывках и до сознания членов Комиссии просто не доходила. Мы физически не могли отслеживать каждую городскую сплетню. А в довершение ко всему именно в эти дни на меня было совершено покушение.

Это произошло в среду, около десяти часов вечера. Я еще, помню, радовался, что наконец-то удастся попасть домой до полуночи. Все предшествующие недели мне это не удавалось. И вот только-только я пересек уже довольно пустынный Вознесенский проспект и по жаркому камню набережной двинулся в сторону дома, как внезапно, ослепляя огненными разводами, вспыхнули впереди фары и навстречу мне, точно зверь из засады, рванулась притаившаяся в тени машина. Кажется, это была довольно старая черная «Волга». Разумеется, я в тот момент не в состоянии был воспринимать никакие подробности. Все это произошло буквально за считаные мгновения. Заревел мотор, тело гладкой, ухоженной страшной машины внезапно приблизилось. Я еще и сообразить ничего по-настоящему не успел, как оно, вильнув влево, вдруг вылетело на тротуар. Блеснули вблизи мрачные, затененные передние стекла, рев дикого двигателя будто кипятком окатил мне сердце, а потом меня, точно яростным взрывом, куда-то отбросило и кирпичная твердь стены больно ударила по лопаткам.

К счастью, в тот раз я еще сравнительно легко отделался. В клинике мне констатировали сильный ушиб спины и некоторое сотрясение мозга. Как ни странно, никаких других повреждений обнаружено не было и мне даже не предложили, как следовало бы, отлежаться часа три в палате. Ограничились тем, что довезли меня до дома на скорой помощи. Впрочем, несколько позже, уже спокойно анализируя подробности этого происшествия, я пришел к выводу, что меня, скорее всего, и не намеревались убить. Покушение было обставлено в лучших детективных традициях: затененные стекла машины, зловещие фары, внезапное ее появление. То же самое можно было исполнить гораздо проще. В общем, все указывало на то, что меня пока лишь только предупреждали. И я, кажется, даже догадывался – о чем именно. Дело в том, что уже почти две недели я упорно расследовал исчезновения некоторых людей – тех, которые не оставили после себя никаких следов – и уже раскопал, на мой взгляд, кое-какие интересные факты. Что, по всей вероятности, не понравилось генералу Харлампиеву. Или, может быть, не понравилось генералу Блинову. Или им обоим, черт бы их побрал вместе с погонами. Сообщил мне об этом, естественно, Леня Куриц. Он был прав, как всегда, и, как всегда, он слегка опоздал. Была у него, к сожалению, такая особенность – всегда немного опаздывать, и вот эта особенность, как мне кажется, и подвела его в решающую минуту.

В тот раз он появился у меня абсолютно не вовремя. Вдруг среди ночи прорезались четыре длиннейших звонка в квартиру.

Будто сигналы тревоги, пронзили они комнатную дремоту. А пока я, подброшенный ими, натягивал, как в лихорадке, футболку и шорты, пока шарил ногами по полу, ища тапочки, которые, конечно же, куда-то запропастились, пока шлепал по выключателю и искал молоток, приготовленный именно для такого случая, протрубили в ночной тишине еще четыре таких же длинных звонка. Примечательно то, что близнецы при этом даже не шелохнулись. Зато, конечно, проснулась жена и, путаясь в рукавах халата, выбежала за мной в прихожую.

– Подожди, не открывай, – торопливо сказала она. – Подожди, подожди! Еще неизвестно, кто это там звонится…

Я прекрасно понимал, что она имеет в виду. Каждый вторник мне приносили оперативную сводку по событиям за неделю. Совсем недавно при похожих обстоятельствах был убит Володя Богданов, причем тоже ночью и тоже у себя на квартире. Расследование, разумеется, не привело ни к каким результатам. Некий следователь Гуторин предполагал, что это просто банальное ограбление. Правда, непонятно, что можно было такого награбить у Володи Богданова, и в Комиссии нашей, я в том числе, придерживались иного мнения.

Правда, мы это мнение пока не высказывали.

В общем, я скомандовал легким шепотом:

– Ну-ка, быстро, проверь: телефон работает? – А когда жена закивала, подняв трубку и, видимо, услышав зуммер: – Набери милицию и пока держи пальцем последнюю цифру…

Затем я отодвинул засов и повернул ручку замка. Честно говоря, я в эту минуту был готов ко всему. К тому, например, что в квартиру ворвется банда вооруженных грабителей. К тому, что раздастся взрыв или прорычит из лестничной пустоты автоматная очередь. Сердце у меня подпрыгивало от желудка до горла. Однако ни взрыва, ни выстрелов, ни грабителей в результате моего движения не последовало. Просто дверь рванулo, словно ее давно тянули с той стороны, и в прихожую шумно ввалился невероятно растрепанный, взмыленный Леня Куриц. Причем он немедленно, даже не поздоровавшись, оборотился ко мне спиной и так же шумно задвинул засов и набросил металлическую цепочку. Все это – в каком-то лихорадочном возбуждении. Наконец, отскочил, чуть не задавив меня в тесном проеме, и, согнув руку, вздернул кулак известным всем жестом:

– А это вы видели?!

На щеке его кровоточила страшноватая свежая ссадина, а пиджак на спине был разодран, как будто по нему прошлись железными крючьями.

У жены на скулах зажглись красноватые пятна.

– С ума сошел, – с ненавистью сказала она, придерживая полы халата.

И, больше ничего не добавив, исчезла за дверью детской комнаты. Только скрипнули петли – по-моему, тоже что-то неодобрительное. Слава богу, что Леня не обратил на это внимания. Он в это время, причмокивая, зализывал ранку на указательном пальце.

Деловито сообщил мне:

– Ну, сволочи! Стрелять они тоже не научились… Это я – в проходном, помнишь щель, узенькую такую, за булочной? Ну, влез туда, ну – оказывается, уже сплошное железо… Ползу на брюхе. Ну, думаю – все, влипну, к чертям собачьим!.. Нет, шалишь! Город они, оказывается, тоже не знают!..

У меня как будто потекли по спине мелкие холодные капельки.

– Говори толком!..

– Я и говорю: дождались все-таки праздничка!.. Нет-нет, ты хотя бы в окно, в окно посмотри!..

Он схватил меня за руку и, будто бульдозер, повлек за собой на кухню. Сдирая засохшую краску, впервые за этот год распахнулись оконные рамы. Я услышал плывущий по улице тяжелый рокот моторов. Метнулись к небу и опустились яркие фары. Выступили из темноты синеватые обморочные тополя на набережной. Две огромных машины, обтянутые по ребрам брезентом, будто ящеры, переползали горбатый каменный мостик.

Номеров с такого расстояния, конечно, было не разобрать.

– Ну и что? Ну подумаешь, грузовики, – сказал я.

Но еще прежде, чем негодующий от такой тупости Леня Куриц успел выпучиться на меня и разразиться гневной тирадой, я и сам вдруг увидел, что один из этих пятнистых грузовиков останавливается, и из чрева его выскакивают однообразно пригнувшиеся фигуры. Судя по оружию и комбинезонам, это были солдаты. Они тут же двумя компактными группами побежали куда-то за мостик. На другой его стороне их ждал офицер, деловито поглядывающий на часы.

Мертвенным расплывчатым шаром горел над ним одинокий фонарь.

Дрожь, которая охватывала меня, резко усилилась.

– Что теперь будет? – сдавленно спросила жена, снова появившаяся из комнаты.

Я был не в состоянии ей ответить.

Офицер поднял голову и внимательно посмотрел в нашу

сторону.

Мне показалось, что губы его шевельнулись.

– Боже мой!.. Да погасите же свет!.. – отчаянным шепотом выкрикнул Леня Куриц.

2. Зверь мучается

Письмо пришло не по почте, штемпель на нем отсутствовал, в левом верхнем углу не было полагающейся отметки о дезинфекции, однако сам конверт был заклеен очень тщательно, хотя – весь мятый, грязный, словно прошедший через тысячу или более рук. Адрес был написан обычным серым карандашом, причем в одном месте, как можно было судить, карандаш, по-видимому, сломался, там темнела длинная жирная загогулина, похожая на головастика, а дальнейшие буквы выглядели корявее остальных. Осторожно зажав уголок медицинским пинцетом, я немного подержал его над огнем, чтобы хоть как-то обеззаразить, а потом, отрезав махристую кромку, протертую до отдельных ниточек, вытащил изнутри два таких же замызганных, мятых и грязных, пятнистых тетрадных листка, вероятно, долгое время валявшихся где-то в мусорной куче.

Близнецы наблюдали за моими действиями с расширенными глазами.

– Кто касался конверта? – строго спросил я.

И они, будто клоуны, ткнули друг в друга пальцами:

– Он!

– Если – «он», значит обоим – мыть руки!

Конверт я, разумеется, сразу же уничтожил, а пинцет и ножницы бросил в ванночку с дезинфицирующим раствором. Объявленной позавчера эпидемии я не слишком боялся. Какая, к черту, может быть эпидемия, если я каждый день контактирую с десятком людей? Однако лишние меры предосторожности все-таки не помешают.

Далее я бережно развернул оба листочка. На одном из них было написано: «Заозерная улица» и в скобках: «Карантин № 4». Затем следовал список из одиннадцати фамилий. На втором же теснились буквально несколько строчек: «Саша, милый, прошу тебя, поторопись! Сделай все, что возможно, я здесь долго не выдержу». Почерк в обоих случаях был одинаковый, в первом же слове, как будто случайно, были подчеркнуты слабыми линиями две буквы, загогулина от сломанного карандаша находилась точно на месте. То есть все условные знаки в тексте присутствовали. Подписи на листочках, естественно, не было. Впрочем, я и без подписи знал, от кого это письмо. Это письмо было от Гриши Лагутина. Он, как и некоторые другие, бесследно исчез примерно неделю назад, и вот именно на такой случай у нас с ним была

договоренность о связи.

Значит, «Карантин № 4». Я немного представлял себе Заозерную улицу. Это был очень старый, промышленный, мрачный и совершенно безлюдный район, где по улицам проезжали только грузовые машины: огромные дровяные пространства, складские строения, переезды для транспорта, а по левому краю, насколько я помнил, трехрядная колючая проволока. Там, за бетонным забором, скрывалось, по-видимому, что-то сугубо военное. Особенно если судить по бурым от времени звездам на пропускных воротах. И к тому же я вспомнил (это указывалось в одной из оперативных сводок), что дней десять назад внезапно обрушился мост через Обводный канал. Теперь весь этот район был частично отрезан от города. То-то у соседних мостов вдруг выросли покатые лбы капониров.

Лучшего места для изоляции не придумаешь.

Я протиснулся в ванную, где жена из двух ведер и чайника пыталась мыть хохочущих, восторженных близнецов, и, дождавшись относительного затишья, поинтересовался:

– В подъезде кто-нибудь был, когда вы спускались? Или, может быть, не в подъезде, а, например, рядом с парадной?

– Нет! – ответили близнецы дружным хором, но секунду спустя, подумав, таким же дружным хором добавили: – Ой, конечно! Заглядывал с улицы какой-то дядька…

– Из нашего дома? – спросил я.

– Не знаю… Наверное…

– Если хочешь, я могу выйти и посмотреть, – неуверенно предложила жена.

Чайник в руках ее выбил отчетливую дробь о кафель. Близнецы тут же умолкли и взволнованно засопели.

На всякий случай я немного послушал радио. Здесь как раз передавали беседу с главным врачом Городского санитарного управления. Главный врач утверждал, что никакой реальной опасности не существует: соответствующий институт уже изготовил необходимый набор вакцин и сывороток, в самое ближайшее время начнутся прививки по учреждениям, вакцинацией будет охвачено практически все население города. А пока не волнуйтесь и тщательно мойте руки перед едой. В общем, кажется, ничего. Я оделся и, поколебавшись мгновение, сунул в карман недавно выданный пистолет. Левый борт пиджака ощутимо перекосило. Не люблю оружия и не представляю, как это вообще можно выстрелить в человека. Но сегодня, к сожалению, пистолет мог мне потребоваться. И поэтому я лишь чуть-чуть одернул пиджак, чтобы со стороны было не так заметно.

Жена тут же, как привидение, выросла на пороге.

Она ни о чем не спрашивала – покусывала бледные, почти бескровные губы. Лицо у нее было покрыто укольчиками красноватой сыпи.

Я сказал:

– Мне надо идти. Вернусь, по-видимому, довольно поздно. Может быть, ночью, а может быть, вообще – только завтра утром. Я, конечно, в течение дня постараюсь с тобой связаться. Но если не свяжусь, тоже – ничего страшного. Запомни только одно: двери ни под каким предлогом не открывайте. Никому, ни за что. Надеюсь, ты поняла? Лучше даже не отвечайте. Вообще не подавайте признаков жизни…

Разумеется, это было слишком жестоко. Жена судорожно вздохнула, как будто с усилием проглотив горячие слезы. Скрипнула дверь, и из ванной, как любопытный двухголовый дракончик, высунулись близнецы.

– Ты уходишь?

– Вот только без хныканья, – сразу же сказал я.

– Нет, ты действительно собираешься уходить?

Оба они мигнули и вдруг забавно, не в такт, зашевелили оттопыренными ушами. Веснушки после мытья выглядели еще желтее.

– Нет, в самом деле?

Жена снова сглотнула.

– Немедленно прекратите! – нервно сказал я…

На улице было еще душней, чем в квартире. Парило как в бане, и неприятная теплая сырость сразу же заструилась у меня по лицу. Промакивать ее носовым платком было бессмысленно: стоило вытереться, и через секунду уже на коже вновь проступали щекотливые капли. Единственное, что оставалось, – не обращать внимания. По хлипким доскам и кирпичам я перебрался через громадную лужу, раскинувшуюся перед домом. Одним своим зеркальным крылом она равнялась с Каналом, заросшим осокой и глянцевыми кувшинками, а другим, коричневато поблескивающим торфяным болотным настоем, проникала в смежные улицы и подворотни. Вода захватывала даже часть сада, примыкающего к собору. На подсохших колючих кочках пестрели уродливые цветочные кустики. Говорили, что это какая-то разновидность лютика. Дрожащий зеленоватый туман поднимался над ними, и такой же зеленоватый туман, будто облако, клубился над гранитными парапетами. Крохотные бледные искорки танцевали в воздухе. Все это мне было уже привычно. Я сноровисто балансировал на кирпичах и иногда осторожно оглядывался. Из парадной

немедленно вслед за мной, конечно, никто не выскочил, но уже на улице – там, где сохранился нетронутый кусочек асфальта, – прикрывая лицо газетой, действительно прислонялся к стене «какой-то дядька». Впрочем, с моей точки зрения, конечно, не дядька, а вполне молодой и достаточно крепкий парень спортивного вида. Он был в блеклом сером комбинезоне со множеством кармашков и молний и высоких черных ботинках, зашнурованных почти до середины голени. Глупо было с его стороны надевать такие ботинки: если в крепких армейских комбинезонах ходила сейчас почти половина города (самая лучшая в нашей теперешней жизни одежда – комбинезон), то вот эти ботинки, которым не было сноса, можно было достать только по специальному ордеру. А кому дают такой ордер в первую очередь? Загадка для дураков. Я вот, хоть и считаюсь специалистом, такого ордера не имею.

В общем, с этим дядькой все было понятно. Я прошел мимо брошенного грузовика, который увяз в трясине всеми своими колесами, перебрался на расплющенную тележку, которую, видимо, удерживал на поверхности только железный остов, а затем, перепрыгивая с кочки на кочку, которые почавкивали и пружинили, кое-как достиг места, где лужа заканчивалась. Асфальт здесь хоть и сильно потрескался, но уцелел, идти было легко, только ржавая жестяная трава скрипела при каждом шаге. Трава эта появилась сразу же после знаменитой грозы, взбудоражившей город, и с тех пор заполонила собою громадные уличные пространства. Говорили, что произрастает она даже в темных подвалах. Даже в некоторых парадных, где каменные плиты просели, возникали скрипучие ржавые островки этой поросли. Правда, опасности она, по-видимому, не представляла. Были сделаны уже соответствующие анализы и получены весьма успокоительные результаты. Если, разумеется, верить официальным сообщениям мэрии. Только кто в наше время верит официальным сообщениям мэрии? Кстати, парень, читавший газету, остался на месте. Он все так же прислонялся к стене, исчерченной чудовищными каракулями. Следовать за мной по пятам он явно не собирался, но и радоваться в такой ситуации мог только круглый дурак. Скорее всего, их тут была целая группа, и, наверное, где-то в ближайшей парадной уже приготовился следующий наблюдатель. К счастью, маленький переулок, куда я свернул, был совершенно безлюден. Я метнулся под арку и пробежал в захламленный будто помойка, осклизлый внутренний дворик. Заднюю часть его перегораживал высокий забор. Выглядел он неприступно, но гвозди из двух крайних досок там были вынуты. Собственно, это я их и вынул, не поленившись,

на прошлой неделе. Очень уж на меня подействовал тогда пример Лени Курица. А теперь я быстро присел и боком-боком протиснулся в узкую щель. По другую сторону ее тоже находился внутренний дворик, тоже – тесный и заваленный до третьего этажа грудами кровельного железа, на первый взгляд, абсолютно и безнадежно непроходимый, но я знал, что под этим железом есть нечто вроде извилистого крысиного лаза, я же его и расчистил опять-таки на прошлой неделе – обдирая бока, и в самом деле, как крыса, проехал животом по булыжнику, рванул лист дряблой фанеры, которой сей лаз был прикрыт, извернулся, наткнулся на что-то острое, совсем по-крысиному пискнул и весь мокрый, в испарине в конце концов выкарабкался наружу.

Вот теперь, вероятно, можно было не торопиться. Вряд ли они обнаружат тот путь, которым я от них скрылся. А если даже и обнаружат, то произойдет это не скоро. Минут двадцать, по крайней мере, у меня в запасе имеется. Отдышавшись немного, я перелез через груду битого кирпича, из которого страшноватыми зубьями высовывались расщепы сломанных балок, осторожно, присматриваясь, во что упираюсь, шаг за шагом спустился с ее длинного покатого бока и, пройдя по досочке, причмокивающей в голубоватой глине, оказался в пределах той самой заброшенной стройплощадки. Картина, открывающаяся отсюда взору, не радовала: многочисленные траншеи и ямы, заполненные неизвестно откуда натекшей известью, причем в одной из таких ям с тяжелым плеском ворочалось что-то живое, и, когда оно ударяло по стенкам, брызги разлетались вокруг на десятки метров. Попасть под такой душ, разумеется, не хотелось бы. Тем более что прямо за ямой, кстати длинной цепочкой соединяющейся с несколькими другими, точно средневековый замок, разграбленный и сожженный дотла, возвышалось уже изъеденное этими брызгами низенькое бетонное здание: сквозь пролеты и клети его светило белесое небо, а вверху поскрипывала благословляющим жестом стрела подъемного крана. Это было то самое загадочное «строение дробь тридцать восемь». И, как всегда при виде его, мне сразу же нехорошо вспомнился мертвый полковник. Потому что ходили слухи, что мумии вовсе не умирают: они вновь оживают и, будто призраки, затем слоняются по своей территории. Кости у них становятся твердыми словно камень, а суставы скрипят и трутся, причиняя невыносимую боль, и, чтобы эту боль хотя бы на секунду унять, мумии вынуждены омывать суставы человеческой кровью. Чепуха, разумеется. Сплетни, домыслы, очередные легенды. Никакими реальными фактами они

не подтверждались. И тем не менее я при каждом шорохе вздрагивал и невольно оглядывался. Неприятен был пыльный, бугристый, безжизненный пустырь стройплощадки, неприятно было белесое, тухлое небо, просвечивающее сквозь «строение дробь тридцать восемь», неприятен был запах известки, который пропитывал воздух, и неприятна была царящая в этом пространстве глухая нечеловеческая пустота. Будто жизнь навсегда покинула это место. Сердце у меня колотилось, и все чудилось, что за мной наблюдает кто-то невидимый. Вот он сейчас неслышно вырастет у меня за спиной и вдруг, бешено захрипев, вопьется кривыми когтями мне в шею. Немного успокоился я лишь тогда, когда обогнул застывший, по-видимому навеки, конус бетономешалки, перепрыгнул через еще одну яму, скопившую на песчаном дне черную жижу, и, одолев арматуру, закрученную у «строения тридцать восемь» немыслимыми узлами, просунулся сквозь нее в будку уличного телефона. Сохранился он здесь, вероятно, каким-то чудом. Вероятно, лишь потому, что в суматохе о нем элементарно забыли. И еще большим чудом представлялось то, что он продолжал работать. Я набрал нужный номер и переждал четыре длинных гудка после соединения. А потом нажал на рычаг и набрал тот же самый номер вторично. Трубку взяли, как и было условлено, тоже – на четвертом гудке. Неприязненный, безразличный ко всему голос сказал:

– Парикмахерская второго объединения слушает…

– Мастера Иванова, пожалуйста, – попросил я.

В ответ мне было сообщено, что никакого мастера Иванова у них не числится. Тогда я сразу же попросил позвать мастера Иннокентьева. Мне опять было сообщено, что и мастера Иннокентьева здесь не имеется.

– Вы не туда попали, – строго указал собеседник.

Трубку, однако, там не повесили. Возникла пауза. Это была так называемая «контрольная пауза», необходимая для последней проверки. Я, изнывая от нетерпения, мысленно считал до одиннадцати. Тоже, выдумали, понимаешь, какую-то дурацкую конспирацию. Ну поставили бы, в конце концов, человека, который знает мой голос. Голоса у нас, кажется, еще не научились подделывать? Наконец положенное число секунд, видимо, истекло и все тот же строгий, неприязненный голос сказал, что теперь я могу продиктовать сообщение. Я попробовал заикнуться было, что сегодня мне нужен именно Куриц: Куриц, Куриц – ферштейн? Вы мне его еще в прошлый раз обещали. Однако все мои просьбы были однозначно проигнорированы:

– Диктуйте!

Я смирился и внятно продиктовал только что полученное письмо. А затем повторил, чтобы текст, снятый с голоса, можно было проверить.

– Хорошо. А теперь запоминайте, – сказали в трубке.

И в ближайшие пять минут вдруг выяснилось, что я должен, оказывается, совершить целый ряд подвигов. Во-первых, срочно достать (спасибо, можно и в копии) так называемый «Красный план» (то есть план санитарных мероприятий на этот месяц); во-вторых, выяснить и составить схему постов в здании горисполкома: их сменяемость, график, оружие (прерогатива отдела охраны); в-третьих, мне следовало подумать, как заблокировать, намертво разумеется, центральный диспетчерский пульт (я, кстати, даже и не подозревал, что такой имеется), и в довершение ко всему – достать запасные ключи от черного хода, в крайнем случае, сделать их точные дубликаты.

В общем, задание для группы разведчиков месяца на четыре. Непонятно было, за кого они меня принимают.

– Вы с ума сошли! – сказал я, стискивая перекладину будки. – Я вам, наверное, уже сто раз объяснял, что не буду работать вслепую. Что вы там у себя готовите: переворот, заговор? И в конце концов, я хочу говорить непосредственно с Леонидом Курицем. Или – что? Или, знаете, у меня ощущение, что вы его от меня специально прячете…

Я готов был закричать от бессилия.

– Только не надо эмоций, – холодно ответили мне в трубке. – Вы запомнили? Контакт – через пару дней в это же время. И учтите, Николай Александрович, мы вас вторично предупреждаем.

– Интересно, о чем? – спросил я с ненавистью.

– О том самом, Николай Александрович. О том самом, – сказали в трубке.

И сейчас же череда коротких гудков возвестила, что разговор окончен. От внезапной ярости я чуть было не саданул трубкой по ни в чем не повинному автомату. В самом деле, за кого они меня принимают? С Леней Курицем я не мог поговорить напрямую уже больше недели. Было очень похоже, что нас с ним действительно мягко и аккуратно разводят. Если, конечно, сам Леня Куриц еще пребывает в числе живущих и здравствующих. Потому что случиться за это время могло все что угодно. В том числе, например, и вполне естественный «несчастный случай». Несколько таких якобы несчастных случаев в последние дни уже были. Ах, кто мог бы подумать, что Леонид Иосифович будет так неосторожно переходить через улицу.

Мы его столько раз просили быть хоть чуточку повнимательнее. Но ведь вы же знаете, какой Леонид Иосифович был нетерпеливый. Ну и, разумеется, «примите наши самые искренние соболезнования». А меня, кстати, они все-таки держат за полного идиота. Ежу понятно, что готовится вооруженное нападение на горисполком. И они полагают, что я как дурак влезу в эту кровавую кашу…

Я так задумался, что не сразу заметил, как будку накрыло слабое подобие тени. Отпрянул, только почувствовав жаркое дыхание на затылке. Сердце у меня дико прыгнуло и больно-больно ударило изнутри по ребрам. Правда, уже в следующую секунду, которая отозвалась шумом в ушах, я с громадным облегчением догадался, что это вовсе не оживший полковник. Я увидел грязный и страшно изжеванный, но довольно-таки еще добротный костюм, рубашку, выглядывающую из-под разрезов жилета, перекрученный галстук, очки, клинышек козлиной бородки.

– Фу-у… – сказал я, чуть ли не обмякая всем телом. – Фу-у… Как вы меня напугали, профессор. Нельзя же так, я вас уже просил не подкрадываться. Ну, все-все, пустите, мне надо отсюда выбраться…

Однако профессор, раскинувший руки, и не думал отодвигаться.

– Есть принес? – спросил он гортанным голосом, в котором чувствовалось ожидание.

Я в растерянности посмотрел на него, а потом выпрямился и хлопнул себя ладонью по лбу.

– Елки-палки, забыл! Вот черт, забыл, из головы вылетело!.. Простите, профессор, завтра принесу обязательно…

И я сделал попытку отжать его дверью в сторону. Потому что внутри автомата я был точно в клетке.

Профессор легко подался и вдруг обеими ладонями схватился за перекладину.

– Нет, не надо, – сказал он, взирая на меня серыми расширенными зрачками. – Тебе нельзя. Не ходи никуда. Не надо…

– Почему нельзя? – спросил я как можно спокойнее.

– А ты не знаешь?

– Нет.

– И никто не знает, – тоскливо сказал профессор. – Никто-никто, только я один знаю…

Я еще немного потеснил его дверцей.

– Что именно?

– Ну, раз не знаешь, тогда – иди, – вяло сказал профессор.

И, точно потеряв ко мне всяческий интерес, повернулся и легкой тенью скользнул сквозь изогнутую арматуру. Не брякнула и даже не скрипнула ни одна железяка. Длинная расслабленная фигура побрела, загребая пыль туфлями.

Вдруг остановилась неподалеку от известковой траншеи и, наверное что-то услышав, приложила ладони к ушным раковинам.

Профессор, как локатор, медленно повернулся.

Блеснули очки.

– Крысы!.. Крысы уходят из города!.. – крикнул он.

Профессор был где-то рядом, и я знал, что он где-то рядом, но я никак не мог понять, где именно. Прямо над нами горел фонарь, по-птичьи склонивший голову, и сиреневый, ртутный, безжалостный свет его, раздробившись в кустах, испещрял темноту пятнами синюшных отеков. Света вообще было слишком много. Очумелая предательская луна, словно вырезанная из яркого холода, поднялась над домами. Мерзлый блеск ее обдавал горб моста, улицу, трамвайные рельсы. Твердая земля перед нами выглядела серебряной.

– Мы здесь как на ладони, – оглядываясь, шепнула мне Маргарита. – Нас, наверное, видно метров за двести. – Сегодня она была на удивление спокойна и собранна, в джинсах и потрепанном свитерке, который, наверное, не жалко было рвать по кустарникам. Она, видимо, все последние дни спала в одежде. – Надо уходить отсюда, – снова прошептала она. – Уходить, уходить, уходить немедленно. – Все-таки голос у нее немного подрагивал. Я поспешно ощупал ладонями землю вокруг себя и, найдя увесистый камень, запустил им в сторону фонаря. Камень тут же исчез. Наверное, я промахнулся. Но двумя секундами позже фонарь вдруг как взорванный разлетелся на сотни стеклянных осколков. Мелкой сечкой хлестнули они по синеватым листьям. Вероятно, кто-то неподалеку оказался более удачлив, чем я. Маргарита вскрикнула.

– Тише, тише, – сказал я одними губами.

От нее исходило тепло и незнакомый мне свежий цветочный запах. Разумеется, нам следовало убраться отсюда, но теперь, когда света было значительно меньше, стало ясно, что уходить особенно некуда. Сквер был узкий, прореженный, едва прикрытый деревьями, через улицу от него еле теплились лампочки под сводами Торговых рядов, света как такового они почти не давали, но в расплывчатой их желтизне угадывались какие-то быстрые уродливые фигуры. Доносились размытые воздухом крики и металлическое позвякивание. Выполз протяжный,

отчетливый стон умирающего человека. Драка там шла, кажется, не на шутку, и мне очень бы не хотелось соваться туда без крайней необходимости. Впрочем, и по другую сторону дела обстояли нисколько не лучше, потому что с другой стороны от нас чернела призрачная решетка Канала. Что там происходило за парапетом, я, конечно, не видел, но казалось, что вместо воды там сейчас течет горячая, липкая сукровица. И кувшинки на ней – как лохматые сгустки крови. Правда, останавливало меня в данный момент не это. Останавливало меня, что как-то странно скрипели на другом берегу разлапистые сухие деревья, просто душу выматывало этим колючим скрипом, и что черным суставчатым пальцем торчала над ними мертвая колокольня, и что возле нее, подсвеченные луной, тоже подпрыгивали, будто танцуя, какие-то уродливые фигуры. Это, вероятно, «мумии» праздновали полнолуние. Вот почему на другую сторону мне также не сильно хотелось. Относительно свободным оставалось для нас только одно направление. Именно то направление, которое выводило нас прямиком к дому. В прошлый раз мы преодолели его вполне благополучно. Да и сейчас там, на первый взгляд, не было ничего подозрительного: скользкие трамвайные провода, рельсы, булыжник, тополя, именно в этой части сохранившие широколиственные шуршащие кроны. Картина совершенно обыденная, привычная и успокаивающая. И однако направиться в эту сторону мне что-то мешало. И я даже не пробовал сейчас разобраться, что, собственно, мне там мешает. Я просто не мог, не хотел, и при одной мысли об этом у меня слабо заныли коленные чашечки. Я лишь совсем немного высунулся в том направлении из кустов, и меня тут же, как под холодным душем, стиснуло тысячами мурашек. Каждый нерв в теле отозвался на это движение протяжной болью. Кстати, и Маргарита, наверное, тоже что-то такое почувствовала – вцепилась мне ногтями в рубашку и зашептала:

– Не надо туда ходить… пожалуйста… не надо, не надо…

Вероятно, она испугалась еще сильнее меня. Впрочем, я уже и сам догадывался, что не надо. Потому что как раз оттуда, из этой обыденности, привычности и покоя, из удушливой тишины, которая простиралась, наверное, до самого края света, очень редко, но зато очень явственно докатывалось глуховатое: хруммм!.. хруммм!.. хруммм!.. – кажется, постепенно усиливаясь и приближаясь к скверу. Это, видимо, лапы Зверя крошили камень.

Обливаясь испариной, я снова нырнул под защиту кустарника. Свет вокруг был – скарлатинозный, как будто при высокой температуре. Напряженно пульсируя, он протекал

через оконные рамы. Стекла в них почему-то отсутствовали, и тяжелый, какой-то тоже скарлатинозный ветер надувал прозрачные занавески. Небосвод распахивался беззвездным провалом. Антенны на лунных крышах торчали как жесткие веники. Мерное «хруммм!.. хруммм!.. хруммм!» раздавалось теперь где-то совсем рядом. Я один словно перст стоял посередине оглохшей комнаты. На полу белела сброшенная подушка, простыня скрутилась и длинным концом своим свешивалась до паркета. Я совершенно не помнил, как я успел подняться обратно, но я твердо и ясно помнил, что мне необходимо сию же секунду бежать отсюда. Смертью веяло от этого пульсирующего скарлатинозного света, смертью веяло от паркета, от люстры, от стен, где угадывались мертвые фотографии, от обоев, почему-то дышащих нежными паутинками, от обшарпанной, тикающей испорченным краном раковины на кухне. Почему-то воду сегодня на ночь не отключили. Было жарко и до безумия страшно, потому что я знал: в этот момент крысы уходят из города. Они громадными стаями сбиваются сейчас по подвалам, щерятся щеточками усов и выползают на улицы. Трехголовое, в трех черных коронах чудище бредет во главе каждой колонны, и сияющая луна высвечивает бесконечные вздыбленные шерстистые спинки. Великий Исход. Переселение из жизни в пугающую неизвестность. Я не видел, но чувствовал на улицах это грозное шевеление. Все было – последнее, чуть желтоватое, как при смертельной болезни. Тикал будильник. Жена, будто снулая рыба, пребывала в беспамятстве. Рот ее был открыт, а пальцы сплетались на горле. Вероятно, она все же спала как ни в чем не бывало. Или, может быть, уже умерла, но я до сих пор не догадывался об этом. Я попытался тронуть ее, но ладони мои проходили сквозь тело, не встречая сопротивления. Я был как призрак, а призраки всегда нереальны. Пальцы сжимались и безнадежно хватали горячий воздух. Я, вероятно, совсем отсутствовал в этом мире. «Хруммм!.. хруммм!.. хруммм!..» – все так же раздавалось из беззвездного неба. А жена вдруг совершенно равнодушно сказала:

– Не трогай меня, пожалуйста.

– Я тебя и не трогаю, – отпрянув, сказал я.

– Нет, ты трогаешь, я же чувствую, – сказала жена. – Я тебя боюсь, ты – почти уже не человек… – Веки ее поднялись, и под ними была такая же беззвездная чернота. Зрачков не было, и, по-моему, она совсем не дышала.

Я как призрак прошел сквозь стену в соседнюю комнату. Близнецы мирно спали, и сонные мордочки их были повернуты друг к другу. Мои руки опять проходили сквозь них безо всяких

усилий. Кажется, я кричал, но никто не слышал моего охрипшего голоса. Только близнец справа сказал громко и внятно:

– Папа, послушай, ты нам всем ужасно мешаешь. Мы тебя очень любим, но лучше бы ты сейчас нас оставил…

А близнец, спавший слева, добавил ехидным фальцетом:

– Пока, папа! Бе-е-е!.. – при этом губы у них обоих не шелохнулись.

Тяжелое, мерное «хруммм!.. хруммм!.. хруммм!..» доносилось с улицы. Зверь, крутя из стороны в сторону мордой, брел по городу. Тело его, выше домов, было из красного камня. Скарлатинозный болезненный свет стал еще мучительнее. Я почувствовал, как сдвигаются внутрь себя объемы квартиры. Стены ее колыхались, словно сделанные из цветного тумана.

– Уходи!.. – кричали мне близнецы. – Уходи! Не мешай нам смотреть, что дальше!.. – Оба они по-прежнему спали, дыша как младенцы. Почему-то сама собой вдруг распахнулась наружная дверь. Придвинулась, точно в наплыве, серая ужасная лестница. В конце ее открывалось нечто вроде туннеля. Чернота беззвездного неба, по-видимому, не давала ему сомкнуться. Значит, вот каким образом я оказался в квартире. И между прочим, «явление» уже второй раз происходит именно в этом районе. Наверное, не случайно. Интересно, что сказал бы по этому поводу Леня Куриц?

Впрочем, сейчас мне, конечно, было не до долгих раздумий. Я не глядя нащупал ладонь Маргариты и крепко стиснул ей пальцы:

– По моей команде бежим на ту сторону!.. – Маргарита кивнула. Мне слышно было ее рвущееся дыхание. – Приготовились, – шепотом сказал я. Она снова кивнула. И как раз в эту секунду раздался уже знакомый мне по прошлому разу бензиновый рев моторов, кряканье хриплой сирены, звяк гусениц по булыжнику – серые, в защитных разводах бронетранспортеры со скошенными боками, точно ящерицы, вдруг выскочили к Каналу со всех сторон и, мгновенно осекшись, замерли, нацелившись куда-то в сторону колокольни. Откинулись люки, посыпался изнутри грохот армейских ботинок. Ожерельем мертвенных солнц вспыхнули со всех сторон фары. Резкое, безжалостное сияние пронизывало сквер, казалось, до последней травинки. Скрыться от него было некуда. Мы как будто очутились на ярко освещенной сцене театра. Усиленный мегафоном голос проревел из огненного тумана:

– Выходите!.. По одному!.. Стреляю без предупреждения!..

– Все, – устало сказала Маргарита. – Теперь они нас задержат. – Вероятно, сил у нее не хватало даже на отчаяние.

На несколько мгновений все вокруг замерло. И в этом предсмертном оцепенении, скрепившем воздух, я увидел, как выхваченная прожекторами, застыла, не добежав до моста, какая-то чуть согнутая фигура. Человек находился именно там, куда только что собирались рвануть мы с Маргаритой. Однако, к счастью, точнее к несчастью, он оказался чуть-чуть проворнее. Я также увидел, как человек этот в растерянности замахал руками. Не знаю уж, собирался ли он повернуть обратно или просто впал в полное беспамятство от страха и неожиданности. Выяснять это, конечно, никто и не собирался. Прохрипели, как задыхающиеся, внахлест сразу две автоматные очереди, две невидимые глазу спицы мгновенно проткнули тело, некоторое время оно еще покачивалось взад-вперед, как будто удерживаемое ими, а потом надломилось, и бесформенный мокрый мешок шлепнулся на трамвайные рельсы. Опять на какие-то две-три секунды все вокруг замерло, и вдруг сразу несколько голосов закричали: «Не стреляйте!.. Не стреляйте!.. Выходим!..» Из трепещущих глянцем кустов начали подниматься люди. Их было гораздо больше, чем можно было предположить. Словно статуи, выпрямились они в сияющем неземном освещении и стояли, тоже как статуи, по пояс в переливчатом лиственном копошении. Маргарита, по-моему, хотела выпрямиться вслед за ними, но я быстро, как только мог, перехватил ее и пригнул к твердой почве. Она, сначала чуть дернувшись, послушно присела. Только странная нерешительная улыбка раздвинула губы. Она как будто извинялась передо мной за что-то.

– Пока не высовывайся! – прошептал я в теплое ухо.

Она мне кивнула – опять нерешительно улыбнувшись. Над головами у нас растянулись тонкие серебряные паутинки. Со всех сторон слышался шорох шагов и треск мелких веточек под ногами. Честно говоря, я и сам не очень-то понимал, на что здесь можно рассчитывать. Отсидеться в кустах нам, разумеется, не удастся. Уже минут через пять начнется прочесывание, и нас немедленно обнаружат. Это еще хуже, чем если бы мы просто сдались вместе со всеми. Они могут нас пристрелить, и разбираться потом в обстоятельствах гибели никто не будет. Глупо в такой ситуации рассчитывать на снисхождение. В лучшем случае нас все равно отправят в один из городских Карантинов. Есть приказ военного коменданта, и его следует исполнять. А Карантин, насколько я понимал, это та же самая смерть. Из Карантина не вырвался еще ни один человек. Вышки, песок, контрольно-следовая полоса шириной чуть ли не в сто метров. По ночам, естественно, патрули со сторожевыми собаками. Карантины курирует лично генерал-лейтенант Харлампиев.

Заместитель военного коменданта по правопорядку. Впрочем – что заместитель? По существу, он и есть комендант города. Так что здесь вряд ли можно на что-то надеяться.

Я услышал, как мегафон вдруг панически прохрипел: «Всем стоять на местах!..» – А потом: «Руки за голову!.. Быстро!.. Не двигаться!..» Вероятно, в налаженном механизме облавы образовались какие-то непредвиденные накладки. Вдруг и в самом деле ударили откуда-то два глухих дальних выстрела. Не похоже, что из пистолета, скорее винтовочные. И сейчас же два ярких прожектора неподалеку от нас ахнули разлетевшимися осколками. Эта часть огненного ожерелья ослабла. Я немедленно прошептал Маргарите:

– Только спокойно! Видишь там, сзади, ступеньки к воде? Вот, давай, потихоньку – туда…

И она тут же ответила мне сквозь зубы:

– Проклятый город!..

– Ползи-ползи, – нервно сказал я.

– Слушай, ты же в Комиссии, сделай мне пропуск через кордон.

– Ползи-ползи, я тебя умоляю…

– Ты же можешь, я знаю, я здесь больше не выдержу…

Тем не менее мы как гусеницы отползали к чугунной ограде. Спасение было близко, и у меня звонко, как железные ходики, стучало сердце. До спуска к воде оставалось совсем немного. Вот уже назойливо полез в ноздри запах гниющей ряски, вот уже загудели, прицеливаясь, комары, наверное громадной тучей поднявшиеся из осоки, вот я локтями уже почувствовал мокроту тины, выплеснутой почему-то на набережную – интересно, кому это понадобилось таскать сюда тину? – и в этот самый момент, перекрывая даже шум заведенных моторов, Маргарита приподнялась на локтях и пронзительно вскрикнула.

– Что, что такое? – спросил я, снова обхватывая ее за плечи, а она, вся дрожа, тыкала рукой куда-то вперед:

– Там-там-там… внизу, видишь?..

Зараженный ее волнением, я осторожно выглянул из-за парапета: на гранитной площадке, по краю которой дыбился густой слой мокрой ряски, лежал треугольный, изогнутый, жирный, блестящий плавник, похожий на ласт тюленя, чуть подрагивающий светлым кончиком, явно живой, упругий, даже, кажется, с какими-то кожистыми наростами у основания, и еще прежде, чем я успел что-либо сообразить или испугаться по-настоящему, этот плавник, почти свернувшись кольцом, лениво поднялся из тины, а потом вяло и как-то небрежно шлепнул по гранитной плите. Ошметки тины хлестнули в облицовку

Канала. Заколыхалась стоячая ряска. Маргарита опять пронзительно вскрикнула.

То есть путь к отступлению был для нас безнадежно отрезан. Я не знаю, что за очередное чудовище облюбовало себе этот участок Канала – толстый слой ряски скрывал его, вероятно, мощное туловище, – но, конечно, соваться туда нечего было и думать. Маргарита, по-моему, даже заплакала, прикрыв рот ладонями. Медленное, тяжелое «хруммм!.. хруммм!.. хруммм!..» раздавалось где-то уже в непосредственной близости. Кажется, кроме меня никто этого не слышал. Честно говоря, я тоже чуть было не заплакал от дурацкой безвыходности ситуации. Наши шансы на спасение таяли с каждой минутой, и взамен их, тоже с каждой минутой, становилась все большей реальностью колючая проволока Карантина. Впрочем, лично меня ни в каком Карантине, конечно, держать не будут. Лично меня, как только выяснится, кто я есть, скорее всего, расстреляют на месте. Только законченный идиот не воспользуется таким превосходным случаем избавиться от члена Комиссии, а насколько я понимал, генерал Харлампиев и генерал Блинов вовсе не были идиотами. То есть лично у меня никаких шансов вообще не было.

– Ну что, будем сдаваться? – с неожиданно злой веселостью осведомилась Маргарита. – Хочешь, я тебя на прощание поцелую? Хотя нет, я, знаешь, сейчас такая вся грязная…

Кстати, и у нее тоже никаких шансов не было. Это свидетель, а свидетелей подобных событий убирают в первую очередь. Свидетели тут, разумеется, никому не требуются. Сквозь чугунную вязь парапета я видел, что освещенный огнями сквер постепенно пустеет. Люди тянулись к фургонам, зияющим распахнутыми задними дверцами, а солдаты, уже выстроившиеся в цепочку, погоняли их окриками и прикладами. Вот другая их группа неторопливо развернулась в шеренгу и пошла сквозь кусты, отбрасывая изломанные невероятные тени: закатанные рукава, автоматы у бедер, лихо сдвинутые на бок береты, овчарки, повизгивающие от возбуждения. Им до нас оставалось, наверное, метров сто, не больше. Метров сто – это, видимо, две минуты спокойным таким, прогулочным шагом. И выходит, что жизни у нас с Маргаритой – тоже только на две эти минуты.

Я в отчаянии переломил какую-то жесткую, колючую веточку.

– Ничего не бойся.

– А я ничего не боюсь, – усталым голосом ответила Маргарита. – Ничего не боюсь, вот только почему-то спать очень хочется…

Глаза у нее и в самом деле слипались, и она с изрядным усилием, морщась, вновь поднимала веки. Я ничего не мог

для нее сделать. Черный беззвездный город вдруг протянул передо мною притихшие улицы. Я сейчас смотрел на него как будто немного со стороны: фонари, переулки, дворы, подворотни, набережная Канала, сквер, солдаты и два человечка, замершие у гранитных ступенек, и смертельное легкое равнодушие, которое исходит от камня; умирание фонарей, переулков, дворов, подворотен, набережной Канала, двух человечков, замерших у гранитных ступенек, жуткость черного неба, серый холодноватый пепел домов и асфальта. Я даже чуть-чуть подался вперед, чтобы лучше видеть все это. И вдруг кукольная цепь солдат внизу панически заметалась: некоторые побежали, схватившись за голову, к игрушечным грузовичкам, тоже поспешно задергавшимся, некоторые валились ничком и выглядели мелкими кочками на асфальте, а еще некоторые судорожно вскидывали автоматы, и тогда крохотные огоньки начинали трепетать на дулах. Это меня нисколько не испугало. Это скорей удивило меня своей явной бессмысленностью. Неужели они не видят, кто перед ними? Я набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул его по направлению к перекрестку. Бледное зеленоватое пламя прокатилась вдоль улицы. Сразу же приподнялось коробчатое железо на крышах, яркими, веселыми свечками вспыхнули два-три дерева, обозначавшие угол сквера, метнулись блики в каналах, оделась голубизной суставчатая колокольня, и в ночной безжизненной пустоте открылась круглая небольшая площадь за мостиком. Кукольные грузовички опрокинулись и запылали…

Той же ночью была предпринята попытка вырваться из Карантина. По официальным сведениям, бежало где-то около пятнадцати человек. Им каким-то образом удалось поджечь разваливающиеся казармы рядом с хозчастью, и, пока внимание всей охраны было отвлечено клубами черного дыма, ползущими по территории, они через заброшенный и не учтенный ни на каких картах канализационный проход всего за двадцать минут выбрались на соседнюю улицу. Все свидетельствовало о наличии тщательно продуманного и осуществленного плана. Причем сразу же по выходе из трубы группа разделилась на две примерно равные половины. Восемь человек попытались пересечь Московский проспект в районе станции метро «Фрунзенская», здесь их обнаружили и, грамотно прижав к железнодорожным пакгаузам, предложили сдаться. Двое членов группы погибли, отчаянно бросившись с заточками на автоматы, остальные побросали ножи и той же ночью были препровождены в оперативно-следственную часть военной комендатуры.

Судьба их, вероятно, оставляла желать лучшего. Вторая же группа поступила несколько необычно. Состояла она также примерно из семи-восьми человек, личности которых установить не представлялось возможным, и неожиданно для оцепления, блокировавшего по тревоге весь этот район, двинулась напрямик через так называемые Черные Топи (то есть через болото, лежащее за Новодевичьим кладбищем). Эти Топи образовались как-то незаметно для городского начальства и имели очень недобрую славу среди окрестного населения, потому что над ними даже в солнечный день покачивалось зеленоватое туманное марево, сквозь которое лишь иногда проступали крохотные озерца с блестящей жирной водой, окруженные светло-ржавыми скрежещущими зарослями осоки. Причем каждую ночь выкатывалось из тумана отчетливое тяжелое рыканье и немедленно вслед за ним – протяжные вздохи и плески. Словно какой-то невидимый бронтозавр всплывал из трясины. Говорили, что в этом болоте уже исчезло когда-то целое подразделение автоматчиков. Ни один человек не вернулся потом рассказать, что случилось. В результате взвод, наряженный в погоню за беглецами, идти через эти Топи категорически отказался, не помогли ни щедро объявленное денежное вознаграждение, ни угрозы помощника военного коменданта погнать их туда силой оружия. Существует, по-видимому, нечто такое, чего боятся даже бойцы спецназа. В общем, ограничились тем, что в течение получаса обстреливали Топи из пулеметов, да звено вертолетов, пройдя крест-накрест над этим районом, засадило пару ракет «в места подозрительного шевеления». Больше ничего предпринято не было. Согласно официальной версии, все члены группы погибли. Во всяком случае, никаких сведений о них далее не поступило. Правда, некоторые весьма интригующие подробности сообщила мне Леля Морошина. Я, как помню, пришел тогда на работу мрачный, невыспавшийся и до последней степени раздраженный, с чугунной, тупо пульсирующей болью в затылке, ненавидящий всех и готовый сорваться по самому пустяковому поводу. Причем у меня были для этого убедительные причины. Дело в том, что коричневое болото возле нашего дома все разрасталось и разрасталось, тухлая торфяная жижа доходила уже до самых дверей парадной, и как раз этой ночью она, перевалив через бетонный порожек, протекла вдоль стены и хлынула по ступенькам в дворницкую. Небольшой этот подвальчик наполнился, по-видимому, довольно быстро. Сразу же, конечно, замкнуло щитки распределительных будок. Пожара как такового, к счастью, не произошло, однако техники районной подстанции немедленно отключили весь дом

от снабжения. Это было для нас чрезвычайно неприятным сюрпризом. Без воды, горячей и даже холодной, мы жили где-то уже около месяца – я ходил на улицу, с ведрами, к временной разливной колонке, – но без водопровода, как выяснилось, существовать еще было можно, без водопровода сейчас обходилась, наверное, половина города, а вот обходиться вдобавок без электричества будет, конечно, гораздо труднее. Я уже представлял, что тогда, скорее всего, нам придется сменить квартиру. То есть сразу же, уже в ближайшие дни потребуется какое-нибудь временное пристанище. А это в свою очередь означало, что, хочешь или не хочешь, придется обращаться в военную комендатуру. Генерал-лейтенант Блинов и генерал-лейтенант Харлампиев. Меня очень угнетала необходимость обращаться в военную комендатуру.

В общем, в таком вялом и угнетенном расположении духа, проклиная всех генералов на свете, а заодно и все на свете коммунальные службы, временами морщась от боли в затылке, которая то вспыхивала, то ослабевала, я шагал по главному административному коридору, неохотно и невпопад отвечая на приветствия встречных. Одновременно я замечал, что и встречных в этом секторе здания становится все меньше и меньше. Наша Комиссия, кстати как и некоторые другие, тихо агонизировала. Впрочем, удивляться этому не приходилось: каждые два-три дня кто-нибудь из ее состава без всякого предуведомления исчезал, просто переставал являться на рабочие заседания, и узнать о судьбе очередного пропавшего не представлялось возможным. Я мельком подумал, что скоро, вероятно, наступит и моя очередь.

Вот с такими мыслями я уже сворачивал в темноватый, без ковровой дорожки, коротенький тупичок, где немного на отшибе располагались кабинеты Экологической группы, когда с площадки, образованной лестницей черного хода, из приоткрытых дверей меня осторожно окликнули. Там стояла Леля Морошина в синем своем халатике и как заведенная подносила сигарету ко рту, пыхая мелким дымом.

– Покурим, – предложила она нейтральным тоном.

– Покурим, – ответил я, немедленно насторожившись. – Только ведь я не курю, ты прекрасно об этом знаешь.

– Не имеет значения, – быстро сказала Леля. – Всего на пару минут. Сделай вид, что затягиваешься.

Она чуть ли не насильно сунула мне сигарету в пальцы и щелкнула зажигалкой, а потом спустилась до половины пролета и посмотрела – нет ли кого-нибудь этажом ниже. Губы и глаза у нее были сильно накрашены.

– О побеге слышал? – спросила она, понизив голос.

– Слышал, – ответил я – тоже чуть ли не шепотом.

– Ну так ты еще не все слышал, – сказала Леля. – Трое из этих, ну, которые через Топи, все-таки выбрались на другую сторону. Одного взяли сегодня, на Петроградской. Вздумал, видите ли, дурачок, проведать семью… – она бросила докуренную сигарету и тут же полезла за следующей. – Задержание прошло неудачно: он выбросился из окна. Ну сам понимаешь, пятый этаж… Однако кое-какую информацию сдать все же успел. В общем, остались, по-видимому, еще две явки: на Конюшенном переулке и на Сенной площади. Точных адресов я пока не знаю. Надеюсь, ты сможешь запомнить: Конюшенный переулок и Сенная площадь?

– А зачем мне это запоминать? – поинтересовался я.

– Низачем, – сквозь зубы, недружелюбно сказала Леля. – Ты просто запомни. Ты вот просто запомни, и больше от тебя ничего не требуется…

Она снова бросила сигарету в урну.

– Ладно, запомню, – сказал я, довольно-таки неумело стряхивая туда же пепел.

– Вот-вот, запомни, – сказала Леля. – Уж ты запомни, пожалуйста.

И, ничего более не прибавив, стала неторопливо спускаться по лестнице.

Этот разговор крутился у меня в голове довольно долго – все то время, которое я просидел тогда за текущими документами. И чем дольше я думал о нем, тем он меньше нравился. Я ведь знал, что Леля Морошина уже давно работает на военных. Это факт. Информация Лени Курица всегда была достоверной. Но тогда зачем она сообщила мне насчет этих явок? Сведения о явках она получила, скорее всего, от тех же военных. Тогда выходит, что она работает на другую сторону. Или все-таки на военных и это какая-нибудь именно по-военному квадратная и тупая проверка? Заложили в меня информацию и смотрят, что я теперь буду делать. А вот ничего не буду. Не обязан я в такой ситуации что-либо делать. Если им это нужно, вот пусть тогда сами и делают. Вообще я – не я, и, пожалуйста, оставьте меня в покое.

Я рутинно проглядывал сообщения, поступившие в истекшие сутки. Ничего интересного в этом ворохе фактов, естественно, не содержалось. За неделю действительно несколько увеличилась площадь, занимаемая болотами: языки их смыкались и кое-где появились зачатки нового «обводнения». Часть Васильевского острова была теперь совершенно отрезана. Это в районе

Пятнадцатой – Шестнадцатой линий по направлению к Смоленскому кладбищу. Неужели образовываются вторые Черные Топи? Население оттуда эвакуировано, предупредительные знаки поставлены. Значит, еще один микрорайон в центре для нас потерян. Также несколько, процентов на десять-двенадцать, возросла и площадь, занимаемая «железной травой». Почему-то особенно много ее было у Тучкова моста. Кстати, мне наконец-то прислали официальное заключение из лаборатории. Доктор Савин, проведя соответствующие анализы, предполагал, что «трава» представляет собой мутантную разновидность так называемого мятлика лугового. Этот мятлик имеет самое широкое произрастание. Доктор Савин также ответственно заявлял, что никакой генетической опасности он в данной траве не видит. Специальные меры, по его мнению, вовсе не требуются. Между строк я догадывался, что именно он имеет в виду. Он имеет в виду прямую химическую атаку «травяных пятен». Этот план был недавно выдвинут кем-то из мелких чиновников (вероятно, военные хотели ознаменовать свой приход к власти активными действиями), и теперь ряд экологов, еще имеющих доступ к информации с грифом «служебная», возражал против превращения целых районов в мертвые пустыри, отравленные химикалиями. Впрочем, насколько я знал, средств для осуществления такого плана все равно не было. Несколько больше поэтому заинтересовали меня новые сведения о насекомых. Энтомолог Гарий Сипян утверждал, что в ощутимых количествах насекомых в городе больше нет: они либо вымерли, либо мигрировали за его пределы. Проводились отчетливые параллели с недавними миграциями грызунов. И аналогичные параллели с внезапным массовым отлетом птиц за городскую черту. Разумеется, обсуждался и предполагаемый механизм. Что-то очень такое, связанное с геопатогенными излучениями. Допускалось, что прямо под городом расположена некая «активная зона», кора там тонкая и «дыхание мантии» губительным образом действует на все живое.

Словом, это была очередная гипотеза. С некоторым отвращением я скомкал доклад и бросил его в мусорную корзину. Сногсшибательные гипотезы мне уже надоели. Я был сыт гипотезами, наверное, до конца своей жизни. Впрочем, было в сегодняшней сводке и нечто любопытное: ксерокс некоего исторического документа, причем, по-моему, весьма плохо сделанный. Я с трудом разбирал вязь подслеповатого рукописного текста. Речь в этом документе шла об основании города. Дескать, место, где он заложен, проклято во веки веков,

ибо здесь еще с сотворения мира обитает некая подземная Тварь («Тварь» так и была написана – с заглавной буквы). Причем живет она непосредственно в толще болота и – по нашим грехам, разумеется – время от времени пробуждается от летаргии. Тогда, естественно, начинаются – мор, глад и трясение камня, полыхание сфер небесных и прочие стандартные апокалиптические неприятности… Автором этого документа был некий Лука по прозвищу Вепорь. Я задумался. Кажется, это имя будило во мне некоторые смутные воспоминания. Ну конечно! Именно такой документ когда-то заказывал мне Леня Куриц. И потом еще не раз вспоминал о нем, уже находясь в подполье. Я придвинул бумаги и внимательно просмотрел этот документ снова. И опять не понял, какой он может представлять интерес. Ну – что? Ну – пророчество. Ну, мало ли существует на свете всяких пророчеств? Если надо, то я их штук пятьдесят быстренько раскопаю. Да, конечно, присутствуют здесь некоторые определенные совпадения. Морду Зверя я, например, видел просто собственными глазами. И опять-таки – ну и что? А кого, по-вашему, я должен был видеть? Продолжение что ли какого-нибудь популярного сериала? Между прочим, набор массовых галлюцинаций всегда несколько ограничен. В общем, совершенно неясно, зачем этот документ вдруг потребовался Лене Курицу.

На всякий случай я сунул-таки его в портфель под другие бумаги и уже закрывал замки, собираясь сегодня смыться с работы пораньше – голова у меня все равно ничего толком не соображала, – когда в дверь моего кабинета вдруг отрывисто постучали и немедленно вслед за этим, не дожидаясь ответа, она распахнулась и в проеме возникла подтянутая, сухая фигура генерала Блинова.

– Ну, вот и все, – обреченно подумал я, поднимаясь.

Однако буквально уже в следующую секунду с внезапной радостью понял, что – нет, наверное, еще далеко не все. Если бы меня хотели арестовать, то вряд ли заместитель военного коменданта явился бы лично.

– Здравия желаю, товарищ генерал!..

Я гаркнул так, что с потолка, по-моему, осыпалось немного побелки. А генерал Блинов даже вздрогнул и чуть было не попятился.

– Что вы, что вы, Николай Александрович, – несколько испуганно сказал он. – Зачем нам с вами эти формальности? Я ведь просто так заглянул, по-товарищески, неофициально.

Сегодня он почему-то держался не слишком уверенно, показал мне вялой ладонью: не беспокойтесь, мол, сидите, сидите, как-то очень по-старчески, шаркающей походкой прошел

к окну и, взирая на хлам, громоздящийся в хозяйственном дворике, побарабанил пальцами по подоконнику.

Мне вдруг стало тревожно, что он – такой неуверенный.

– Что-нибудь случилось?

Генерал Блинов, не оборачиваясь, пожал плечами.

– Шла гроза, Николай Александрович, – ответил он как бы нехотя. – Помните, в июне была? Ну и надвигалась теперь, по-видимому, точно такая же. Кажется, нам удалось ее рассеять. Если, конечно, она рассеялась действительно от наших усилий. Я ведь, Николай Александрович, не специалист, не метеоролог. Мне, к несчастью, приходится верить тому, что докладывают…

Он задумался и поскреб на стекле какую-то невидимую соринку, а затем повернулся ко мне и осторожно присел на выпирающую батарею.

Вид у него теперь был совершенно измученный.

– Николай Александрович, у меня к вам один небольшой вопрос. Только я умоляю вас, отвечайте, пожалуйста, без этих ваших обычных иносказаний.

– Попробую, – нерешительно сказал я.

Ничего хорошего я от такого вступления не ожидал.

– Этот город погибнет? Да или нет?

Я опять-таки нерешительно начал:

– Информация, которая поступает к нам в последнее время…

Однако лицо генерала Блинова ужасно сморщилось. Он мотнул головой и даже пристукнул по батарее крепким сухоньким кулаком.

– Я вас не об этом спрашиваю! А – да или нет?!

– Да! – внезапно ответил я, уже не задумываясь о последствиях. Мне, в конце концов, надоело постоянно хитрить и увертываться. – Да, он погибнет! Вы это хотели от меня услышать? Ну так вот! Но это – только мое личное мнение. Никакого значения оно не имеет…

– Скоро? – напряженным шепотом спросил генерал Блинов.

– Скоро, – таким же напряженным шепотом ответил я.

– Как скоро?

– Этого я сказать не могу.

Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. А потом генерал Блинов достал клетчатый носовой платок и промокнул лоб.

– Вот и я так считаю, – разочарованно сказал он. – В отличие от всех остальных. Я не знаю, что именно здесь происходит; впрочем, этого, наверное, не знает никто, но пытаться в такой ситуации что-либо делать – это значит барахтаться и просто затягивать мучительную агонию…

Выглядел он сейчас лет на семьдесят – изможденный, с провисшей, как у рептилии, темной кожей под подбородком. Вовсе не генерал, который железной рукой наводит порядок во вверенном ему округе, а довольно слабый и явно растерянный человек, измочаленный жизнью, работой и разными мелкими тяготами.

Я спросил:

– А что, извините, по этому поводу думают там? – и большим пальцем левой руки многозначительно потыкал вверх.

Генерал посмотрел на меня как на идиота.

– Ничего не думают, – сказал он с легкой насмешкой. – Зачем им думать? У них своих дел хватает. В общем, «принимаются все необходимые меры».

В это время отвратительно задребезжал телефон на краю стола, но когда я машинально протянул к нему руку, чтобы снять трубку, меня будто ударило звенящей командой:

– Не трогать!

И ладонь моя поспешно отдернулась.

– Не трогать! – повторил генерал Блинов тоном ниже.

И сейчас же я услышал беспорядочные тупые выстрелы где-то снаружи. Они накатывались сюда стремительно, как цунами. Казалось, еще немного и они просто посыпятся в форточку; и вдруг мощный фугасный удар поколебал все здание. Заскрипела, покачиваясь под потолком, кольчатая железная люстра. Белым дождем и в самом деле слетели на пол хлопья побелки. Расплескались истошные крики во внутреннем дворике. И вторично задребезжал телефон, кажется даже подпрыгивая. И опять генерал-лейтенант Блинов коротко приказал мне:

– Не трогать!..

Он уже стоял у дверей, распластанный по стене так, чтобы, если ворвется кто-либо, оставаться укрытым, глаза его округлились и превратились в два черных прицела, а в руке, вывернутой точно у фараона на фреске, чернел пистолет.

Он процедил сквозь сжатые зубы:

– Ни хрена не понимаю. Почему раньше срока?.. Кто распорядился? «Время икс» еще даже не согласовано… Отвлекающая операция… Без поддержки… – И вдруг оба его черных зрачка воткнулись в меня, как иглы. – Вы на кого работаете, Николай Александрович?..

Я внезапно все понял:

– То есть этот телефон-автомат на стройплощадке все же прослушивается?

– Ну а вы как хотели бы? – хладнокровно ответил генерал Блинов. С чоканьем передернул затвор и ослабил на горле,

видимо, тугой узел галстука. – Ладно, к черту, забудьте об этом. Я вам верю. Вас просто-напросто используют втемную. – Он прильнул жестким ухом к щели между дверью и косяком. – Взрыв почувствовали? Это, судя по звуку, у меня в кабинете. Задержись я хотя бы еще минут на пятнадцать… – Он вдруг покрутил головой и просиял какой-то страшновато-счастливой улыбкой. Зубы у него были белые, как у мертвого. – Знаете, Николай Александрович, жить почему-то очень хочется. А вам, Николай Александрович, жить хочется? Ну, вы готовы? Ну – соберитесь-соберитесь, выходим!..

И он резко рванул на себя ручку двери.

В коридоре была оглушительная пустота, забитая дымом. Стулья, стекла, треснувшая штукатурка были перемолоты пронесшимся здесь ураганом. Вместе с дымом перетекали по воздуху какие-то невесомые паутинки, а у входа в столовую мягким тряпичным комком свернулся мужчина. Я его сразу узнал: Костя Плужников, из Третьего сектора. Он был бледен как мел, и пальцы его окостенели на животе, и он тихо постанывал, и натекала возле него малиновая густая жидкость.

– Больно… Больно… Больно… За что?.. За что?..

Вдруг вокруг стало тесно от множества возбужденных военных. Все кричали, толкались и бурно, не жалея локтей, протискивались к генералу Блинову. А один из майоров почему-то как заведенный сморкался в два пальца. И какие-то рослые парни в комбинезонах уже оттесняли всех к лестнице.

Главное, никто никого не слушал.

Я сказал:

– Костя, Костя, не надо, сейчас тебя перевяжут… Будет врач… Я прошу тебя, Костя, еще немножечко…

Но сведенные болью зрачки у него медленно завернулись под веки. Он как-то дернулся. Будто подавившись остатком жизни.

– Врача! – торопливо сказал я. – Врача! Врача!..

Никто даже не повернул головы.

Лишь генерал-лейтенант Блинов издали махал мне рукой:

– Николай Александрович! Где вы там? Не задерживайтесь по пустякам!.. – И вдруг закричал на весь коридор визгливым, раздраженным фальцетом: – Вы что, не слышите?!

При налете погибли четверо нападавших, и еще один, тяжело раненный, скончался по дороге в больницу. Также были убиты двое работников горисполкома. Из военной охраны никто, кажется, не пострадал. Следствие по данному делу вела, конечно, военная комендатура. Вроде бы они даже кого-то арестовали,

но узнать что-либо толком, естественно, возможности не было. В прессе об этом инциденте даже не упоминали. Я был рад хотя бы тому, что меня, наверное с указания генерала Блинова, не дергали на допросы. Хотя что конкретного мне могли бы инкриминировать? Разговор с кем-то по телефону? Так разговаривать по телефону у нас пока еще, слава богу, не запрещается. Нет пока еще такого запрета – разговаривать по телефону. А с другой стороны, зачем обязательно что-то инкриминировать? Сунуть его в Карантин, и все вопросы. В общем, муторные подробности следствия меня как-то не интересовали. Меня, кажется, вообще ничто больше не интересовало, и когда дня, по-моему, через четыре после злосчастного нападения я обнаружил у себя в почтовом ящике узкий листочек, где синим карандашом было выведено только одно слово: «Предатель», то, разглядывая его, не испытал ничего, кроме вялого ожесточения. Мне было уже все равно. Листочек этот я просто скомкал и выбросил. Я не то чтобы не верил в угрозы, исходящие откуда-то из мрака подполья, – как раз в угрозы и тем более в осуществимость их я верил, – но, по-видимому, у меня в тот момент наступило какое-то психологическое пресыщение. Событий за последнее время было чересчур много, они накатывались на меня действительно как волна, и сознание, вероятно, на них уже больше не реагировало. К тому же именно в эти дни начала, фактически самопроизвольно, развертываться эвакуация, и паническое множество связанных с нею проблем заслонило собой все остальное.

Я достаточно хорошо помню то время. Это была середина недели, четверг, и по воле какого-то мелкого случая я оказался на Невском проспекте. Помнится, у меня образовалось окно минут в сорок: я потерянно плелся вдоль арок Гостиного по направлению к Адмиралтейству. Не так уж часто выдавалось у меня свободное время. День был душный и весь затянутый серой, слоистой дымкой. Очень сильно пахло горелым, и, будто черные мотыльки, мелькали в воздухе хлопья сажи. Я посматривал на них с некоторым недоумением. Именно в эти часы полыхал грандиозный пожар на Обводном канале. Там еще утром занялись штабеля шпал, приготовленных для ремонта дороги, а примерно около двух огонь перекинулся на расположенные неподалеку склады с пиломатериалами. Однако ничего этого я тогда, конечно, не знал и, отрешенно взирая по сторонам, лишь удивлялся необычайно пустынности города. Ситуация в этот момент была такая: длинный асфальтовый Невский, сегодня почему-то совершенно свободный

от транспорта, редкие фигуры прохожих, спешащих из одного затененного места в другое, налитые солнцем витрины на противоположной стороне улицы и единственный раздутый троллейбус, еле-еле ползущий по направлению к Дому Книги. И в ту минуту, когда этот троллейбус уже переваливал через мост и, опережая меня, готов был устремиться к желтому сияющему Адмиралтейству, где-то, чуть ли не над самой моей головой, гнусаво завыло, и вдруг твердый железный палец воткнулся в ближайшее здание. На уровне третьего этажа вспухло ватное облако, и из него посыпались на асфальт обломки стекла, кирпича и дерева. С грохотом осел целый пласт штукатурки. Словно ящер, махнув ребристыми крыльями, взлетела часть кровли. В такие секунды соображать практически некогда. Я и сам не понял, как оказался в полумраке ближней парадной. Там уже находились несколько человек с боязливо напряженными лицами, и один из них с неожиданной радостью закивал мне и помахал ладонью:

– Здравствуйте… Здравствуйте…

– Здравствуйте, – ответил я машинально.

Видимо, это был кто-то из коллег по работе. Я его не узнал, да, честно говоря, и не слишком вглядывался. Тем более что в эту секунду опять раздался душераздирающий гнусный вой снаружи и другой снаряд разорвался, как мне показалось, прямо в парадной. Тряхнуло нас так, словно по земле прошли волны. С визгом, раздирая арматуру, вывернулся ступеньками вниз целый пролет лестницы, меня сильно швырнуло куда-то в дымную неизвестность, а когда я, через какое-то время наверное, снова пришел в себя и попытался подняться, все вокруг было темно и удушающе пахло сухой известкой. Рот, нос, глаза у меня были залеплены пылью. Я с трудом, как в тесте, пошевелился, и с кожи сразу же потекли песчаные струйки. В голове звенело, будто по ней ударили молотком. Где-то слабенько, будто с того края света, плакала женщина. Время от времени она повторяла: «Сережа!.. Сережа!..» – голос был безнадежный, срывающийся, хрипловатый. Я вдруг вспомнил табличку, висящую в начале Невского: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Ну и ну! Неясно, правда, кто кого и зачем обстреливает.

Кое-как я все-таки сел, ощутимо покачиваясь. Темнота немного прокручивалась вокруг меня, и руки никак не находили опоры. Кто-то сзади быстро и жестко сдавил мне локти:

– Осторожнее, у вас тут, по-моему, кровь на затылке… Нет-нет, пожалуйста, не надо, не трогайте… Дайте я посмотрю… Кажется, ничего серьезного… Попробуйте передвиньтесь вот

сюда, к стенке… Сделайте пару вздохов… Ну-ну, будет легче…

Мне действительно становилось немного легче. Я уже начинал различать в сумраке какие-то смутные очертания. Вдруг из серых теней сконцентрировался клинышек вроде бы знакомой острой бородки, а затем проступили – рубашка, галстук, пиджак со вздыбленными плечами, и одновременно – белесый, скомканный почему-то призрак руки, ощупывающей мне ребра. Я не сразу сообразил, что это рукава у пиджака напрочь оторваны.

– Долго я был без сознания?

– Минут двадцать или около этого, – ответил невидимый мне человек. – К сожалению, часики мои – того… раздавило. Но по субъективным ощущениям, именно минут пятнадцать-двадцать. Завалило нас, между прочим, серьезно. Я смотрел: просели, по-видимому, сразу несколько этажей. Просто чудо, что всех сразу же не раздавило в лепешку. Спасла, наверное, арматура: лестница встала, знаете, таким горбиком. Неизвестно, правда, сколько этот горбик еще продержится. Слышите, потрескивает? Хорошо еще, что сохранилась какая-то щель. Все же – доступ для воздуха… – Человек, по-моему, слегка отстранился. – Ну что? Вам получше? Вы можете передвигаться самостоятельно?.. Тогда давайте переберемся отсюда куда-нибудь… Тише, тише! Мне эта засыпь над нами не очень нравится…

Немного подтаскиваемый его руками, я в два приема переполз через громадную кучу известки. Из нее обильно высовывались обломки дерева и кирпича и торчал, испачканный той же известью, тупоносый грубый ботинок. Лишь упершись в него локтем, я понял, что это чья-то нога, и едва не поехал вниз, дернувшись от неожиданности. Слаба богу, что невидимый человек схватил меня за ворот рубашки. – Ничего, ничего… – сказал он, подтягивая меня наверх. – Этот уже мертв. Ничего, ничего, привыкнете… – Покряхтывая от усилий, он перевалил меня на другую сторону кучи и затем, оттащив, будто мешок с тряпками, вновь прислонив к стенке. – Ничего, ничего. Могло быть гораздо хуже… – Я услышал протяжный, замедленный, мощный вздох: перекрытия там, где мы только что находились, дружно осели. Взвилась в воздух пыль. Я закашлялся. – Ну, вот видите, – чуть ли не с радостью сказал невидимый человек. – Все же я научился немного чувствовать землю. Камень, дерево, глина, песок, чернозем, трясина… У вас этот внутренний голос еще не прорезался? Ну, это не сразу. Здесь необходимо такое, знаете, что-то вроде прозрения. Помните у Бетховена? «Так судьба стучится в дверь». Вот здесь необходим знак судьбы.

Вам, кстати, дается возможность увидеть иную цивилизацию. Тут рассудок не требуется, нужно просто поверить… Или все-таки будете ждать неизбежного превращения в «мумию»?.. Говорю вам вполне серьезно: этот мир уже обречен. Слышите звон подземных колоколов?

Сквозь завалы и в самом деле просачивался негромкий басовитый гул. При известном воображении его можно было принять и за колокола. Действительно – многопудовый, протяжный, вселяющий в сердце тревогу. Но одновременно я слышал, как всхлипывает неподалеку все та же женщина – всхлипывает, успокаивается, снова всхлипывает, кашляет в пыльном сумраке. Вероятно, та самая, что некоторое время назад звала Сережу. И еще я услышал противный скрежещущий звук откуда-то слева, словно крохотные, но крепкие коготки царапали камень. Может быть, крысы? Но ведь крыс, по-моему, в городе уже не осталось. Я подумал, что надо бы тщательно осмотреть завалы. Вдруг удастся найти и расширить какой-нибудь лаз наружу? Вряд ли можно рассчитывать, что нас в ближайшие часы откопают. Если город обстреливается, то аварийным командам просто не до отдельных граждан. Представляю, какая сейчас паника среди военных. Это что же, мятеж или какие-нибудь массовые беспорядки? Хотя, впрочем, и в том и в другом случае – откуда взялась артиллерия? Или, может быть, снова «прорыв истории», хлынувший из минувшего прямо на улицы города? «Прорыв истории», кстати, гораздо хуже, чем даже массовые беспорядки. Леня Куриц как-то сказал, что нас погубит именно непредсказуемая история. Вряд ли историю смогут ограничить даже части спецназа. Это значит – появятся сотни и тысячи новых «мумий».

– Ну так что? – человек нетерпеливо дернул меня за рубашку.

– Бросьте, профессор, – сказал я, поморщившись и резко освобождая локоть. – Какая, к чертям собачьим, цивилизация под землей? Странно слышать, вы же – физик, ученый, вроде бы образованный человек. И вдруг – явно невежественная секта «подземников». Это правда, что вы даже спите, живые, в могилах? Неужели вы думаете, что этой чушью можно соблазнить современного человека?

– Современный человек – это прежде всего суеверия, – сказал профессор.

– Да, но суеверия прикладные, немедленно доставляющие ему хоть какую-нибудь пользу. Например, исцеление от болезни. А что предлагаете вы – спать в могиле?

– Ну как хотите, я ухожу, – несколько высокомерно сказал профессор. – Чушь не чушь, но ничего лучшего у нас нет. Между

прочим, вы в детстве не пробовали жевать сырую землю? Помните это необыкновенное, это свежее, чудесное послевкусие. Словно вы только что рождены и впервые прикасаетесь к этому миру.

Кажется, он выпрямился, насколько позволял хаос свисающей кровли. Я заметил, что грани балок и перекрытий теперь проступают довольно отчетливо. То ли света в завале прибавилось, то ли глаза у меня немного привыкли к сумраку.

Я, во всяком случае, понял, что женщина, которая только что всхлипывала, теперь замолчала и как-то очень внимательно глядит в нашу сторону.

– Вы не слушайте этого старика, – неожиданно сказала она. – Он, по-моему, сумасшедший. Я за ним уже давно наблюдаю. Он тут недавно землю ел из-под досок. Просто не отвечайте ему, и все. Нас непременно спасут, вы слышите: к нам уже пробиваются…

Темной рукой она указала куда-то влево. Звук скрежещущих коготков действительно быстро усиливался. И вдруг стало понятно, что это работает какое-то землеройное приспособление: с тихим шорохом меж двух скрещенных досок посыпалась крошка, пласт запекшегося кирпича дрогнул и вывалился, зачернело отверстие, откуда на нас дохнуло горячим воздухом, внезапно его прорезал ослепительный высверк фонарика, и немедленно вслед за этим просунулась внутрь голова, защищенная чем-то вроде мотоциклетного шлема.

– Есть кто живой?..

– Мы живые, – спокойно ответила женщина. – Нас здесь трое осталось, четвертый уже умер…

– Лично я наблюдаю только двоих, – сказал спасатель. И, втянувшись обратно в пролом, деловито добавил: – Давай веревки, Габура. Подстрахуем, им тут придется ползти метров десять.

Я напрягся, почувствовав что-то неладное, и при свете фонарика впервые увидел тесную нишу завала: глыбы камня, опасно стиснувшие друг друга, кирпичи, доски, шершавые изгибы железа – странно, что все это не съехало до самого низа – и похожую на изваяние оцепенелую женщину, с головы до ног осыпанную мучной известкой. Глаза ее были распахнуты, как у куклы.

– Да, – не шевелясь, сказала она. – Нас здесь только двое.

И тогда я снова оглянулся по сторонам и тупо моргнул. А потом еще раз моргнул, и еще, и еще. Профессора в лестничном закутке действительно не было…

Дома же меня ожидал довольно неприятный сюрприз.

Когда я, весь измочаленный многочасовым пребыванием под завалом, с ноющим телом, с саднящими от ободранности коленями и локтями, грязный, потный, в лохмотьях вскарабкался кое-как по нашей лестнице и после обычных предосторожностей отпер двери, которые с недавнего времени закрывались сразу на четыре замка, в прихожую немедленно выскочили близнецы, по всей вероятности дожидавшиеся этой минуты, и, одновременно прижав указательные пальцы к губам, таинственно и предостерегающе прошипели: ш… ш… ш… Выглядели они далеко не лучшим образом: оба – в розовых лишаях, которые никак не удавалось вывести, в кровяных расчесах, с мутными, будто из стеарина, отекшими лицами. Видимо, сказывалось отсутствие нормальных продуктов. Вообще обстановка – жуткий город, жара, болотные испарения. Слава богу, у них еще лихорадки не было.

– Что случилось? – нерадостно спросил я, всем видом своим выказывая усталость. Меньше всего мне хотелось сейчас хоть в чем-нибудь разбираться.

Близнецы от усердия надули щеки, но объяснить ничего не успели. Появилась жена и одним сильным движением смела их обратно в комнату. А затем притворила дверь и подбородком указала мне в сторону кухни.

– Тебя там ждут. Извини, я просто не знала, что делать…

В кухне в это время раздавалось какое-то странное хрюканье. Я туда заглянул, и у меня в полном бессилии подкосились колени. За столом, уставленным всеми нашими нищенскими припасами, раскорячась, как краб, так что даже зад у него был оттопырен, чуть ли не обхватывая вермишель, приготовленную мне на ужин, двигая челюстями и сильно при этом чавкая, сидел Леня Куриц.

Он приветственно помахал мне вилкой с наколотым остатком сосиски и, прожевывая ее, выдавил из себя что-то нечленораздельное. Щеки его чернели щетиной, по крайней мере, недельной давности, а шершавые скулы были с обеих сторон симметрично залеплены пластырем. В хлебнице рядом с горбушкой батона лежал пистолет и поверх него – две масляные запасные обоймы.

Наконец, Леня куриц усиленно проглотил сосиску, и было видно, как комок пищи прошел у него по горлу.

– Привет, – сказал он.

Я сел, потому что ноги меня уже совсем не держали.

– Ты с ума сошел. За домом *смотрят*. Тебе нельзя тут показываться…

Легкомысленным жестом Куриц наколол на вилку вторую

сосиску и сразу же откусил столько, что непонятно было, как это поместилось у него во рту.

– Не волнуйся, – так же нечленораздельно промычал он. – Слежки не было, я раз пятьдесят проверялся. И в твоей парадной я вообще не показывался. Я прошел по крышам с Садовой и только тут спустился по лестнице.

В общем, спорить с ним не имело смысла. Куриц был целиком и полностью погружен в процесс насыщения. Он неимоверно быстро, практически не разжевывая, проглотил остаток сосиски, подобрал с тарелки последние, не слишком аппетитно выглядящие вермишелины, коркой хлеба протер эту тарелку до суховатого блеска, и, по-моему даже немного дрожа, накинулся на чай с сухарями. Сахара он себе положил ложек семь или восемь. Громко прихлебывал – отдуваясь и щурясь от острого наслаждения. Я пока довольно-таки путано рассказал ему о наших последних событиях: про обстрел, про налет на горисполком и про явки, о которых сообщила мне Леля Морошина. Даже про записку со словом «предатель» в почтовом ящике. Куриц слушал меня небрежно, как иногда взрослые слушают лепет ребенка. Лишь один раз, оторвавшись от кружки с чаем, невнятно переспросил:

– Значит, обе квартиры? И на Сенной и в Конюшенном переулке? Ну – Морошина! Ну, если узнают, ей этого так не оставят. А ведь, представь себе, я как раз собирался на Конюшенный переулок…

И он опять захрустел ломкими сухарями. В нем, точно болезнь, ощущалась некая застарелая напряженность. Легкомыслие и небрежность его были чуть-чуть наигранными, а на самом деле чувствовалось, что он прислушивается буквально к каждому шороху. Глаза его то и дело прыгали на пистолет в хлебнице. Я еще мельком подумал, что неужели он будет стрелять здесь, прямо в квартире? Он и говорил тоже какими-то рваными, горячими фразами – будто даже не говорил, а сплевывал изо рта раздражающую его словесную шелуху. Разобраться, в чем тут дело, было довольно трудно, от контузии после завала я соображал еще с чудовищным скрипом. Тем не менее кое-что начало слегка проясняться. А когда прояснилось совсем, ошеломило меня чуть ли не до потери сознания:

– Погоди! Значит, в Карантин тебя сдали свои же?! Ты – из той группы, которая бежала на днях через Черные топи?! Как тебе удалось оттуда выбраться?

– Ну их в то же болото! – нехорошо посмотрев на меня, сказал Леня Куриц. – Ты хоть знаешь, что представляет собой это

подполье? Думаешь, наверное, там – все такие непримиримые борцы за идею? А, например, про такую контору «Гермес» ты что-нибудь слышал? – он с некоторым сожалением глянул внутрь чашки и отодвинул ее от себя. – В общем, если не против, то я поживу у тебя дня три-четыре. Извини, сейчас просто необходимо где-нибудь отсидеться. В подвалах-то нынче – того, слыхал, покойники из земли встают? Можно, конечно, где-нибудь и на чердаке пристроиться. Правда, именно чердаки они сейчас усиленно проверяют… – он опять тронул чашку и нетерпеливо пощелкал длинными немытыми пальцами. – Ну, давай, давай, не томи!..

Я сходил в комнату и принес ему ксерокс Луки Вепоря. Я еще тогда терялся в догадках, зачем ему нужен этот, на мой взгляд, странный и невразумительный документ, никакой пользы я от него не предвидел, однако Куриц прямо-таки вцепился в небрежно скрепленные по углу листочки: вчитывался, шевелил губами и, кажется, даже обнюхивал, повернулся к лампе и изучил на просвет каждую страницу отдельно. Интересно, что он там надеялся обнаружить? Это же был всего-навсего ксерокс, сделанный на самой обыкновенной бумаге. И одновременно он приговаривал: так-так-так… – и прищуривал то один глаз, то другой, то сразу оба. Губы у него при этом вытягивались в трубочку.

– Это – ясно, и это – мне, в общем, понятно… В основном, по-моему, мишура: «зверь», «проклятие» и «свет загорашася нечеловеций»… Все, что положено в таких случаях… Между прочим, тебе бы лучше на какое-то время убраться из города… «Предатель» – это, знаешь, очень серьезное предупреждение… Или, по крайней мере, быстро сменить место жительства… Только чтобы твой новый адрес нигде официально не числился… Так-так-так, значит, «угорь» и, значит, «мнози его развяша»… – он нетерпеливо побарабанил по тексту обгрызенными ногтями. – А где же вторая часть? Ну-ну, давай. Действительно мало времени…

– Какая вторая часть? – искренне удивился я.

– Вот же, вот! Тебе здесь отметили, что это – только первая половина!.. – Куриц потыкал в подколотый к листочкам бланк моего заказа. – Вторая часть находится в ЦГАОР, и здесь требуется другая заявка. Что же ты, до сих пор не научился читать библиотечные шифры? Трам-тарарам!.. Чем же ты целых пять лет занимался в своем институте?!

Он был возмущен до глубины души, и не знаю, какими словами он бы обложил меня в следующую секунду – он уже открыл рот и с шумом втянул в себя воздух, однако именно в это

мгновение тихонечко, словно поперхнувшись на первом же звуке, брякнул телефон, выставленный на холодильник, а потом еще раз брякнул, и еще – уже гораздо настойчивее. Я даже вздрогнул, потому что телефон не работал уже несколько суток.

Я посмотрел на Курица, а он посмотрел на меня.

– Ждешь кого-нибудь?

– Нет.

– Ну, может быть, просто подключили линию…

Я осторожно, будто что-то живое, поднял трубку и чуть не выронил ее, услышав резкий голос генерала Блинова.

– Николай Александрович? Я вас приветствую, – громко сказал он. – Все в порядке? Говорят, вы сегодня попали под артобстрел? Надеюсь, не пострадали? А у меня к вам, Николай Александрович, небольшая просьба. У вас там сейчас находится один наш общий приятель… Вы, наверное, с ним беседуете? Пока, ради бога, не торопитесь. Но когда вы все ваши дела закончите, пусть он выйдет на улицу. Без оружия, разумеется, и, пожалуйста, скажите ему, что ничего такого не надо. Все-таки у вас там в квартире – жена, дети…

И довольно странно, как будто на половине фразы, наступило молчание. Не было даже обычных коротких гудков, свидетельствующих о разъединении.

Точно телефон снова выключили.

Я опустил трубку и растерянно обернулся к Лене Курицу. Я просто не представлял, как сказать ему об этом распоряжении генерала Блинова. Но наверное, у меня все было написано на лице, так как Леня Куриц, не спрашивая ни о чем, понимающе покивал.

– Ну вот, – сказал он, – по-видимому, это за мной. Я, когда позвонили, признаться, так и подумал. Они, вероятно, хотят, чтобы я вышел и добровольно сдался? Неплохая оперативность. А еще говорят, что наша армия там чего-то не может. Наша армия может все, если, конечно, захочет. Не расстраивайся, это следовало предвидеть.

Он поднялся и мельком глянул на пистолет, но не прикоснулся к нему.

– Ты не думай, я попробую что-нибудь сделать, – сказал я не слишком уверенно. – В конце концов, я еще остаюсь членом Комиссии…

В ответ Леня Куриц только поморщился.

– Не валяй дурака! Кто тебя будет слушать? – он открыл дверь и уже на площадке, зияющей черным провалом, как-то нехотя обернулся. – У меня почему-то предчувствие, что мы с тобой в ближайшее время еще увидимся. Пока трудно сказать,

хорошо это или плохо…

И он вдруг подмигнул мне весело и легко, как прежде. И шагнул в темноту, и тут же растаял в ней, как привидение. Я даже не успел с ним попрощаться. И стальной язычок замка, вошедший в пазы, звонко щелкнул…

Первый «чемодан» ударил на углу Садовой и улицы Мясникова. Я не видел, откуда он прилетел – заунывный, сжимающий сердце вой вытянулся, как мне показалось, прямо из пустоты, – но вот угодил он, по-видимому, в стык, под выступы тротуара: грохнула асфальтово-земляная, громадная черная вспышка, и будто жесткой метелкой выскребло остекление у ближайших зданий. Ярко-красный жигуль, притулившийся неподалеку от перекрестка, перевернуло, и из-под грязного днища его вдруг заструились кудреватые струйки дыма.

Что-то плотное, раскаленное, смертельно взвизгнувшее пронеслось по воздуху.

– Ложи-ись!.. – закричал я бешеным голосом. – Ложи-ись!..

А поскольку жена, мгновенно прижавшая к себе близнецов, как испуганная гусыня, лишь оглядывалась и переминалась, не понимая, откуда исходит опасность, то я силой повалил их всех троих на пыльную мостовую и держал так, придавливая, чтобы они не вздумали подниматься. К счастью, болото сюда пока еще не доходило. Лежать было можно. Тем более что место взрыва частично загораживали вагоны когда-то застрявшего здесь трамвая. Пусть ненадежное, но все-таки какое ни есть прикрытие. По-настоящему боялся я лишь одного: что нас тут растопчут. И потому непрерывно кричал, поднимая голову: «Ложитесь!.. Ложитесь!..» – На меня, по-моему, никто не обращал внимания. Царила жуткая паника. Гомон стоял в липком воздухе. Люди бежали и сталкивались, ища, где бы укрыться. Крепкая, спортивного вида девица, будто ящерица выползшая из-под чьей-то тележки, резко приподнялась на локтях и нехорошим тоном потребовала:

– Мужик, пропусти…

Глаза у нее были совершенно безумные, лоб – наморщен, а вокруг ощеренного звериного рта – круглые складки. В это время неподалеку ударил второй такой «чемодан» и попал, по всей вероятности, в самую середину Канала. Раздался тяжелый чавк, урчание, какое мог бы издать сытый хищник, а затем воцарилась какая-то необыкновенная тишина. У меня заложило уши, и крепким невидимым обручем сдавило голову. Я заметил накрашенные пухлые губы девицы, сужающиеся и расширяющиеся зрачки, комковатые волосы. Она тоже лежала

и не шевелилась. В диком томлении протикало, вероятно, секунд десять, и только после этого взлетел еще один мощный чавк и сырые ошметки тины застучали по мостовой.

– Бежим!.. – выдохнул я.

Жена по-прежнему ничего не соображала. Я схватил близнецов и будто трактор попер их по направлению к перекрестку. Двигаться мешали тела, лежащие в разнообразных позах. Кое-кто уже шевелился, но я надеялся, что проскочить до нового всплеска паники мы все же успеем. Мельком я глянул на окна нашей квартиры: рамы были распахнуты, и тихий ленивый ветер шевелил занавески. За тюлевой невесомостью их угадывалось ожидание. У меня защемило сердце – мне не хотелось уходить отсюда.

– Где рюкзак? – догоняя и от этого немного запыхиваясь, спросила жена.

Я даже вздрогнул. Рюкзака, разумеется, не было. Я, наверное, сбросил его с себя при первом же взрыве. Да, конечно, шевельнулись смутные воспоминания, как я, низко присев, сдираю с плеч неудобные лямки.

– Ну и черт с ним!

– Но как же так?

– Быстрее, быстрее! – командным голосом рявкнул я.

Пока все лежат, я намеревался проскочить пробку на перекрестке. Я не догадывался, что именно там происходит, но я видел беспорядочное скопление беженцев, два длинных грузовика, перегораживающих дорогу, и людей, и какие-то странные нахохлившиеся фигуры в плащах, маячащие надо всеми.

Времени у нас совсем не было. Если верить слухам, то еще днем, как раз в тот момент, когда передавали утешительную сводку по радио, немецкие танки прорвали последний рубеж обороны на окраине города и, не встречая больше препятствий, выдвинулись в район больницы Фореля. Оттуда до Дворцовой площади им было неторопливым маршем минут тридцать. Пушкин и Гатчина были захвачены, оказывается, еще раньше. Напряженный бой за Пулковские высоты тоже, по-видимому, заканчивался. Главные силы вермахта готовы были войти в город. То есть в нашем распоряжении оставалось не больше часа, а потом и вокзалы, и улицы, к ним прилегающие, будут, скорее всего, запечатаны патрулями. Как это происходило в далеком сорок первом году, сейчас значения не имело. Ретроспекция есть ретроспекция, и теперь все могло развернуться совершенно иначе. Мало утешало меня и то, что уже завтра, через сутки примерно, весь этот «выброс истории» завершится. Город будет усеян

обгоревшими «мумиями». Нам эти сутки еще следовало продержаться.

А продержаться не то чтобы сутки – несколько часов было очень непросто. К сожалению, не я один оказался такой сообразительный. Многие, вероятно, поняли, что появляется шанс вырваться. Я опомниться не успел, как мы снова очутились в людской гуще. Продвижение к загадочным грузовикам, конечно, замедлилось. Нас толкали, и мы тоже, естественно, были вынуждены грубовато проталкиваться. Невысокий солдат с азиатскими чертами лица цепко схватил меня за рубашку:

– Послушай, товарыш… Скажи, пожалюста, как отсюда пройти на Выборгский сторону?.. Гражданын, гражданын!.. Что за черт такой, кого не спросишь, никто не знает!..

Он был без фуражки, в расстегнутой до пупа, сильно вылинявшей гимнастерке, широкоплечий, раскосый, небритый, наверное, уже третьи сутки, от него исходил крепкий, духовитый запах портвейна, а на жестких смоляных волосах приклеились сухие соломинки. Словно он переночевал в стоге сена. Чрезвычайно коротко я объяснил ему, как пройти к Выборгской стороне, а потом, не удержавшись и забыв всякую осторожность, спросил:

– Почему вы не в своей части?.. Где командир?..

Наверное, этот вопрос ему задавали уже не в первый раз, потому что солдат будто кошка фыркнул и присел на кривоватых ногах.

Руки его были широко разведены.

– А где мой част, скажи!.. – крикнул он. – Ты мне скажи, я туда и пойду!.. Умный, да? Все понимаешь?.. Ну скажи мне, скажи тогда, где мой част?..

Кажется, он выкрикивал что-то еще. Густеющая толпа напирала, и его заслонили. Кто-то начальственно бросил ему:

– Помолчи немного!..

– Я – молчу, молчу, – ответил солдат. – Я всю жизнь молчу, панимаишь!..

Тут же как будто шлепнулось что-то мягкое и донесся ужасный стон смертельно раненного человека. Раздалось: «Он с ножом!.. Боже мой!.. Кто-нибудь, помогите!.. Расступитесь, расступитесь, видите, тут человека убили!..»

Метрах в трех-пяти от меня закипело яростное вращение. Шарахнулись оттуда ошеломленные, помятые люди. Сквозь просвет я увидел, что солдат лежит на асфальте, свернувшись безнадежным калачиком, и тут же жуткий многоголосый вопль вздулся вдоль улицы. Впечатление было такое, что кричат даже камни. В одну минуту все дико перемешалось. Закрутился

водоворот, и напирающая волна людей швырнула нас к перекрестку. Я увидел, что эти два длинных грузовика, оказывается, столкнулись. Причем столкнулись так, что у обоих напрочь вылетели лобовые стекла, а между вздыбленных радиаторов застрял «москвич» какой-то допотопной модели. Кстати, удивительно похожий на «москвич» Лени Курица. У них даже цвет совпадал, и на секунду мне стало страшно, что я увижу сейчас лежащее рядом исковерканное, бездыханное тело. Однако тела рядом с машинами не было. Зато суетилась милиция, и разъяренный «дорожник» тыкал дубинкой в грудь парня в цветастой рубашке: «Осади, осади!.. Кому говорят!..» Все вообще кошмарно орали и теснили друг друга. Почему-то никого не пропускали на противоположную сторону. Поддаваясь общему настроению, захныкали близнецы, требуя чего-то невероятного, и жена в состоянии, близком к истерике, дала каждому, не разбираясь, по увесистому подзатыльнику. Близнецы захныкали еще сильнее. А я сам наконец разглядел эти странные нахохлившиеся фигуры, овеваемые плащами. Шесть одетых по-средневековому всадников выезжали на перекресток. Тяжелые копья с черными бунчуками вразнобой, но решительно нацеливались в нашу сторону. Блестели на солнце кольчуги, и как кузнечик танцевал перед ними тщедушный милиционер, тыча щепочкой пистолета в конские морды.

Один из всадников поднял к небу руку в перчатке:

– С нами бог!..

И они, чуть пригнувшись к холкам, воинственно поскакали прямо в середину затора. Толпа в едином порыве шатнулась, и нас, чудом не опрокинув, отбросило куда-то в сторону. Я едва вытащил за собой уже по-настоящему испуганных близнецов, а жена, выкрутившаяся вслед за нами, просто упала на четвереньки.

В это время какой-то жигуль, выпрыгнувший неизвестно откуда, завизжал тормозами, и передняя дверца его распахнулась.

– Давайте сюда…

Я увидел, что за рулем сидит Маргарита.

Раздался тяжелый звяк, громадное, наверное в два метра, копье ударило в решетчатую крышку люка. Плоский наконечник его, видимо, застрял в щели – древко завибрировало и медленно опустилось на мостовую.

Жена, уже поднявшаяся на колени, взирала на него с ужасом:

– Боже мой!..

– Скорее! Скорее!.. – отчаянным голосом крикнула Маргарита…

Я не буду подробно рассказывать, как мы все-таки пробились к вокзалу. Ничего подобного я никогда раньше не видел. Надежды на обморочную пустоту города оказались обманчивыми: скоро из боковых неметеных улиц, из замусоренных переулков, из парадных, из проходных дворов, тоже превращенных в помойки, точно из потустороннего мира, начали просачиваться довольно большие группы людей. Они очень быстро заполонили собою весь проспект. Беженцы шли с чемоданами, увязанными поперек бельевыми веревками, с рюкзаками, с портфелями, с невероятно распухшими продуктовыми сетками, перли на себе превращенные в узлы наволочки и простыни, катили навьюченные, так что не видно было колес, горбатые велосипеды. Было чрезвычайно много детских колясок, были сетчатые металлические тележки, взятые явно из ближайшего универсама, были странные, наспех сколоченные конструкции, по-видимому, из скейтбордов, а неподалеку от коробчато-современного здания районной администрации, которое, кстати, тоже выглядело заброшенным, я увидел настоящую лошадь, влекущую за собой нагруженную тюками станину автомобиля. И все это непрерывно сталкивалось между собой, наезжало, цеплялось и застревало, нагромождая целые баррикады. Столпотворение возникало просто катастрофическое. Машину, которая продвигалась вперед черепашьим шагом, нам в конце концов пришлось бросить. Стало невозможным объезжать все учащающиеся заторы. Маргарита лишь каким-то специальным захватом заклинила руль и с отчаянным легкомыслием оставила неприкрытой переднюю дверцу.

– Кому надо все равно влезут, – сказала она, помахивая ключами. – Так, по крайней мере, хотя бы стекла не вышибут.

На руках у нас теперь оставалась только небольшая сумка с продуктами. Жена крепко взяла за руку одного близнеца, а я – другого. Толпа медленно, очень медленно продвигалась по Измайловскому проспекту. Гомон, плач и ауканье царили в воздухе. Ощущалось, что все кругом чрезвычайно угнетены и испуганы. Я подумал, что, наверное, точно так же, остервенелой толпой, уходили из города крысы, тоже – испуганно поглядывая по сторонам и возбужденно попискивая. Правда, крыс никто не расстреливал из дальнобойных орудий. А здесь обстрел продолжался в течение всего нашего пути следования. Каждые две минуты, как по хронометру, раздавался протяжный и заунывный нарастающий вой, затем – миг тишины. И вдруг вспучивалось глухое, долгое эхо разрыва. Нам пока еще сопутствовало везение. Ни один снаряд не попал в скопление людей на проспекте. Я просто не представляю, что было бы в этом

случае. Однако, когда мы пересекли широкий и плоский мост через Обводный канал, продавились сквозь ограждения, по-видимому выставленные уже давно и забытые, и приблизились к странным, как будто обрубленным башенным надстройкам вокзала, выяснилось, что дальше нам дорога закрыта, потому что все длинное малооконное его здание охвачено пламенем. То есть если точнее, то пламени там как такового не было, а был черный и плотный дым, расползающийся по перронам. Причем он вовсе не рассеивался среди них, как можно было рассчитывать, а наоборот, сгущался, будто в консервах, и перетекал, выказывая темно-малиновую изнанку.

Картина, на мой взгляд, была безнадежная.

– Ну вот, – сказала Маргарита. Нам отсюда не выбраться…

В голосе ее чувствовалась обреченность. И как будто в подтверждение этих слов, крыша одного из вокзальных строений вдруг провалилась внутрь каменного четырехугольника, и оттуда вылетел громадный сноп бледных искр, и сейчас же стали падать вокруг нас дымящиеся головешки.

Было очевидно, что с этой стороны нам не пробиться. Однако именно эта удручающая безнадежность, видимо, и подсказала мне выход.

– Держите ребят, – внятно распорядился я. – Не отставать от меня. Не спорить. Беспрекословно выполнять все, что скажу!

И, крепко взяв за запястье несколько ближе стоящую ко мне Маргариту, потянул ее и всех остальных прямо в стену зловещего дыма. Со стороны это, вероятно, казалось самоубийством, но, как ни странно, сразу же выяснилось, что я был прав в своей внезапной догадке. Левая половина вокзала действительно ужасно горела: черный снегопад копоти, пламя, с гудением вырывающееся из всех окон. На первый взгляд, это и в самом деле выглядело страшновато, но пожар, как я и предполагал, бушевал в основном за кирпичными стенами. Окна располагались редко и несколько выше моего роста, а возле самой стены тянулась прослойка довольно чистого воздуха. Разумеется, пройти здесь все равно было непросто: щеку и шею мне обожгла стрельнувшая неизвестно откуда пылающая соломина, у Маргариты затлели концы располосованных до лохмотьев джинсов, а когда мы перебирались от двери камер хранения к билетным кассам, нас чуть было не придавил пласт рухнувшей штукатурки. Жену при этом с ног до головы окутало искрами. Трудно было дышать. Лица и руки у нас лоснились потеками жирной сажи. Очень скоро мы стали походить на чертей, только что выбравшихся из преисподней, но зато когда мы все-таки вынырнули из этого чудовищного огненного урагана, свернули за угол и миновали

выступ, делящий вокзал на две половины, то увидели громадное солнечное пространство, полное воздуха, кучи шлака, распахнутые ворота, по-видимому, ремонтного цеха, а на ближних путях, заслоненных густой акацией, – трехвагонную, новенькую, сказочно выглядящую электричку.

– О!.. – восторженно воскликнула Маргарита. – Это что?

– Это то, что нам требуется, – сказал я.

Впрочем, здесь мы тоже были уже далеко не первые. Человек пятнадцать растрепанных, нервных мужчин и женщин сгрудились около локомотива. Они прижимали к его железным бокам растерянного мужчину в железнодорожной форме, а он вскидывал руки и беспомощно повторял: «Ну не имею права, поймите вы… Не имею права…» Лицо у него было как будто из ветоши. На него напирали. Двое задних мужчин помахивали железными прутьями. Правда, никто не кричал. Видимо, боялись привлечь внимание. В основном шипели – раскаленными от ненависти голосами. Бесновались, но – тихо. Особенно женщины. Мяли несчастного железнодорожника, толкали его, щипали, особенно женщины. Совершенно молча и неподвижно взирала на эту сцену стайка разнокалиберных ребятишек.

Физиономии у них были чрезвычайно серьезные.

Когда мы приблизились, на железнодорожнике уже трещала одежда.

– Ладно, ладно, – примирительно говорил он, ежась и заслоняясь локтями. – Смотрите, вам же самим потом хуже будет…

Его буквально впихнули внутрь локомотива. Там сразу же что-то ожило, щелкнуло, звякнуло металлическими переключателями.

И вдруг низкий паровозный гудок прорезал воздух.

Мы даже вздрогнули.

Гудок в этой ситуации был совершенно лишним. Платформы метрах в ста или немногим больше от нас были по всей длине плотно забиты народом. Не знаю, уж какого обещанного поезда они там ждали, но в ответ на гудок разразились оглушительным звериным ревом. Даже очередной снаряд, закопавшийся у водонапорной башни, не смог его заглушить. Толпа заворочалась. Черное крошево людей посыпалось вниз. Сквозь просветы акации я видел, что к нам бегут – расходящимся веером.

Медлить было нельзя.

– Отправляй!.. – угрожающе скомандовал кто-то на локомотиве.

Опять зачем-то раздался длинный гудок. Вагоны дрогнули. Визгливо, будто заевшим металлом, отозвались рессоры.

Балансируя на подножке, я пытался раздвинуть плотно закрытые двери. Не было никакого упора. Вдруг с хрустом просело и высыпалось окно по правую от меня руку. Это Маргарита запустила в него булыжником.

– Скорее!.. – крикнула она снизу.

Подхватив брошенный кем-то прут, я одним движением сбил оставшиеся в раме осколки. Затем накинул на раму пиджак, и жена, будто куль с тряпьем, перевалилась в тихие купейные сумерки. Кажется, она все-таки немного порезалась. Я заметил у нее темную кровь на локте. Впрочем, она тут же появилась в окне, принимая одного за другим близнецов. Состав уже трогался. Маргарита закинула в другое окно сумку с продуктами.

– Давай помогу! – сказал я, подхватывая ее подмышки.

Она почему-то вывернулась и уперлась в меня твердыми кулаками:

– Не надо…

По-моему, она просто сошла с ума. Толкая и отпихивая меня, все время повторяла: «Я никуда не поеду!..» Ее испачканное сажей лицо перекосила гримаса. Губы кривились. Волосы были как будто заряжены электричеством. В конце концов она дернулась так, что мы оба упали на гальку. Я ударился. Неторопливо проехал перед глазами последний вагонный бампер. Колесный тупой перестук укатывался в июльское марево. Вот электричка слегка изогнулась на повороте. Вот еще две секунды и она совершенно исчезла за унылыми промышленными строениями.

Только теплые рельсы еще подрагивали.

Маргарита уселась на стык и достала откуда-то чудом сохранившуюся сигарету.

– Прости меня, – сказала она отрывисто. – Прости, я сама не знаю, как это случилось. Я вдруг почувствовала, что если уеду, то сразу умру. Глупо, конечно, но это, наверное, *он* нас не отпускает…

– Да, – сказал я, тоже присаживаясь. – Конечно, глупо.

Интересно, что и я чувствовал в себе то же самое. То есть если уеду сейчас из города, то жить не смогу.

– Ладно, чего уж там, не повезло…

Затрещала, ломаясь, акация через насыпь от нас, и оттуда остервенело выдрался взъерошенный, потный мужчина. Голову его обхватывала лыжная шапочка.

Он немного постоял, глядя на рельсы, а потом стащил эту шапочку и вытер ею потные щеки.

– Все, туды-сюды… Прокакали… Опоздали, выходит…

И вдруг, зверски исказив всю свою небритую физиономию,

шмякнул шапочкой о закопченную гальку.

3. Зверь умирает

Горело несколько фонарей, и листва вокруг них была ярко-синяя. Она была ярко-синяя, живая, фосфоресцирующая как стая медуз, размытые пятна ее непрерывно перемещались, ветви двигались, и шелестом накатывался легкий невнятный шепот: душно нам… душно… душно… – Умираем… – вторили им обессилевшие тополя по краю сквера. Жесткая коричневая трава под ногами шуршала: спасите… спасите… – бритвенные лезвия ее медленно шевелились. Черное бездонное небо распростерлось над городом. Горела катастрофическая луна. Крыши домов опять были облиты стеклянным сиянием. Их свечение делало воздух еще темнее. Сад за узким Каналом все время менял свои очертания: расползался через ограду на улицу, клубился и колыхался. Он был скорее похож на скопление гнилостного тумана. Тусклые болотные искорки вспыхивали в его толще. А в самом Канале, который сейчас необыкновенно пах тиной, конвульсивно сгибаясь и сразу же вслед за этим стремительно распрямляя тело, забрасывая ряску на набережную, ворочалось что-то чудовищное: било по воде ластами, шлепало хвостом в гранитную облицовку, погружалось, всплывало и одновременно сквозь водяное бульканье тоже на что-то жаловалось. Голос был хриплый и вяжущий, словно из граммофона. Маргарита сделала еще шага три и в изнеможении остановилась.

– Я туда не пойду, – тяжело дыша, сказала она. – Страшно. Пожалуйста, не оставляй меня здесь.

Лицо ее бледным овалом проступало во мраке, темно-синие волосы сплетались с веточками акации. Было непонятно, где кончается одно и начинается уже другое. Ощупь жутких кустов переходила непосредственно в пальцы. Она пошевелила ими, и кусты зашуршали. Мелкие круглые листики появились на тыльной стороне ладони.

– Видишь, – сказала она, – *он* меня не отпустит. *Он* никого из нас не отпустит. Мы будем жить и мучиться вместе с *ним*. А когда *он* умрет, мы умрем тоже… – По-моему, недавно она уже говорила об этом. Жаркое течение ветра вдруг ополоснуло растительность. Луна исчезла, как будто ее сморгнуло огромное веко… Не было никакой Маргариты, и не было зыбкого тела, срастающегося с кустами. Были только – Сад и Канал. И были дома, окаймленные мертвой флуоресценцией. Стекла во многих из них отсутствовали, и при свете нескольких фонарей угадывалась внутри каменистая почва.

Было странно, что эти несколько фонарей работают.

Электричество в городе отключили еще в начале июля. Я не слышал, чтобы потом что-либо изменилось. Тем не менее свет от них исходил – листва вокруг была ярко-синяя. Размытые пятна ее непрерывно перемещались.

– Осторожно, сейчас будет скользко, – сказал полковник.

После некоторого колебания он протянул мне руку. На сухих пальцах его ощущались шершавые земляные песчинки. Было действительно очень скользко. Вода спала, и донные камни были облеплены волокнистой тиной. Под ногами она расползалась и противно всхлипывала. Пахло йодом, гниющими водорослями, кое-где на поверхности мерцали распустившиеся кувшинки. Страстный их аромат примешивался к гниению. Дрожали и складывались в фигуры душные испарения. А под аркой моста, где сумрак сгущался особенно плотно, ворочалось, будто раненый крокодил, что-то чудовищное: било по воде ластами, шлепало хвостом в гранитную циклопическую облицовку, быстрые зеленые искры выскакивали из сумерек, и тогда в пене ила проглядывало что-то блестяще-кожистое. Каждый раз я вздрагивал и инстинктивно отшатывался.

– Не обращайте внимания, – строго сказал мне полковник. – Это – Чуня, он – добрый, если, конечно, его не трогать.

– Куда вы меня ведете? – спросил я.

– В Аид, в Царство Мертвых, – полковник иронически усмехнулся.

И совершенно напрасно, как выяснилось, потому что именно в это время ноги его поехали в разные стороны. Он едва не рухнул в липкую жижу. Я буквально в последний момент успел поддержать его за острые локти. Ближайшая к нам кувшинка вдруг вспыхнула нездоровым электрическим светом. Из пылающего ее нутра высунулись два гибких кольчатых усика.

– Ничего, ничего, – бегло сказал полковник. – Не пугайтесь. Осталось уже немного.

Он сейчас совсем не походил на «мумию», кожа – бело-розовая, как у младенца, форменный военный костюм – тщательно отутюжен. Только глаза его немного портили впечатление: серые, без зрачков, как будто из непрозрачной пластмассы. Я невольно глянул туда, где на фоне зияющего провала Вселенной, будто средневековый замок, сожженный дотла, поднимало зубцы полуразрушенное бетонное здание. Протянул над ним руку башенный кран, и на тросе, серебряном от луны, по-моему, что-то раскачивалось. Правда, в последнем я вовсе не был уверен. Полковник перехватил мой взгляд и ослепительно улыбнулся.

– Да, – сказал он. – Это было очень-очень давно. Я сейчас

вообще не уверен, что это было. Может быть, этого никогда и не было. – И он снова продемонстрировал мне крепкие белые зубы.

Фонари неистово вспыхнули. Листва вокруг них была ярко-синяя. Размытые пятна ее непрерывно перемещались. Душно нам… душно… душно… – накатывался легкий шепот. – Умираем… – вторили обессилевшие тополя по краю сквера. Что-то грузное, издыхающее ворочалось и бормотало в Канале. Почему-то отчетливо пахло свежевыкопанной мокрой землей. Комковатые глинистые отвалы загромождали всю набережную. Торчали из них плиты вывороченной облицовки. Будто замок, чернело зубцами разрушенное бетонное здание. Непроглядная тень от него достигала отвалов глины.

Профессор слегка передвинулся, чтобы свет попадал на бумагу.

– Вы, по-моему, меня не слушаете, – недовольно сказал он. – Дело, конечно, ваше, но вы все-таки подумайте о спасении. Лично я считаю, что спастись удастся только очень немногим. – И он тут же опять забубнил, близоруко склонившись над текстом: – Есмь бе месьсто во Граде, на стороне Коломеньской… Идеше межу троих мостов и как бу на острову, объятый водою… А и не доходяху до самой Коломеньской стороны… У Николы, що сы и творяша изговорение… Где сядяся каминь о каминь, и каменем не устояща… И сведоша до острова Каменныя же юлиця… В той же юлице вяще и живе есмь некто едино… По хрещенью имяху людскую сорымю – Грегорей… Ремесло же ему бяше бо – выкаливать свещи… И свия, и продаша, и от того питаяся… И все знаша и бысть он, некто, во зокрытом молчании… Бо он ходит внотре всей землы, яко звашося – Угорь… Угорь Дикой – рекоша сы ея имя… Тако ходе Земляной Человек внотре Угоря… И смотряху, разведша, и пониях на сые… Паго знае, где оживающе сердце Угоря… И спосташа туда, и глажа его, зарекоцея… А спосташа туда изсы острову Каменный юлицы… И поглажа рукою со многие пятна на сердцы… Начат битися и трепетать все яво тело… На мал час ропоташи и слинам потещи из ноздры… И потещи из ноздры его, сукров, охлябица земляная… И умре того часе – без гласа и воздыхания…

Профессор запнулся и, прислушавшись непонятно к чему, вдруг, как циркуль, сложил свою плоскую, долговязую нечеловеческую фигуру. Тотчас что-то быстро и коротко вжикнуло сбоку от нас и царапнуло по гранитной плите, выбив красноватые искры. Хлестнуло каменной крошкой. Короткий тупой удар расплескался у меня под ногами. Вероятно, пуля,

срикошетив, воткнулась в землю. До меня вдруг дошло, что на другой стороне Канала уже довольно давно раздается рычание тяжелых нагретых моторов. Одновременно доносилась стрельба и какие-то крики. Видимо, там уже началась так называемая дезинфекция. А на нашей стороне, где, к счастью, пока было тихо, я заметил горбатую длиннорукую тень, метнувшуюся откуда-то из-за деревьев. Она почти на четвереньках, как зверь, перебежала освещенное луною пространство и нырнула за плиты, в спасительный резкий мрак. Мне показалось, что оттуда блеснули глаза.

– Вы меня опять не слушаете, – с отчаянием сказал профессор. Он расстегнул лежащий на коленях кожаный потертый портфель и убрал туда плотные, почти пергаментные, сухие страницы. Было в них что-то неуловимо знакомое.

– Откуда это у вас? – поинтересовался я, щурясь и придвигаясь ближе.

Потертый портфель явно принадлежал полковнику.

– Не имеет значения, – нервно сказал профессор. Он чуть вздрогнул и оглянулся назад, где перебегали точно такие же горбатые длиннорукие тени. В лунном свете обрисовался клинышек ассирийской бородки. – Нам, по-видимому, надо уходить отсюда. Это, к вашему сведению, богодухновенные тексты. Я обязан сохранить их в целости для следующих поколений. Это, если хотите, моя миссия…

Он умолк.

Я вдруг понял, почему так пронзительно пахнет сырой землей: небольшое, но, видимо, очень глубокое отверстие чернело меж плитами. Вероятно, отсюда начинались тайные подземные переходы к Храму.

– Я надеюсь, вы тоже идете? – спросил профессор.

– Нет, – ответил я. – Меня эти игры не привлекают…

– Как хотите, – сказал профессор, застегивая замочки портфеля.

– Дело ваше, я, разумеется, не настаиваю…

Он сполз с плиты и просунул босые ступни в земляное отверстие. С края тут же поехали-посыпались вниз струйки грунта. В это время что-то уныло бухнуло на другой стороне Канала. Завыл воздух. Звуковая дуга согнулась и внезапно иссякла. Где-то слева от нас послышался мокрый тяжелый шлепок, и неожиданно поползла по камням лужица невысокого студенистого пламени. Синеватые язычки ее облепили плиту, на которой застыл профессор. Это был, вероятно, напалм. Я даже не успел испугаться. Потому что низкорослое, обросшее шерстью, горбатое существо, похожее на обезьяну, дико всхлипнув, тоже

неожиданно вывалилось из-за плиты, и, припав, как собака, к земле, заюлило, повизгивая и глядя в упор на профессора. Тот уже наполовину просунулся в земляное отверстие, но – повис на локтях, и клинышек бороды оттопырился.

– Ах ты боже мой… – растерянно сказал он. – Ну конечно, куда же я без тебя? – И вдруг, протянув руку, нежно и ласково потрепал это существо по затылку…

На самом деле все это было не так. Горело несколько фонарей, и листва вокруг них была ярко-синяя. Размытые пятна ее непрерывно перемещались. – Душно нам… душно… душно… – накатывался лиственный шорох. Солдаты наступали на нас сразу с двух направлений. Часть их попыталась переправиться через Канал, примерно там же, где недавно и мы, и завязла, по-видимому наткнувшись на энергичного Чуню. Оттуда доносились плеск и беспорядочное постреливание. Зато другая их часть, которая сразу же сконцентрировалась под широкими тополями, вполне благополучно, по одному, перетянула свои силы уже за мостик и, развернувшись цепью, начала охватывать прилегающую к нему территорию. Троглодиты, очутившиеся в окружении, панически заверещали, в наступающих полетел град камней, палок и даже нечто вроде коротких дротиков, но палеолитическое оружие, конечно, оказалось бессильным против техники двадцатого века: автоматы прошили беснующуюся толпу, и за десять-пятнадцать секунд все было кончено. С новой силой почему-то засияла луна на небе. Я увидел, что спасшиеся троглодиты перебираются в глубь сада. Пахло дымом и свежими земляными отвалами. Безнадежно, как будто из преисподней, светила лужица прогорающего напалма. Я присутствовал здесь не телесно, а каким-то странным внутренним зрением. Распахнулись стены, и открылось взору безжизненное городское пространство. Зашипел жаркий ветер, сквозя по мертвым улицам и переулкам. Все мое тело пронзила хрустящая каменная конвульсия. Точно сделано оно было из ломкого кирпича и слоящегося гранита. Из гранита, асфальта, булыжника, песка, глины. Загудела напором вода, текущая по проржавевшим артериям. Провисли, как нервы, оборванные провода. Каждой клеткой я чувствовал, что в них уже давно нет электричества. И стены домов трескаются и еле держатся. И что некоторые разваливаются, образуя пыльные каменные лакуны. Словно язвы, саднили во мне территории всех четырех Карантинов. Я и не знал до сих пор, что Карантины, оказывается, подверглись беспощадному уничтожению. Гарь и пепел там были еще горячими. Бесчувственно лежали вокруг зыбкие болотные хляби. Здесь, по-видимому, уже начиналось последнее

омертвение. Шуршала трава. Плоть земли была душная, твердая и холодная. Еле-еле мерцало в ней ветхое сердце. Я едва ощущал в себе редкие и тупые удары. Чувствовался в них ужас подступающей смерти. Я пошевелился, и земля подо мной начала постепенно проваливаться…

Нет, нет, нет, все это было абсолютно не так. Не было Сада, и не было фонарей, окруженных сиреневым ореолом. Не было гнилостного Канала, где поплескивал жижей Чуня. Не было цепочки солдат, пробирающихся по камням на ту сторону. Влажный непроницаемый мрак обнимал меня. Повсюду была земля. Материнской толщей простиралась она до самого края мира. Созревали в ней хрустальные воды, истончались древние ракушки, гулким эхом отдавались упрятанные в глубинах пещеры. Я, по-видимому, находился в одной из таких пещер. Ощущалось движение воздуха. Меня осторожно гладили какие-то руки. Несколько голосов повторяли нараспев, как молитву: «О великий и беспредельный в своем могуществе Дух Подземный… О тот, который живет вечно и сам есть вечность… Кому послушны и твари, и рыбы, и гады, и насекомые… И трава, возрастающая из могил, и тайные минералы… О тот, от кого протянулись нити наших судеб… Чье дыхание согревает и оживляет нас… Встань над нами и покажи миру свое лицо… Ибо лицо твое есть – любовь и страх…» По-моему, это пел небольшой, но слаженный хор. Или, может быть, это пели мятущиеся деревья в Саду? Низкие своды пещеры рождали эхо. Кое-где земляной коростой вырисовывались желтоватые завитушки корней. Срединная часть пещеры была утоптана до каменной твердости. А в расширенном и заглубленном конце ее поднималось уступами какое-то сооружение. В самом центре его сияла надраенная медная чаша. Вероятно, это было нечто вроде подземного капища. Его окружали грязноватые полуголые люди, видимо уже долгое время не стригшие ногтей и волос. Вместо одежды на них висели ленты из древесной коры. Лица, не знающие дневного света, пугали прозрачностью. Я все это очень хорошо видел. Ни единого проблеска в пещере не было, но я все это очень хорошо видел. Наверное, помогало то самое внезапно прорезавшееся у меня «внутреннее зрение». Между прочим, и сам город я сейчас видел по-прежнему и без всяких затруднений мог бы указать место, где мы находимся: прямо под Садом, всего метрах в пятидесяти от Канала. Я даже видел карикатурные мелкие фигурки солдат, затягивающих оцепление. Впрочем, я все это не видел, а скорее угадывал. Меня все никак не отпускали хрустящие каменные конвульсии. Люди в одежде из древесной коры высоко подняли руки. «Встань и покажи миру

свое лицо…» – пели они тонкими голосами. Голоса дрожали, звуки были хрипящие. Тяжелый колокольный удар прокатился в пещере. А за ним сразу же – второй, третий, четвертый. В центре надраенной чаши вспыхнул венчик синеватого пламени. Вероятно, там находилась скрытая газовая горелка. Я увидел, что двое солдат наверху приблизились к подземному ходу – посмотрели в него и заговорщически переглянулись. Умирать они явно не торопились. Я чувствовал себя очень скверно. Я не мог ни вздохнуть как следует, ни пошевелиться. Все мое тело по-прежнему было из громоздкого камня. «Встань и яви свое лицо миру…» – гнусавили дьяконы и одновременно бросали в раскаленную чашу разные удивительные предметы: детскую куклу, старый башмак, книги, скомканные денежные купюры. Это у них, вероятно, что-то символизировало. Отказ от цивилизации или что-нибудь в этом роде. Тоже – не знаю. Думать об этом было некогда. Едкий горячий дым полз по пещере. Запах был отвратительный, но мне вдруг стало немного легче. В самом деле – я мог теперь двигаться и даже немного дышать. Точно треснула и сползла с груди какая-то тяжесть. Я попробовал согнуть в локте левую руку. Тут же послышался шорох осыпающейся невдалеке каменной крошки. На одной из стенок пещеры образовалась глубокая трещина. С мягким вздохом осела часть дальней кровли. Звякнул в последний раз и умолк засыпанный колокол. Медная чаша качнулась и как-то съехала совсем на бок. Дьяконы умолкли и все так же, воздев руки, попятились. «Возьми, возьми меня!..» – вдруг закричали отовсюду разнообразные голоса. Люди ползли ко мне на коленях и протягивали ладони. Видимо, я сделал именно то, чего они давно ждали. Вокруг меня самого билось что-то надрывное и скользко-холодное: сокращалось, растягивалось, опять сокращалось, опять растягивалось. Именно оно придавало мне силы.

– Что это? – шепотом спросил я, и тут же вновь зашуршала осыпающаяся кровля. Шепот вдруг раскатился как гром.

– Это ваше сердце, мой господин, – восторженно сказал профессор. Он каким-то образом вновь оказался рядом; тоже – протянул ладони и вздернул клинышек острой бородки. Глаза его слезливо посверкивали. – Неужели вы до сих пор не поняли? Не поняли? Ведь вы и есть – Зверь…

Меня поторапливали:

– Давай-давай!..

Народ по коридору двигался довольно густо. Честно говоря, я не ожидал, что будет столько народа. Стрелки круглых

настенных часов показывали уже три минуты четвертого. Совещание в актовом зале должно было вот-вот начаться. Но я все-таки, рискуя туда опоздать, заскочил в тихий закуточек перед секретариатом и, не обращая внимания на удивленно выпрямившуюся Лелю Морошину, не здороваясь, не говоря ни слова, повернул к себе аппарат городской связи.

К счастью, телефон сегодня работал. Маргарита сразу же схватила трубку.

– Ну как? – спросил я.

– Звонили еще два раза, – ответила Маргарита. – То же самое: вежливые, но очень настойчивые угрозы. Лучше уж бы они матом ругались. В общем, если я тебя не представлю, то скоро пожалею об этом. И я чувствую, что действительно пожалею. Слушай, я тут одна, а они звонят каждый час…

По голосу было ясно, что она еле сдерживается. Скрипнув зубами, я осторожно покосился на Лелю. Леля кивнула мне и примиряюще улыбнулась. Она внимательно слушала разговор и не считала нужным это скрывать.

Впрочем, она была по-своему права. Я отвернулся. Маргарита ждала, и в трубке было слышно ее частое прерывистое дыхание.

Так дышат люди, которым уже немного осталось.

– Пожалуйста, не волнуйся, – сказал я ей намеренно равнодушным голосом. Я очень хотел ее успокоить. – Ты им не нужна. Им нужен – я, и никто больше. Они тебе ничего не сделают. Только не выходи на улицу. Дверь крепкая, вломиться не так-то просто. Занимайся своими делами. И прошу тебя, не звони сюда ни под каким видом.

– Ты ночевать придешь? – спросила Маргарита.

– Видимо, нет, – сказал я.

И сразу же, чтобы она не успела брякнуть ничего лишнего, нажал на рычаг.

Мне было как-то не по себе. Голос у Маргариты был чрезвычайно обеспокоенный. Конечно, у нее имелись для этого основания, но мне почему-то казалось, что трогать ее не станут. Реально не станут, несмотря ни на какие угрозы. Она им действительно не нужна. Маргарита – это только приманка. Им нужен я, а не перепуганная насмерть женщина. Правда, кто их знает. Случиться может все что угодно.

Леля теперь смотрела на меня в упор.

– Плохо? – спросила она.

– Плохо, – сказал я.

– Не расстраивайся, – сказала Леля. – Будет еще хуже.

Я вдруг заметил, что она вовсе не улыбается. То есть, конечно, улыбается, но – заставляя себя, через силу. А в глазах

у нее стоят светлые слезы.

Она сказала:

– Он ничего не хочет слушать. Лезет на рожон. Сумасшедший какой-то. Он и раньше-то, по-моему, был не слишком нормальный, а теперь совсем съехал и уже ничего не соображает. Успел поссориться насмерть с генералом Блиновым. Скажи мне, пожалуйста, ну зачем он с ним поссорился? Думает, что – незаменимый? Он ошибается. В конце концов его просто убьют, чтобы не путался под ногами…

Она всхлипнула.

Я наклонился и поцеловал ее в щеку, пахнущую духами.

– Все будет хорошо.

– Ну тебя к черту! – сказала Леля…

– Нет, действительно…

– Все равно. Ну тебя к черту!..

В зале я устроился неподалеку от выхода. У меня было сегодня еще множество дел, и я вовсе не собирался высиживать здесь до конца совещания. Совещания эти мне порядком осточертели. Сколько уже собиралось таких совещаний, и что толку? Ни разу не слышал, чтобы на совещании говорили о чем-то существенном. Между тем народу сегодня набилось довольно много. Вероятно, удалось вытащить всех, кто в этот день был на службе. С некоторым злорадством я отметил, что присутствует даже Леня Куриц. Он сидел сбоку, по-видимому тоже намереваясь смыться в первый же удобный момент, и увлеченно что-то читал – быстро-быстро перелистывая страницы толстого фолианта. Подходить к нему я не стал. У меня не было никакого желания разговаривать сейчас с Леней Курицем.

Основной доклад сегодня делал генерал Харлампиев. По его словам, обстановка в городе оставалась исключительно напряженной. С одной стороны, она немного стабилизировалась, потому что после эвакуации значительно уменьшилась численность, как он выразился, активного населения. Теперь кордоны надежно блокируют весь периметр. Прорвать оцепление изнутри практически невозможно. Здесь мы наконец можем быть совершенно спокойными. Но с другой стороны, по его же словам, чрезвычайно ухудшилась ситуация в самом городе. Три последних «прорыва истории» имели печальные результаты. Город фактически разделился на сектора, изолированные друг от друга. И если с «Николаевским сектором», в котором имеются значительные войсковые соединения, договориться в общем-то удалось: император, будучи реальным политиком, в определенной мере пошел нам навстречу, с ним подписаны

весьма значимые соглашения; и если «Блокадный сектор» в настоящий момент также серьезных опасений не вызывает, так как в силу своей специфики он не располагает большими людскими ресурсами, – там работа тоже ведется, и есть уже конкретные результаты, – то образовавшийся недавно «Сектор Петра», к сожалению, сразу же стал источником постоянной угрозы. Сведения об этом секторе у нас весьма тревожные. Петр, если только он существует, ни на какие переговоры с нами идти не хочет, окружение его относится к нам более чем враждебно, деловые контакты и даже простой сбор данных осуществляются с колоссальными трудностями. Более того, не соблюдается соглашение о разделе районов: войска из «Петровского сектора» постоянно нарушают границу. Правда, вооружение у них трехсотлетней давности и пока что локализация инцидентов происходит без особых потерь, но ведь оба императора в конце концов могут договориться, и тогда у нас просто не хватит сил, чтобы контролировать обстановку. Гвардия Николая Первого вполне боеспособна, сказал он.

Здесь генерала Харлампиева прервали. Председательствующий, незнакомый мне человек в темно-зеленом полувоенном френче, неожиданно поинтересовался, почему так долго существуют эти «прорывы истории». Предыдущий «прорыв», насколько он помнит, длился около суток. А здесь месяц уже на исходе, но никакой… э-э-э… «спонтанной деструкции» не наблюдается. Как вы это можете объяснить? Генерал Харлампиев кратко ответил, что в данном «прорыве» срок жизни «мумий» существенно увеличился. Тогда председательствующий спросил, может ли генерал Харлампиев восстановить в городе твердый порядок. Генерал Харлампиев тут же ответил, что безусловно может. Председательствующий спросил, что ему для этого требуется. Генерал Харлампиев ответил, что ему для этого требуются вертолеты. Болотная масса все разрастается, и наземные операции малоэффективны. Тогда председательствующий спросил, сколько именно вертолетов потребуется. Генерал Харлампиев внятно назвал цифру. Председательствующий подумал и сказал, что вертолеты будут.

– У вас все? – с некоторым нетерпением спросил он.

У генерала Харлампиева было все. Он сел на место и тяжеловато отдулся. А затем достал из кармана клетчатый красный платок и промокнул им лоб и затылок.

– Собственно, я не понял, почему «мумии» теперь стали жить так долго? – сказал председательствующий.

Он не обращался ни к кому конкретно. Вопрос был задан в пространство. Однако люди в передних рядах начали

оборачиваться и оборачивались до тех пор, пока не уперлись взглядами в самый конец зала.

Меня словно черт толкнул в спину. Я неторопливо поднялся.

– Здесь, вероятно, работает эффект «критической массы», – сказал я. – Если два положительных масс-феномена сосуществуют в едином пространстве и если экзистенция их реальна, то есть отличается от нуля, то, согласно закону «квантовой пары», оба они становятся автаркоидами, пусть даже масса их в данном случае есть уже не масса, а время. Проще говоря, «мумии» живут, потому что их много. Чем больше сумма «квантовых трансформаций», тем длительнее «прорыв истории». Можно предполагать, что в идеале он стремится ко всеобъемлющему ничто…

Здесь я остановился и несколько перевел дыхание. Кстати, если бы меня сейчас попросили снова повторить эту чушь, я бы, скорее всего, не смог.

В зале ошарашенно оцепенели.

Председательствующий покашлял.

– Ну вот… наконец-то… объяснили по-человечески…

Я думал, что меня сейчас просто выведут с совещания. Но, как выяснилось, выводить меня никто вроде бы не собирался. Напротив, председательствующий глянул на меня вполне благосклонно, и затем слово предоставили следующему оратору.

Это был заведующий коммунальным хозяйством города. Оратор из него был, мягко скажем, как из меня балерина. И все-таки, если продраться сквозь его меканье, беканье и всяческие «это самое», можно было понять, что городские коммуникации окончательно развалились. За последние две недели произошли множественные разрывы труб, и наладить водопровод хотя бы в центральных районах практически невозможно. Нет ремонтников, нет частей, наконец, просто нет денег. Так же и по тем же причинам невозможно наладить систему канализации. О снабжении населения газом в этих условиях и говорить не приходится: после нескольких тяжелых аварий все газоснабжающие станции пришлось заблокировать. Сейчас налаживается снабжение граждан газовыми баллонами. Мера, конечно, временная. И обеспечить баллонами всех, разумеется, не удастся. В общем, это самое, безнадежно заключил оратор.

Вид у него был совершенно несчастный. Он словно ждал, что на него сейчас набросятся сразу со всех сторон. И опасения его были, по-видимому, не напрасны, председательствующий тут же суровым голосом поинтересовался, как это могло случиться, что город доведен до такого безобразного состояния.

– Дык, это самое, – ответил заведующий коммунальным

хозяйством. И опять начал бормотать что-то о нехватающих запчастях и некомплектных ремонтных бригадах. Причем бормотал он об этом достаточно долго, так что зал постепенно начала охватывать легкая, но неодолимая дрема. Я видел, как люди вздрагивают, чтобы отогнать сон, и трут щеки. Казалось, что на этом данное выступление и закончится. Однако тут заведующий коммунальным хозяйством допустил непростительную ошибку. То ли он сам начал засыпать во время своей путаной речи, то ли счел себя несправедливо обиженным и утратил бдительность. Тут, наверное, могло быть и то и другое. Только он вдруг ни с того ни с сего ляпнул, что если бы, это самое, не диверсии, если бы не диверсии, это самое, работать ему было бы значительно легче. Вот подорвали, это самое, значит, две подстанции, вот и сидим теперь, это самое, значит, без электричества. Укокошили, это самое, главного инженера, вот и некому, это самое, значит, наладить водопроводный комплекс. Про снабжение, это самое, газом я уже, это самое, и не упоминаю. В общем, ну никак, это самое, значит, то есть, это самое, оно, значит, никак, это самое…

Заведующий еще пытался говорить что-то в подобном духе, но тут председательствующий выпрямился и картинно поднял брови.

– Какие еще у вас тут диверсии? – железным голосом спросил он.

В зале наступила полная тишина. Все, казалось, опять застыли в глубоком обмороке. На заведующего коммунальным хозяйством было больно смотреть. Он сначала покраснел, затем побледнел, и все это буквально в какие-то две-три секунды, вдохнул, выдохнул, внезапно покрылся мутными зеленоватыми пятнами и в конце концов просто обвис на трибуне, точно рыба беззвучно глотая ртом воздух.

Тишина в зале становилась невыносимой.

– Позвольте мне пару слов, – негромко сказал генерал Блинов.

Председательствующий не сразу кивнул.

Генерал Блинов не стал выходить на трибуну. Он спокойным жестом придвинул к себе черную голову микрофона и на долгие пять секунд замолчал, вероятно раздумывая и собираясь с мыслями. Это были ужасные пять секунд. Каменели лица, и боязливо угасали в зале скрипы и шорохи. Люди застывали как статуи и, вероятно, опасались пошевелиться. Вдруг стало чувствоваться полное отсутствие звуков. Только тогда генерал Блинов наконец прервал паузу.

Он сказал, что обстановка в городе с самого начала

сложилась очень тревожная. Исключительно непростая, тревожная и даже до некоторой степени угрожающая. Безответственные элементы из числа так называемого «Общественного совета» – если помните, был некоторое время назад создан такой странный орган, который сразу встал в оппозицию к официальным органам власти, – воспользовавшись удобным случаем, стали сеять среди населения панику и распространять провокационные слухи. При этом бездоказательно очернялось нынешнее руководство страны, якобы бросившее город на произвол судьбы, использовалась прямая ложь и клеветнические измышления. Целью их было окончательно дестабилизировать ситуацию, с тем, чтобы в обстановке разброда ихаоса реализовать свои политические устремления. Надо честно признать, что в определенной мере это им удалось. В частности, так называемая эвакуация, при которой пострадали десятки, а может быть даже и сотни мирных людей, явилась следствием злонамеренно сфабрикованной информации о якобы распространяющейся в городе эпидемии. Каковая якобы приобретает необратимый характер. Причем всячески подчеркивалось бездействие военной администрации в этом вопросе. Что, разумеется, полностью не соответствует действительности. Как известно из заключения городской медицинской службы, никакой эпидемии в городе нет.

Здесь генерал Блинов вновь замолчал и, наверное, с полминуты сонно глядел в зал. Зал будто вымер. Я, во всяком случае, не слышал ни одного дыхания. Только председательствующий, точно во сне, равномерно кивал, видимо одобряя и соглашаясь со сказанным.

Разумеется, мы не могли оставить данные акции без внимания, продолжил генерал Блинов. Городское управление внутренних дел и сотрудники Федеральной службы государственной безопасности неоднократно беседовали с представителями различных политических группировок и предупреждали их о недопустимости действий, угрожающих жизни и благополучию российских граждан. Им было предложено прекратить враждебную агитацию и перейти к деловому конструктивному сотрудничеству с городскими властями. Однако верх здесь, к сожалению, взяли политические амбиции. Лидеры отдельных организаций, входящих в состав «Общественного совета», все-таки продолжали осуществлять свою разрушительную деятельность. Более того, они встали на путь прямого, злостного нарушения законов нашего государства. Ими были совершены несколько диверсионных актов на важнейших объектах городского хозяйства, предпринято наглое бандитское нападение

на здание горисполкома, в результате чего, кстати, имеются человеческие жертвы, организовано несколько покушений на представителей местных властей. Естественно, что в этих условиях Городским управлением внутренних дел и сотрудниками Федеральной службы государственной безопасности был вынужденно предпринят ряд ответных мер…

Генерал Блинов замолчал в третий раз, но вот этой, вероятно, самой зловещей паузе не суждено было длиться долго, потому что в ту же секунду как выстрел ударило откидное сиденье, и я увидел, что Леня Куриц идет по проходу – даже не особенно пригибаясь и как-то торжественно прижимая к груди свой фолиант. Сейчас же ударило еще одно откидное сиденье, и еще одно, и еще. Казалось, что вместе с Курицем уходил весь зал. Я даже зажмурился. Впрочем, когда я открыл глаза, то понял, что ошибаюсь. На самом деле уходили человек девять-десять – с напряженными, мертвенно неподвижными лицами. Кажется, это были те, кто побывал в Карантине. Точно не знаю. И непонятно было, что они собирались доказать своим демонстративным уходом. Что заместитель военного коменданта города генерал-лейтенант Блинов нас обманывает? Ну и что? Это, я думаю, и так всем было известно. Или что порядочные люди не могут находиться с ним в одном зале? Но тогда порядочные люди вообще должны сидеть дома. Или, может быть, они надеялись таким образом что-нибудь изменить? В общем, глупая, несерьезная, какая-то ребяческая демонстрация. Я догадывался, что злюсь я не столько на них, сколько, пожалуй, на самого себя. Мне, наверное, тоже следовало бы встать и демонстративно уйти отсюда. Однако для этого у меня не хватало элементарной смелости, и только минут через десять, когда возникла довольно вялая перепалка между представителем Санитарного управления, требовавшим немедленной эвакуации города, и флегматичным, вдруг успокоившимся председательствующим, который снисходительно повторял: «Нам этого никто не позволит…», – воспользовавшись некоторым оживлением в зале, я выскользнул оттуда наружу.

Участвовать в дискуссии мне совсем не хотелось.

Вместо этого я торопливо свернул по главному коридору и опять заскочил в закуточек перед секретариатом. Леня Куриц уже находился там. Он сидел на обширном кожаном диване, предназначенном для посетителей, и, прищурив один глаз, зажав зубами кончик розового языка, очень осторожно лезвием бритвы вырезал страницу из своего фолианта. Он был так увлечен этим противозаконным занятием, что высунул кончик языка и совсем не обращал внимания на Лелю, которая прильнула к нему,

обнимая и шепча что-то на ухо.

Вид у нее был обалденно счастливый.

– Прошу прощения, – неловко сказал я.

Леля тут же отпрянула, выпрямилась и окинула меня неприязненным взглядом. А затем кивнула в сторону стола, заваленного бумагами:

– Тебе там письмо.

Я порылся в корреспонденции и вытащил конверт, прочеркнутый синей линией эпидемиологического контроля. Письмо было, разумеется, от жены. Она сообщала, что у них все в порядке. Доехали они в общем благополучно, устроились в Ярославле также – более-менее. Скоро она выйдет на работу в местную поликлинику. Близнецы, слава богу, здоровы, сейчас за городом. Беспокоятся только из-за отсутствия вестей от меня, потому что слухи здесь ходят самые фантастические.

Заканчивалось письмо просьбой написать как можно скорее.

Ладно. Я засунул тетрадный листок в карман и взялся за трубку. Леня Куриц меж тем уже отрезал страницу и теперь поднял ее к свету.

Вдруг – громко цыкнул зубом от удовольствия.

– Привет-привет, – быстро сказал он, не поворачивая головы. Он, по-моему, только что меня заметил. – Ты, кстати, уверен, что это было именно сердце? Ну, которое, помнишь, «скользко-холодное и сокращалось-растягивалось»?..

Я пожал плечами:

– Откуда я знаю…

– А отождествление со Зверем у тебя было полное?

– Полнее некуда…

Отвечая ему, я одновременно набирал номер. Послышались длинные уверенные гудки, но на том конце трубку упорно не брали. Впрочем, это еще ничего не значило. Маргарита могла в ярости просто выдернуть телефонный провод. А могло быть, кстати, и так, что отключена вся линия.

– Сегодня связь есть? – спросил я у Лели.

Она кивнула на аппарат:

– Пока работает.

– А в моем районе – не слышала?

– Ну, это надо выяснить у связистов. Да!.. – она подняла руку и быстро-быстро, нетерпеливо пощелкала пальцами. – Да! Забыла. Тебя тут добивается какая-то женщина. Охрана ее остановила: нет пропуска, но она просила тебе передать, что будет ждать возле выхода.

– О черт! – сказал я.

Вероятно, это и была Маргарита. Все-таки притащилась сюда.

С ума сошла.

Сердце у меня бешено заколотилось.

– Куда ты?.. – с любопытством, даже оторвавшись от лицезрения текста, спросил Леня Куриц.

Я на секунду остановился, придерживая створку дверей:

– Включи тревогу!.. Вызови дежурное подразделение!..

Задребезжал резкий звонок, замигал, сигнализируя об опасности, свет в коридоре. Уже отворачиваясь, я еще успел заметить, как Леля усиленно нажимает какие-то кнопки на пульте, а подброшенный точно пружиной Куриц пытается ухватить выскользнувший у него из рук фолиант. Толстенная черная книга медленно, как в невесомости, переворачивается.

Впрочем, все это было уже где-то далеко позади. Я скатился по лестнице и перебежал вестибюль, нырнув в подкову металлоискателя. Кажется, в этой подкове что-то заверещало. Медленно, опять же как в невесомости, всплывал из-за барьера дежурный с нарукавной повязкой. Тяжелые дубовые двери еле сдвигались. Хлынуло солнце. Дохнули в лицо душные асфальтовые испарения.

Я, вероятно, на всю жизнь запомню эту картину. Справа от меня располагалась стоянка служебных автомобилей: среди беспорядочно приткнувшихся легковушек выделялся своей массивностью зеленый фургон явно военного вида, а немного левее него, где проход к зданию в целях безопасности был огорожен, трое рослых охранников, держа кверху дулами автоматы, препирались с чрезвычайно вальяжным и осанистым человеком, одетым в роскошный камзол старинного времени. Рядом с ними пофыркивала ноздрями серая в яблоках лошадь. Значит, «мумия». Забрел, по-видимому, не в свой сектор. Но однако если уж быть совсем точным, то они в этот момент вовсе не препирались, а, напротив, разинув рты, уставились на здание горисполкома. Вальяжный человек, по-моему, пытался креститься. За цветастым поясом у него был, как топор, вычурный пистолет устрашающе громадных размеров. Таким пистолетом только лупить врага по лбу. Больше я никого не видел и поэтому на какие-то доли секунды испытал легкую радость. Правда, всего лишь – на какие-то доли секунды. Потому что уже в следующее мгновение выскочила из-за фургона, вероятно, укрывавшаяся там Маргарита и, размахивая поднятыми над головой руками, устремилась в мою сторону.

Расстояние между нами было метров пятьдесят-семьдесят. Сердце у меня сжалось. Болезненная судорога перехватила горло. Почему-то я не ждал ничего хорошего от появления Маргариты. И действительно, из круглого сквера посередине площади,

где вздымалась на постаменте лошадь, несущая императора, тут же, словно чертики из коробки, выпрыгнули двое парней в серых безликих комбинезонах и точно так же устремились ко мне, вытягивая вперед сцепленные ладони.

– Пах!.. Пах!.. Пах!.. – раздалось на площади.

Выстрелы почему-то булькали приглушенно. Звонок в стенах горисполкома осекся, не знаю уж, кто и зачем его наконец выключил, зато из окон первого этажа навстречу бегущим выплеснулась короткая очередь. Судя по всему, палила охрана. И еще одна очередь хлестнула откуда-то сверху.

Все это разворачивалось очень быстро.

– Назад!.. – крикнул я Маргарите, тоже дико размахивая руками.

Но она то ли не слышала, то ли растерялась, замявшись перед взвизгнувшей по тверди асфальта пулей.

– Назад!.. Назад!..

Вероятно, мне самому следовало отступить. Ведь покушение было организовано именно на меня. Но я этого в тот момент как-то не сообразил, и, наверное в свою очередь потеряв голову, бросился к Маргарите. Я, по-моему, намеревался толкнуть ее под защиту фургона. Не знаю. Уже не помню. Я вообще очень плохо тогда что-либо соображал.

Однако это мое намерение было явной ошибкой.

– Пах!.. Пах!.. Пах!.. – снова раздалось на площади.

Звякнуло выбитое стекло. Заржала лошадь. В ту же минуту вальяжный осанистый человек, находившийся рядом с охранниками, вдруг достал из-за пояса свой доисторический пистолет и не целясь выстрелил по направлению к памятнику. Эффект этого выстрела был жуткий. Словно выпалила мортира, начиненная чудовищным количеством пороха. Грянул гром, и все заволокло едкими белесыми клубами дыма. А когда он немного рассеялся, впитываемый жарким воздухом, то я увидел, что один из боевиков лежит раскинув ноги и руки, точно в свободном падении, вместо головы у него какая-то малиновая капуста, а второй боевик приседает и пятится обратно к скверу. И туда же, пригнувшись, бегут солдаты от горисполкома.

То есть обстановка здесь в корне переменилась.

Но одновременно я увидел, что Маргарита, уже почти добежавшая до меня, вдруг остолбенела, будто налетев на невидимую твердую стенку, сделала еще один неуверенный шаг, словно земля под нею заколыхалась, и, осев на асфальт, повалилась, точно тело ее внезапно стало матерчатым.

И я тоже остолбенел в ту минуту. Тоже – будто наткнувшись на невидимую твердую стенку. Со мною, наверное, что-то такое

случилось. Мне бы следовало подойти к Маргарите, но я не мог этого сделать. Мне бы следовало помочь ей, но я не двигался с места. Меня толкали и спрашивали о чем-то, а я ничего не слышал. Я только смотрел, как она там лежит – ничком, на асфальте, – и как возникшие откуда-то санитары переворачивают ее, чтобы положить на носилки, и как старший из них безнадежно, так что все становится ясным, машет ладонью, и как они затем перетаскивают ее к светло-желтому медицинскому автомобильчику.

Лишь когда кто-то осторожно взял меня под руку, я обернулся.

Это был Куриц, и лицо его казалось высеченным из серого камня. Совершенно безжизненное, с пыльными, непроницаемыми глазными яблоками. Вот он моргнул, и впечатление было такое, будто моргнула статуя.

Мелкие морщинки побежали по коже.

– Все. С этим пора заканчивать, – сказал он.

К вечеру собралась гроза. Небо почернело, закрывшись грозными лиловыми тучами. Стояли они очень низко, и когда задевали за трубы или за крыши домов, то из рыхлого облачного нутра вываливались ветвистые молнии. Точно огненная фата одевала все здание, а затем стекала к асфальту, который шипел и плавился. Грома почему-то слышно не было. Неправдоподобная тишина подернула воздух. Ни единого звука не доносилось снаружи, только иногда, словно под невидимыми шагами, скрипела в глубине квартиры какая-то половица. Это была громадная, петербургская, старинная девятикомнатная квартира с невероятной по размерам своим тусклой и грязноватой кухней и с таким коридором, что там можно было играть в большой теннис. Правда, сейчас здесь играть было некому. Все девять комнат этой квартиры были безлюдны, и сквозь полуотворенные двери угадывался кавардак сдвинутой впопыхах мебели. Жильцы квартиры покинули ее во время эвакуации. Леля теперь жила здесь совершенно одна. Это было для нас чрезвычайно удобно, а также чрезвычайно удобно было и то, что квартира находилась в Петроградском районе. Этот район города почему-то пострадал меньше других. Здесь даже водопровод работал, правда с некоторыми перебоями, а по вечерам иногда на два-три часа подключали и электричество. Жить, вообще говоря, было можно. Чего же не жить, если и водопровод тебе тут, и электричество! Квартира, кстати, имела еще и то преимущество, что на кухне ее сохранился от старого времени черный ход, причем спускался он в глухой помоечный угол двора, а оттуда через сквозную

парадную был выход на соседнюю улицу. При случае это могло оказаться полезным.

Я не очень хорошо помнил, как попал в эту квартиру. Кажется, меня привел сюда Леня Куриц. Кажется, Леня Куриц. Однако я не был в этом уверен. Несколько последних часов я находился в совершенно бессознательном состоянии. Маргарита погибла из-за меня – вот что как гвоздь застряло в пылающей памяти. Из-за меня, из-за меня, только из-за меня. Если бы я как дурак не ринулся к ней через площадь, она не попала бы под огонь. Виноват во всем был именно я, я один, и прощения мне теперь не было. Я смотрел на молнии, заплетающиеся авоськами вокруг зданий, на кривое и беспорядочное нагромождение труб, похожих на филинов, на провалы дворов, в которых сгущались сумерки, и – ненавидел самого себя. Но еще больше я ненавидел город, раскинувшийся внизу. Умирающий город, душу бывшей империи. Погибала страна, и сердце ее останавливалось. Или, наоборот, останавливалось дряхлое сердце, и поэтому страна погибала. Честное слово, мне было все равно – так или этак. С этим пора заканчивать, недавно сказал Леня Куриц. Я не знал, имеет ли он в виду что-то конкретное. Леня Куриц уже давно не посвящал меня в свои планы. Он и раньше-то, в прежние времена, был достаточно скрытен, а теперь, когда дело приближалось к развязке, стал практически недоступен для нормального разговора. Я догадывался о его деятельности лишь по некоторым деталям. Например, я знал, что он обшарил все исторические архивы города и составил обширный свод, фигурирующий в секретной документации как «Земляная папка». Ну и что? Доступа к этой папке у меня все равно не было. Я также знал, что он тщательно обшарил и все городские спецхраны, изучая как давние партийные документы, так и некоторые бумаги бывшего Комитета государственной безопасности. Разрешение на это ему дал генерал Харлампиев (вероятно, поэтому Куриц и согласился на временное сотрудничество с военными). Я знал, что он собрал чрезвычайно обширные сведения по динамике населения города: социальный состав и смертность чуть ли не за все три столетия. Работа была проделана колоссальная. Вероятно, в ней заключался какой-то смысл, ускользающий от постороннего взгляда. И трудился он, между прочим, не в одиночку. При Военной комендатуре существовало несколько групп, занимавшихся чем-то вроде научных исследований. Жалкие остатки нашей Комиссии. Я не понимал, кто учредил эти группы и с какой целью. Тем не менее группы существовали и, кажется, даже обеспечивались оборудованием и деньгами. Официально Леня

Куриц не участвовал ни в одной из них, но, по-моему, имел возможность использовать полученную информацию. В этом ему опять же содействовал генерал Харлампиев. Странный у них был альянс, очень странный. Но, во всяком случае, он приносил определенные результаты. Правда, я до последнего момента не знал, какие именно. Леня мне о них почти ничего не рассказывал, он мне то ли не доверял, то ли резонно боялся, что из меня эти сведения в конце концов вытрясут. Думаю, что скорее второе, чем первое.

Да и я, надо признаться, не особенно интересовался его делами. Кончался август. Прошла примерно неделя со дня гибели Маргариты. Все эти дни я прожил в какой-то непреодолимой апатии. Точно надо мной, как, впрочем, и надо всеми нами, должна была разразиться некая чудовищная катастрофа. Я не мог объяснить, конечно, откуда эта катастрофа последует, я не мог начертать ее облик и предсказать какие-либо конкретные ее признаки, я не мог даже примерно сказать, что послужит главной причиной обвала – ничего подобного в моем сознании не было, – но не прекращающаяся ни на секунду острая внутренняя тоска убеждала меня, что разразится она буквально в ближайшее время. Вероятно, это было предчувствие смерти, которое возникает у неизлечимо больных людей. Мне, наверное, каким-то образом передавалось состояние Зверя. Так или иначе, но оно не отпускало меня ни на мгновение. И сейчас, когда я смотрел на набирающую силы грозу, то с ужасом понимал, что все уже, по-видимому, свершилось. Все свершилось, исполнились последние сроки, темное апокалиптическое знамение затмило собою небо, стрелки судьбы совместились, мы переступили черту, из-за которой уже нет возврата. Нам никто и ничем не поможет. И понимание этого было настолько отчетливым, что я не выдержал. В кухонном серванте я нашел припрятанную Лелей бутылку водки, торопливо, стараясь ни о чем не задумываться, налил себе чуть ли не половину стакана и, не отрываясь, выпил противную пахучую жидкость. А потом возвратился в комнату, бросился в кресло и крепко зажмурился. Я надеялся, что если что-нибудь и произойдет, то я этого не почувствую.

Разбудила меня Леля Морошина. Она дергала меня, пощипывала, толкала, трясла за плечи, терла мне уши, правда не слишком больно, ерошила волосы и дрожащим, умоляющим голосом повторяла:

– Ну, давай, давай!.. Ну, просыпайся же наконец, просыпайся!..

Я с трудом выдирался из вязкого одурения. В комнате было

уже светло – видимо, гроза миновала. Солнце очистилось, и в знойных его лучах переливались тысячи белесых пылинок. Жестяной будильник на тумбочке показывал четверть седьмого.

Сознание у меня начало проясняться.

– Это утро уже или вечер? – спросил я, бессмысленно таращась на стрелки.

– Ну слава богу! – с несколько истерической радостью сказала Леля. – Я уже думала, что ты никогда не очнешься. Леонид здесь не появлялся? Нет? У тебя, по-моему, была – летаргия. Тормошу, тормошу тебя – будто умер. Надо было, наверное, сразу – облить холодной водой из ковшика. Ты меня напугал – ну я прямо не знаю… Поднимайся, давай-давай, надо укладывать вещи. Мы немедленно отсюда уходим…

Она как сумасшедшая птица металась по комнате, хватала разные безделушки и тут же ставила их обратно на место, распахнула все дверцы шкафа и выдвинула нижние ящики, навалила на кресло, где я пребывал, целый ворох одежды. Кажется, она совсем потеряла голову, закусила губу и невнятно твердила: скорее… скорее… Верхняя пуговица на платье была оторвана.

– Может быть, ты мне все-таки скажешь, что случилось?! – гаркнул я во весь голос.

Тогда Леля на какое-то мгновение замерла и, вдруг крепко сцепив ладони, хрустнула сразу всеми костяшками.

– Знаешь, по-моему, я пропала…

И смахнула слезу, которая перекатилась через краешек века.

Дело, как можно было понять, заключалось в следующем. Сразу же после роковых выстрелов на площади перед горисполкомом, когда еще царили растерянность и некоторая паника от вездесущности террористов, – ведь только-только генерал Блинов докладывал о принятых мерах, – человек в полувоенном френче, председательствовавший на совещании, очень твердо и решительно взял власть в свои руки. Все его полномочия были немедленно подтверждены Москвой. И буквально к вечеру того же дня вдруг неизвестно откуда появилось великое множество точно таких же людей: в полувоенной одежде, в сапогах, с оттопыренными галифе, которые быстро заняли почти все имеющиеся в здании кабинеты и, не вдаваясь ни в какие дискуссии с прежней администрацией, тут же начали проявлять какую-то жутковато-лихорадочную активность. Большинство сотрудников горисполкома было немедленно арестовано. Также было арестовано несколько человек из руководства Военной комендатуры. Генерала Харлампиева сразу же отстранили от должности. Зато в главном

зале горисполкома повесили громадный портрет товарища Сталина. Окна, выходящие на улицу, плотно зашторили. В коридорах поставили часовых в вылинявших гимнастерках. Причем у офицеров вместо погон были в петлицах шпалы и ромбики. А во внутренний дворик выкатили пару грузовиков с работающими моторами. Самой Леле, можно сказать, повезло: ее вызвали в кабинет, где когда-то располагался отдел учета, и какой-то вежливый, но сильно изможденный молодой человек, страдающий тиком, продержал ее, наверное, часа полтора, выясняя подробности лелиной биографии. Где она родилась, где жила и не пребывала ли на временно оккупированной территории. Под «временно оккупированной территорией» он понимал почему-то только «Петровский сектор». Все это было муторно, одно и то же приходилось повторять по несколько раз. К тому же молодой человек даже как бы радовался, когда обнаруживал в ответах некоторые неточности. К концу допроса Леля уже твердо решила, что дела ее плохи. Однако молодой человек придерживался, видимо, другого мнения. Завершая беседу, он велел Леле расписаться на двух устрашающего вида бланках, а потом выпрямился и торжественно объявил, что лично он товарищу Морошиной полностью доверяет, лично он убежден, что товарищ Морошина всем сердцем предана делу партии, и поэтому он поручает товарищу Морошиной задание особой важности.

– Вам будет оказано исключительное доверие, оправдайте его, – сказал молодой человек. После чего он вызвал охранника и Лелю проводили в подвал.

О том, что было дальше, Леля рассказывать не хотела. Она лишь повторяла сквозь слезы:

– Их били, их там все время били ногами и палками… Они не хотели признаваться ни в чем, и их за это били опять… А я должна была записывать в протокол то, что они говорят… А потом их снова бросали на пол и снова били… А тех, которые ни в чем не сознались, уволокли во двор… Идти они уже не могли, так их избили…

В общем, она, по-видимому, попала в «конвейер», то есть в серию непрерывных допросов, когда обрабатывается большое количество подозреваемых. Я до сих пор о подобных методах только слышал. Леля не могла сказать, сколько времени она провела в том подвале. Ощущение времени у нее совсем потерялось. Через тысячу лет, наверное, ее отпустили – перекусить в буфете, она выбралась в коридор и вдруг увидела, что дверь на улицу из подсобного помещения приоткрыта. Бывает иногда такое удивительное везение. Она выскочила через эту

дверь и свернула в первый же попавшийся переулок, а затем почти сразу свернула в еще один переулок, а потом – побежала, хотя лучше бы, наверное, было идти неторопливой походкой, и бежала, бежала – ничего перед собою не различая. Сюда, на Петроградскую сторону, она добралась пешком, потому что транспорт в городе совсем не работает, в этом городе уже ничего не работает, а откуда-то из района Дворцовой площади доносится отчетливая перестрелка.

– В общем, надо уходить как можно быстрее, – заключила Леля. – Меня, наверное, уже спохватились. Этот адрес есть в нашем отделе кадров. Они могут быть здесь с минуты на минуту…

Она заразила меня своей паникой. Я вдруг тоже начал метаться по комнате и хватать разные вещи. Сумка, которую достала Леля, быстро наполнилась. Но уйти из квартиры вовремя мы все-таки не успели. Едва я затянул на сумке тугую, видимо, пересохшую молнию и едва с двух сторон прицепил ремень, чтобы ее можно было взять на плечо – собственно, уже примеривался, чтобы половчее закинуть, – как дверь на лестницу сначала осторожно тронули, наверное проверяя, а затем негромко, но отчетливо постучали условным стуком: три удара – пауза – еще три удара. А когда я, вероятно побледнев от волнения, боязливо открыл замок, ожидая, как впрочем и Леля, чего угодно, в квартиру через узкую щель не вошел, а как бы просочился без единого звука невысокий и гибкий юноша с черным кожаным саквояжем в руках.

– Леонид Иосифович здесь проживают?

Он как будто сошел с дешевого рыночного лубка: светловолосый, голубоглазый, с чуть припухлыми, нежными девичьими щеками. Ресницы у него были пушистые, а взгляд ярких глаз чистый и радостный, как у младенца. В общем, этакий пастушок. Этакий отрок Варфоломей, которому является святое видение. Впечатление портила лишь свежая царапина, располосовавшая шею. Как-то она не гармонировала с этим обликом.

– Так могу я видеть Леонида Иосифовича?..

Я объяснил ему, что Леонид Иосифович сейчас отсутствует. Нет его, и когда он будет, никому не известно. Вообще неизвестно, кстати, будет ли он здесь сегодня. Леонид Иосифович нам о своих планах, к сожалению, не докладывает. Заодно я в двух словах обрисовал ему сложившуюся ситуацию и сказал, что мы как раз собираемся исчезнуть отсюда.

Голубоглазый юноша немного подумал.

– Хорошо. Тогда я его подожду, если позволите.

После чего он быстро и тщательно запер за собой двери, присел на корточки, с легонькими щелчками открыл замки своего пузатого кожаного саквояжа, на секунду задумался, видимо соображая, как лучше сделать, и двумя-тремя заученными движениями извлек оттуда нечто электротехническое: какую-то круглую жестяную коробку с двумя клеммами, моток блестящих новеньких проводов, желтых, зеленых и красных, пассатижи, одетые в рубчатую резину, и еще что-то загадочное, зубчатым колесом своим напоминающее динамо-машину. Были там какие-то винтики в низкой банке, какие-то мелкие гаечки, какие-то замысловатые изогнутые контакты. Пастушок очень ловко собирал все это в единое целое: подгоняя, подкручивая и не обращая на нас никакого внимания. Мы для него как будто не существовали.

Я сказал несколько раздраженно:

– Вы меня, по-видимому, не поняли… э… э… э… товарищ… Мы сейчас отсюда уходим. И, между прочим, советуем вам сделать то же самое. Квартира засвечена, здесь оставаться опасно…

– Я боюсь, что это вы меня не поняли, – очень вежливо возразил юноша. – Мы никуда не уходим. Мы все остаемся тут и ждем Леонида Иосифовича.

При этом он даже не посмотрел в мою сторону – осторожно привинчивая контакт к жестяной коробке.

Я оглянулся на Лелю.

Она пожала плечами.

Ладно. В конце концов, нас это не касалось.

Я вернулся в комнату и с некоторым напряжением оторвал от пола дорожную сумку. Сумка была, наверное, килограммов двадцать. Леля, в свою очередь, взяла плащ и сетку с продуктами.

– Надо бы написать записку, – сказала она нерешительно.

– Напиши, – сказал я. – Только, пожалуйста, никакой конкретики.

И она быстро чиркнула несколько фраз на клочке бумаги. А затем положила его посередине стола и придавила пепельницей. Вверх ногами я разобрал лишь одно слово: «увидимся». Я надеялся, что нам удастся уйти спокойно.

Однако надежды мои, к сожалению, не оправдались. Потому что когда мы, судорожно оглядываясь, не забыли ли чего впопыхах, вновь появились в прихожей, голубоглазый юноша даже не подумал посторониться. Он все так же сидел на самом проходе, разложив провода и прилаживая что-то к своей динамо-машине.

– Пропустите, – сказал я как можно более миролюбиво.

– Да-да, – быстро добавила Леля. – Пожалуйста, мы очень торопимся.

Лишь тогда юноша вынул изо рта мелкие винтики и выпрямился.

Ресницы его – хлоп-хлоп – выразили удивление.

– Вы куда-то собрались? – поинтересовался он. – Я же вам объяснил: мы все ждем здесь Леонида Иосифовича…

Кажется, он даже немного обиделся.

– Вот что, молодой человек, – сказал я, пытаясь сдержать раздражение. – Вы его, может быть, здесь и ждете – это ваше личное дело. А вот мы его ждать не будем – у нас нет времени… Отойдите, пожалуйста, я вас очень прошу…

Голубоглазый юноша даже не тронулся с места.

– Я боюсь, что подождать Леонида Иосифовича все же придется.

– Молодой человек!

– Леонид Иосифович очень просил его подождать…

Глупо это как-то все было. Я вдруг вспомнил, что у меня пистолет, и довольно-таки неловко полез за пазуху.

– Не надо, – видимо, угадав мои намерения, предупредил юноша.

– Отойдите!

– Не надо!

– Молодой человек, я вас прошу по-хорошему…

Кажется, я уже нащупал в кармане теплую рифленую рукоятку. Да-да, кажется, я уже нащупал ее и, по-моему, даже начал вытаскивать. Кажется, я уже даже наполовину ее вытащил. И в это мгновение произошло что-то странное. Голубоглазый юноша сделал плавное движение левой ладонью. Да-да, именно левой, хотя поручиться за это я, конечно, не мог бы. И тут же режущая острая боль разодрала мне солнечное сплетение. Я сложился чуть ли не пополам. Дыхание у меня остановилось.

– Извините, пожалуйста, – негромко сказал юноша.

Вероятно, я на какое-то время потерял сознание. Потому что когда я снова открыл глаза и вроде бы начал что-то соображать, то увидел, что сижу в прихожей, в углу, обхватив руками живот и скрючившись так, что лоб мой почти касается коленей. Пистолета при мне, конечно, уже не было. Также при мне уже не было и дорожной сумки. Она лежала неподалеку, на боку, смятая, чуть ли не вывернутая наизнанку, и голубоглазый юноша длинными музыкальными пальцами с интересом перебирал ее содержимое.

– Ну как ты? – спросила Леля, промакивая мне лоб платочком. Еле слышно шепнула: – Может быть, в самом деле

подождем немного?

Всем своим видом она призывала меня к сдержанности. Я осторожно вздохнул. Боль в животе, по-моему, слегка отпускала. Юноша тем временем закончил перебирать наши вещи, вытер пальцы и пол и снова начал монтировать на жестяной коробке какое-то приспособление. Эта работа поглощала его целиком. Я прикинул расстояние между нами и одновременно искоса, стараясь не шевелить головой, оглядел прихожую. Нет ли поблизости чего-нибудь подходящего. Ничего подходящего рядом, разумеется, не было. Да и не смог бы я сейчас встать и замахнуться как следует. Тем более что голубоглазый юноша, тоже не поворачивая головы, скосил глаза в мой угол:

– Вы ведь не профессионал, Николай Александрович? Не профессионал. Тогда не надо. Извините, но я голыми руками положу человек семь-восемь. Вы мне даже с пистолетом не очень опасны. А уж без пистолета, поверьте мне, не стоит и пробовать…

Говорил он неторопливо и снисходительно, будто с ребенком, и, еще не закончив фразы, опять согнулся к коробке, вворачивая хромированную детальку. Видимо, он не считал меня серьезным противником.

Это было ужасно.

– Оставь его, – тихо сказала Леля.

Тем не менее я бы, наверное, попытался что-нибудь предпринять; наверное, все равно кинулся бы на него, наверное, попробовал бы чем-нибудь его ударить. Я, конечно, отчетливо понимал, что это бессмысленно, но, клянусь, бессмысленно или нет, я бы обязательно попытался.

Леля тревожилась за меня не напрасно.

Однако едва я поднялся, еще опираясь о стену и массируя себе диафрагму, как в наружную дверь громко и требовательно постучали:

– Гражданка Морошина! Откройте!

А после секундной паузы посыпались тяжелые размеренные удары.

– Гражданка Морошина!

– Открывайте!

– Мы знаем, что вы – дома!..

– Это за мной, – побледнев, сказала Леля.

К счастью, дверь была очень крепкая, настоящая, из толстенных, вероятно четырехдюймовых, дубовых досок, и к тому же, по-видимому в связи с событиями последних недель, она для безопасности была обита поперечными железными полосами. То есть какое-то время мы могли продержаться.

– Верните мне пистолет, – попросил я голубоглазого юношу.

Он отрицательно качнул головой:

– Пока не стоит…

А затем энергичными движениями рук показал нам с Лелей, чтобы мы отходили по коридору. Сам он, присев на корточки и в такой позе пятясь, совершенно спокойно разматывал моток зеленого провода. А допятившись до кухни, поставил посередине ее свою динамо-машину и уверенно подсоединил зачищенные концы к торчащим раздвоенным клеммам.

– Все в порядке, – сказал он с удовлетворением. – Перекрытия здесь не слишком, скорее всего – обрушатся. Как только они войдут, мы их накроем…

Может быть, я ошибался, но мне казалось, что он даже доволен тем, как все складывается. Лицо его повеселело, а на губах появилась мечтательная улыбка. Впрочем, он тут же отскочил, плотно прижавшись в простенке, потому что половинка черного хода с мучительным скрипом отворилась на лестницу и в проеме ее, задыхаясь, держась обеими руками за сердце, точно привидение, возник всклокоченный Куриц.

– Ага! Я все-таки вас застал, – сказал он, преодолевая одышку. – Фу, черт!.. Бежал… Боялся, что не дождетесь… Фу… И Василек здесь… Рад тебя видеть… Сейчас-сейчас, отдышусь… А кто это там колотится?..

Я не поверил своим глазам, но Василек, отклеившийся от стены, стал чуть ли не по стойке «смирно». Во всяком случае, он вытянулся в струнку, как перед начальством, и даже немного, точно в строю, отставил от тела острые локти.

– Здравствуйте, Леонид Иосифович, – радостно-мальчишеским голосом сказал он. – Это к нам тут в гости – слегка набиваются. Вы не волнуйтесь, мы их сейчас успокоим.

Он кивнул на уходящие в глубину коридора тонкие зеленые провода.

– Принес? – спросил Куриц.

– Принес, – сказал Василек.

– Ну, тогда сматывай эту механику и давай – двинули.

А пока несколько озадаченный Василек, отсоединив контакты, вытягивал динамитный заряд из прихожей, Леня Куриц обратил к нам лицо, пересеченное усталыми складками, и довольно лихо дернул выпирающим подбородком.

Казалось, настроение у него было отличное.

– Ну? Отдохнули немного? Теперь пошли покатаемся? – сказал он.

Путаницу мелких улиц, прилегающих к Большому проспекту,

мы преодолели сравнительно благополучно, однако при выезде на сам проспект произошел весьма характерный случай. Мы уже приближались к нему по одному из тех бесчисленных переулочков, которые пересекают его и заканчиваются потом на параллельно идущей транспортной магистрали, когда машина неожиданно, точно раненая, резко сбросила ход, заурчала и завиляла, будто ехала по песчаному пляжу.

Вероятно, мостовая под ней начала проваливаться.

– Берегись! – крикнул Куриц.

Громадное серое здание, опоясанное эркерами и балконами, вдруг заколебалось своими грубыми, под неотесанный камень, гранитными ребрами, как бы подалось немного одновременно вверх и вперед, и с его раздутых боков посыпались разнокалиберные обломки.

Впрочем, как оно распадалось дальше, я, конечно, не видел. В то же мгновение я, обхватив Лелю за плечи, пригнул ее как можно ниже к сиденью и пригнулся сам, чтобы укрыться от надвигающегося удара. Реакция у меня была на грани инстинкта. Я ждал, что сейчас грохнут по крыше спекшиеся куски штукатурки, что тонкий металл порвется, вывернув внутрь режущие, как бритва, лохмотья и что мы непременно впилимся – в столб, в угол, в ржавеющие у тротуара остовы. Однако ничего подобного не случилось. Вместо этого машина накренилась, чуть ли не чиркнув дверцами по асфальту, потом еще раз накренилась, теперь уже в противоположную сторону, как-то по-клоунски прыгнула, крутанулась на месте и, ударившись колесами о покрытие, набирая скорость, пошла вдоль Большого проспекта. Раздался грохот. Земля ощутимо дрогнула. В заднее стекло я увидел кудрявую тучу пыли, из которой торчали две перекрещивающиеся балки.

Мы, кажется, проскочили.

– Ну ты даешь! – сказал Леня Куриц, переводя дух и восхищенно глядя на Василька. – Классный у нас водитель. Ты же нас всех, понимаешь, чуть не угробил. – Он обернулся ко мне. – Василек может поставить машину на два колеса и так ехать. Познакомьтесь, кстати, это именно Василек организовал нападение на горисполком. Не совсем удачно, по-моему, но шума было порядком. Шрам видишь на шее? Это у него оттуда. А еще раньше Василек создал организацию, которая называлась «Гермес». Ты, может быть, слышал? Василек – человек активный. Нам исключительно повезло, что он сейчас вместе с нами. Василек! Сколько человек вы тогда, в этом «Гермесе», уговорили?

В зеркальце заднего вида было заметно, как Василек улыбается.

– Разве это были люди? Это было – так, дерьмо кошачье… Все наши беды именно оттого, что настоящих людей слишком мало…

Наступила пауза. Асфальт неожиданно кончился. Потянулся тряский булыжник, между которым торчали ржавые травяные проростки. Старенький «москвич» задребезжал так, что, казалось, сейчас развалится. Скорость пришлось сбросить, но, вероятно, это было и к лучшему, потому что на площади, куда мы вывернулись, если не ошибаюсь, с Малой Посадской, сгрудилось возбужденное людское сборище, по-видимому две-три тысячи человек, не меньше. Причем они дико размахивали красными флагами, тянули к небу винтовки, улюлюкали, свистели в два пальца и всей колышущейся серо-шинельной массой своей стремились к разлапистому дворцу, одетому невзрачной плиткой блекло-банного цвета. На балконе дворца находился высокий человек тоже в шинели и, чуть подаваясь вперед, выкрикивал что-то неслышное за общим гомоном. Доносились только отдельные фразы: «Эксплуататоров!.. Власть трудящимся!..» Вот он повернулся, и мелкими стеклышками блеснуло на солнце пенсне. Толпа ответила гулом. Мы остановились. Мост был, оказывается, разведен: плоские асфальтовые пролеты дыбились над Невой, почти горизонтально торчали перила, и по ним зачем-то карабкались крохотные фигурки.

Кому это понадобилось?

– Сворачивай на Дворцовую, – велел Куриц.

Сейчас же в заднюю дверцу, с той стороны, где сидела Леля, просунулась здоровенная харя, усеянная черноголовыми буграми фурункулов, и, втянув расширенными ноздрями воздух, бесшабашно сказала:

– Х-хто тут упрятался?.. Вылезай, девка, – гулять будем!..

В машине распространился резкий запах карболки. И одновременно – желудочный мощный дух сивушного перегара.

Леля, отпрянув, что-то прошипела.

– А ну убери лапы, товарищ, – холодно сказал Василек.

– А то – что? – поинтересовалась харя.

– А то – отрублю!..

Я думал, что нас сейчас вытащат из машины и просто приколют. Лично я никогда не умел разговаривать с такими субъектами. Однако в данном случае тон, по-видимому, был выбран правильно.

Харя просипела:

– Па-аду-умаешь!.. – и утянулась в бурлящее злобой и ненавистью пространство.

– Поехали, поехали, – нетерпеливо сказал Куриц.

Он довольно-таки нервно поглядывал на часы и что-то прикидывал. Машина развернулась, как мне почудилось, практически на одном месте. За окном мелькнули – шпиль Петропавловской крепости, мостик, пыльные безжизненные бастионы. Прозвонило колокольчатыми ударами половину восьмого. Я уже знал от Курица, что сегодня ночью перешел в общее наступление «Николаевский сектор». Два батальона гвардии двинулись от Лавры по направлению к центру. У Московского вокзала их удалось задержать наскоро поставленной пулеметной заставой. Тем не менее обстановка в этом районе была очень тревожная. Гвардия, видимо, рассредоточилась и сейчас просачивается к Невскому обходными путями. В общем, времени у нас было чрезвычайно мало.

Сам Леня Куриц нетерпеливо покашливал.

– Ничего-ничего, – сказал ему Василек, щурясь от солнца. – Мы пробьемся. Положитесь на меня, Леонид Иосифович. Вы же знаете, что на меня можно положиться…

Он опять улыбался. Чуть растопыренные ладони его лежали поверх баранки. Я впервые видел, чтобы так водили машину. Он, вероятно, был очень в себе уверен. И тем не менее я все-таки не понимал, какие у него для этого есть основания. Никаких оснований, по-моему, у него для этого не было. Пока, на мой взгляд, все складывалось достаточно плохо. Правда, Дворцовый мост, к которому мы подъехали минут через десять, оказался сведенным, и мы почти мгновенно, взлетев над Невой, проскочили на другую его сторону. Этот этап, таким образом, завершился благополучно. Однако дымная набережная от съезда с моста до Адмиралтейства была также запружена вооруженным отрядом. Здесь скопилось, наверное, человек триста-четыреста, многие опять-таки с винтовками наперевес, в пулеметных крест-накрест, желтых, широких лентах. Несмотря на августовскую жару, почему-то горел костер, почти прозрачный на солнце, трое матросов в тельняшках ворошили в нем полированные доски рояля.

Они обернулись к нам и бешено закричали:

– Стой!.. Тудыть-твою-растудыть!.. Останови машину!..

Хлопнул выстрел. «Москвич» вильнул. Покатился как бревно человек, отброшенный радиатором. Я увидел обложенный поленницами дров Зимний дворец, арку Главного штаба с распяленной на верху ее вздыбленной конной квадригой. Из-под сводов арки веером бежали какие-то люди, а от поленниц, навстречу им, хлопали суматошные выстрелы. Агонизировал, по-видимому, уже весь центр города. Стало ясно, что Военная комендатура ситуацию больше не контролирует. Патрулей ее,

во всяком случае, нигде видно не было. Мы попытались было пробиться к Невскому, но оттуда, как вода из запруды, хлынул разгоряченный поток людей: дамы с кокетливыми красными бантиками на шляпках, хорошо одетые, вылощенные мужчины с усиками и бородками. Среди них крутился растерянный омоновец в комбинезоне. Пришлось дать задний ход. Машина чуть было не застряла. Выбраться из этой толчеи удалось далеко не сразу, но, как только мы все-таки выбрались, нас тут же обстреляли на углу Гороховой улицы. Василек как раз немного притормозил, объезжая трамвай, больше напоминающий конку – с деревянными гранями, с несколькими узенькими скамеечками на крыше, – когда из серого казенного здания, вероятно уже обжитого чекистами, выскочили несколько затянутых в суровую кожу твердоскулых людей и, ничего не выясняя, не разбираясь ни в чем, начали садить по нам из огромных маузеров. К счастью, стрелять они совсем не умели. Было только одно попадание: пуля, чиркнув по крыше, ушла в неизвестность. Стало, однако, ясно, что Гороховая улица для нас закрыта. Также был напрочь закрыт и Адмиралтейский проспект – по трамвайным путям его маршировала нестройная колонна красногвардейцев. Впереди вышагивал предводитель – опять-таки в черной коже. Колыхались папахи, штыки, серые полы шинелей. Мы, похоже, очутились в ловушке.

– Давай через площадь! – сдавленно приказал Куриц. Дернул щекой и тут же поднял ладонь, прижав затрепетавший под кожей мускул. – Что ты задумался? Не думай, давай – поворачивай!..

Но Василек уже и сам принял решение. Машина снова точно юла крутанулась, практически не тронувшись с места, пробороздила асфальт, чуть было не содрав с колес шины, и устремилась в узкую косую улицу, представляющую собой начало проспекта. Или, может быть, не начало, а вполне самостоятельный переулочек. Так или иначе, но он весь был загроможден неповоротливыми старинными экипажами: колясками, фаэтонами и чем-то еще, уже давно и прочно забытым. Все это катастрофически перепуталось, сцепившись колесами – дергаясь, наклоняясь и наваливаясь друг на друга. Возчики в серых кафтанах угрожающе размахивали кнутами. Вырос откуда-то городовой и засвистел, надувая грушами толстые щеки. Казалось, что протиснуться здесь на площадь немыслимо, но Василек все же протиснулся – отталкивая и разворачивая бампером «москвича» мешающие повозки. Водитель он и в самом деле был классный.

У меня даже появилась некоторая надежда.

Впрочем, она тут же рассеялась, потому что, стремительно

миновав на удивление пустынную после всей этой толкотни, тихую площадь, обогнув памятник императору, который (император, конечно) вел в это время наступление вдоль Невского, и проскочив мост, как я некстати вспомнил, самый широкий в мире, мы вдруг увидели, уже на другой его стороне, перегораживающую проспект заставу. Причем сделана она была очень профессионально: стояли могучие надолбы, сваренные из железнодорожных рельсов, два бетонных блока, справа и слева, обозначали присутствие капониров, а просветы между ними и надолбами закрывала тройная колючая проволока. Такие же надолбы перегораживали и въезды на Мойку. Свернуть было некуда: набережные были загромождены военными грузовиками. В центре же заставы находился полосатый шлагбаум и его охранял боец в вылинявшей, залатанной гимнастерке. На пилотке его багровела пятиконечная звездочка.

Он приблизился, держа винтовку наперевес, и, слегка наклонившись, даже не потребовал, а как-то пролаял:

– Пропуск!

Василек многозначительно посмотрел на Курица.

– Спокойно! – сказал тот. Порылся в кармане и достал зеленый твердый прямоугольник с круглой печатью. – Вот, пожалуйста, товарищ боец…

Боец мельком глянул на пропуск и крепче перехватил винтовку.

– Недействителен, – сказал он.

– Почему недействителен? – удивился Куриц.

– Потому что уже отменен!

– Когда?

– Сегодня, с ноля часов. – Боец выразительно дернул штыком. – А ну выходи! Без разговоров! Стрелять буду!..

В это время темно-зеленый военный фургон, который я помнил еще с момента гибели Маргариты, вдруг зарычал мотором и, выехав со стоянки, развернулся задом к свободному месту на тротуаре. Двери горисполкома открылись, и оттуда, сопровождаемая конвоем, прошествовала группа людей в офицерской форме. Первым, как ни странно, шел генерал Блинов. Причем – с сорванными погонами, руки за спину. Видимо, ослепленный солнцем, он немного замедлил шаги, и ближайший конвойный тут же грубо толкнул его прикладом в спину.

Значит, дождались порядка. Все это было абсолютно закономерно.

– Видишь? – шепотом спросила Леля, инстинктивно отодвигаясь в глубь машины.

– Вижу, – также шепотом ответил я.

– Значит, конец?

– Похоже на то…

Но вместе с тем я видел и нечто иное. Я видел, что тонкотелый, кавказской наружности офицер, командовавший конвоем, остановился и внимательно смотрит в сторону пропускного пункта. Вероятно, наше положение мало чем отличалось от положения генерал-лейтенанта Блинова.

Здесь все решали секунды.

– Выходи! – угрожающе повторил боец с винтовкой.

Василек опять многозначительно посмотрел на Курица. И на этот раз Леня Куриц чуть заметно повел подбородком.

– Хорошо, – негромко сказал он.

Василек, приветливо улыбаясь, полез из машины. Сердце у меня оборвалось. Я как будто поплыл в пугающей невесомости.

Сейчас должно было произойти что-то страшное.

– Ой! – внезапно воскликнула Леля и как слепой котенок начала тыкаться в запертую боковую дверцу. Ей никак не удавалось ее открыть. – Сейчас, сейчас! Пожалуйста! Подождите минуточку!.. – А затем, наверное отчаявшись преодолеть запоры, просто вытянула через окошко руку, в которой был тоже зажат твердый пластмассовый прямоугольник, однако уже не зеленый, как у Курица, то есть просроченный, а желтоватый и, насколько я мог разобрать, перечеркнутый двумя синими полосами. – Вот вам пропуск, товарищ боец. Сегодняшний…

Боец всмотрелся и тут же выпрямился, молодцевато вскинув руку к пилотке:

– Все в порядке, товарищ уполномоченный. Можете проезжать! – Он вдруг немного замялся: – А как остальные граждане?..

– Остальные – со мной, – сказала Леля.

– Виноват, товарищ уполномоченный! Поднять шлагбаум!..

Полосатая загородка с привязанным на конце грузом поползла кверху. Машина прыгнула с места и понеслась в асфальтовую тишину проспекта.

Он сейчас был совершенно безлюдным.

Леня Куриц облегченно вздохнул и откинулся на сиденье.

Глаза у него были прикрыты.

– Ну вот, теперь, кажется, все, – ни к кому конкретно не обращаясь, сказал он.

В определенном смысле Леня Куриц был прав. Дальше и в самом деле оставались сущие пустяки. Мы доехали

до перекрестка с Садовой улицей, и здесь Куриц, распорядившись притормозить, высадил Лелю. Может быть, он, зная, что именно предстоит, побаивался за нее, а быть может, просто считал, что здесь, на последнем этапе, она как женщина нам помешает. Мне очень трудно судить о тогдашних его мотивах. Во всяком случае, в этом своем решении он был непреклонен. И как Леля ни возражала, пытаясь даже для убедительности заплакать, как она ни цеплялась и не клялась, что еще будет нам всем полезна – пропуск-то для проезда по городу кто обеспечил? – он только щурился и смотрел вперед, как будто это его уже не касалось. В конце концов Василек взял Лелю за локти и без особых усилий переместил наружу. При этом Леля, как бы не замечая происходящего, продолжала с ним спорить и даже яростно жестикулировать. Оглянувшись, когда машина отъехала, я увидел ее фигуру, растерянно топчущуюся на перекрестке. По-моему, она еще продолжала спорить и жестикулировать. И честное слово, мне даже стало ее немного жалко.

Правда, тут же выяснилось, что все это было совершенно напрасно. С машиной нам пришлось распрощаться уже буквально через минуту. Оказывается, болото, ранее простиравшееся от Канала до парадной моего дома, за время нашего отсутствия разрослось и заполонило собой практически всю Садовую улицу. Асфальт был подмыт, тупорылый «москвич» сразу же увяз колесами в топкой жиже. Даже Василек со всем своим мастерством ничего не мог здесь поделать. При каждой попытке сдвинуться машина уходила в трясину все глубже и глубже. В конце концов мы ее так и бросили – будто мертвое насекомое. Куриц даже не обернулся, он из-под ладони смотрел куда-то в сторону Сада. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралась зеленоватая топь: кочки с чахлой осокой, жирная торфяная вода между ними. Дома вокруг стояли пустые, накренившиеся, нигде ни единого человека. Район был, вероятно, оставлен полностью и окончательно.

– Н-да… – сказал Василек, тоже из-под ладони осматривая окрестности. – Что будем делать?

– Вперед! – сказал Леня Куриц.

Следующие сорок минут прошли точно в аду. Мы пробивались через болото, как будто где-то в тропической сельве. Это, разумеется, было не то болото, что за Новодевичьим кладбищем: ни кровососущих растений, ни гигантских пиявок, живьем пожирающих человека. Или, может быть, нам просто сопутствовало везение. Однако здесь тоже была трясина, и тоже был дерн, опасно пружинящий под ногами, и поднимались душные испарения, от которых в голове становилось сонно

и муторно, и нехорошие бурые слизняки чавкали розовыми присосками почти в каждой луже. В общем, без Василька мы бы, наверное, здесь просто загнулись. Сначала он вытащил из трясины меня, когда я провалился по грудь и барахтался в вязкой бездонности, уже ни на что не надеясь. Затем он точно так же вытащил Леню Курица, который тоже ухнул в «окно», затянутое приветливой изумрудной травкой. И, наконец, именно Василек спас нас обоих уже в русле Канала, когда из-под моста, где кожистым поблескивающим холмом вздымалась туша издохшего Чуни, к нам вдруг, повизгивая, метнулось что-то мерзкое и змеевидное. Я до сих пор не знаю, что это было. Я помню только четырехугольную ослиную пасть, усеянную коническими зубами, и между ними – раздвоенный язычок в слюнных ниточках. Честно говоря, я в этот момент просто остолбенел. Просто стоял и смотрел, как оно выламывается, по-видимому, для прыжка. И Леня Куриц, по-моему, тоже остолбенел. И лишь Василек, шедший чуть сбоку, точно заранее готовился к данной встрече: вскинул своего «калашникова» и перекрестил эту тварь двумя четкими очередями. Она забилась, выбрасывая серо-зеленые, наслаивающиеся друг на друга кольца. Не представляю, где Леня Куриц откопал этого человека. Я против воли начал испытывать к нему нечто вроде симпатии. В особенности потому, что Василек, несмотря на все наши трудности, улыбался. Он улыбался, вытягивая меня из жуткой чавкающей трясины. Он улыбался, ступая вперед, чтоб по приказу Курица проверить очередную подозрительную колдобину. Он улыбался, когда стрелял в чуть не сожравшую нас чудовищную змеевидную гадину. И улыбался он даже тогда, когда под ним самим внезапно разверзлась земля и когтистая лапа в фиолетовых перепонках царапнула его по ботинку. Возникало такое чувство, что ему все время весело. Он как будто лишь развлекался, рассматривая наш путь как удивительное, но в общем безопасное приключение. Ему, видимо, и в голову не приходило, что он тоже может погибнуть. И улыбка исчезла с его лица лишь на один момент: когда мы все-таки добрались до уже известного мне подземного хода и Леня Куриц, наскоро проинструктировав меня в том смысле, что надо стрелять и стрелять, сначала стрелять, а потом уже думать и разбираться, приказал ему отдать мне автомат.

Вот тогда улыбка у Василька и исчезла.

– А зачем это надо? – спросил он несколько озадаченно. – Николай Александрович, наверное, и пользоваться не умеет…

– Отдай! – повторил Куриц.

Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза,

а потом Василек, сдаваясь, пожал плечами и положил автомат на камень.

Предупредил меня:

– Снято с предохранителя. – И, уже просовываясь вслед за Курицем в земляную дыру, как-то не характерно для себя, тоскливо добавил: – Ой, что-то не нравится мне все это…

Мне это, между прочим, тоже не слишком нравилось. Я теперь понимал, почему Леля так не хотела оставаться одна. Одному здесь было попросту страшно. Давила солнечная тишина, давило безлюдье, давила нечеловеческая мерзость болотного запустения. Давили даже комары, зудящие в уши. Уже минут через десять мне стало казаться, что я всеми давно забыт и покинут, что ни Леня Куриц, ни Василек из хода уже никогда не появятся и что я так и буду лежать здесь, сжимая «калашникова», до самой ночи. А там выползет из болота очередная тварь и, недолго думая, сожрет меня с потрохами. Отвратительное это было чувство, непреодолимое, точно психическое заболевание. Того и гляди начнутся какие-нибудь кошмарные галлюцинации, и я буду метаться по кочкам, пока не провалюсь в очередное «окно». Василька теперь нет, вытаскивать будет некому. Я и сейчас поминутно оглядывался, как будто ко мне подкрадывалось некое привидение. Правда, продолжалось это недолго. Еще минут через десять раздался надрывный, как при подъеме в гору, рокот перегретых моторов. Грузовики остановились, видимо, где-то за поворотом, а поперек Садовой, готовясь заключить нас в кольцо, развернулась изломанная цепочка солдат. Они чуть-чуть постояли, вероятно дожидаясь команды, поправили темные, натянутые, несмотря на жару, береты, закатали рукава, расстегнули до пупа серые комбинезоны и пошли по болоту как цапли, лениво выдирая ноги из топи.

Я вздохнул и дал почти бесприцельную очередь из автомата.

Солдаты тут же попадали.

Вот так это у нас и происходило. Они перебирались с кочки на кочку, – проваливаясь и подминая собой пучки жесткой осоки, а я смотрел на это и ничего не мог сделать. Я только время от времени давал осторожную скупую очередь, стараясь, главным образом, ни в кого не попасть, и тогда солдаты падали и довольно долго лежали. Но затем они вновь поднимались и вновь тащились через болото. Продвигались они хоть и медленно, но очень упорно, и остановить продвижение их мне было нечем. На этот счет у меня не было никаких иллюзий. Все должно было закончиться максимум минут через тридцать. Я видел свой дом, стоящий на другой стороне жаркой улицы.

Он накренился, и от фундамента по самую крышу его рассекала черная зигзагообразная трещина. Проходила она точно между окнами Маргариты. Стекла в них высыпались, и темнота нежилых помещений выглядела уродливо. Было странно, но о Маргарите я последнее время практически не вспоминал. И почти не вспоминал о профессоре, квартира которого находилась рядом. И почти не вспоминал о близнецах и жене, пребывавших сейчас где-то под Ярославлем. Все это очень быстро отодвинулось в прошлое. Все это выцвело, стерлось в памяти и уже как бы не существовало. То есть существовало, наверное, но в каком-то другом, недоступном мне измерении. Точно так же, как и полковник, которого я когда-то нашел на ступеньках Канала. А ведь он каждое утро с сознанием собственной значимости, неторопливо шагал по набережной, и в руке его неизменно покачивался портфель с документами. Это было? По-моему, этого не было. Сохранились лишь полуразрушенные корпуса так называемого строения дробь тридцать восемь. Я уже и не помнил, для чего оно, собственно, предназначалось. Помнить было не нужно. Нужно было только постреливать время от времени, чтобы солдаты не шли слишком быстро. Этим я и занимался, стараясь ни о чем больше не думать. А когда кончился магазин автомата, я механически отломил его и вставил новый. Мне это было нисколько не затруднительно. Как будто моими действиями руководил кто-то другой. И я ни в коей мере не удивился, когда из земляного отверстия, дышащего сырой прохладой, перекосившись от напряжения, как гусеница, изгибаясь всем телом, вдруг выбрался Василек и, пробуровив, по инерции вероятно, метра три-четыре ползком, улегся щекой на податливые комья глины.

Причем выглядел он ужасно. Часть лица у него заплыла, и вместо глаза набрякло кошмарное багровое месиво, левая рука неестественно перегибалась назад, а предплечье ее намокло от свежей крови. Однако он по-прежнему улыбался, растягивая бледные губы, и здоровой правой рукой придерживал свою динамо-машину.

Он сказал, не открывая второго глаза:

– Ну как, Николай Александрович, вы здесь, еще живы? Если живы, то, пожалуйста, крутаните вот эту ручку. Сам я, к сожалению… уже сил не хватает…

– А где Куриц? – спросил я, вероятно, не к месту.

И Василек застонал, словно вопрос причинил ему дополнительные страдания.

– Крутите, крутите! Неужели вы думаете, что я бросил бы Леонида Иосифовича? Никого там больше не осталось, я – один…

Ну так что? Вы можете это сделать?..

Еще какое-то время он ждал, по-прежнему не открывая второго глаза, сморщенные веки его дрожали, как будто были пришиты друг к другу, а потом он опять мучительно застонал, по-видимому не сдержавшись, сверхъестественным усилием приподнялся, ухватил зубами корпус динамо-машины, не очень ловко, но резко повернул ее маховик здоровой рукой и немедленно после этого рухнул обратно, точно подстреленный.

– Отлично, – пробулькал он прямо в глину.

И ничего не произошло.

Я думал, что сейчас содрогнется земля, вспучится откуда-нибудь из-под Сада огромное черное облако, посыплются сверху камни и куски деревьев. Но ничего этого не произошло. Почва слегка колыхнулась, и все. А из подземного хода раздался печальный вздох. Я даже решил, что где-то повреждено соединение. Однако уже в следующую секунду увидел, как вырываются из болота белесые пузыри воздуха, как они звонко лопаются, будто трясина закипает в огромной кастрюле, как вылетает из них желтоватый пар, наверное очень едкий и очень горячий, и как в панике откатываются солдаты – обратно, на твердь асфальта.

Значит, у нас все-таки получилось.

– Получилось, – сказал я Васильку с невольной радостью.

Однако Василек мне уже не ответил. Он лежал на спине, каким-то образом ухитрившись перевернуться, уцелевший глаз его теперь был широко открыт, и пронзительно-яркий голубой зрачок смотрел прямо в солнце.

4. Сад и Канал

Самый короткий путь был, конечно, через Фонтанку. Пробираться сквозь центр, где под каждым метром асфальта могла разверзнуться болотная пустота, было слишком опасно. Тут Леля со мной согласилась. Однако уже от перекрестка Садовой с Вознесенским проспектом, куда мы в конце концов снова выбрались, стало видно, что большое многоэтажное здание, в котором, по-моему, располагался какой-то техникум, полностью обрушилось и перегородило хаотическими обломками почти всю мостовую. А пока мы стояли, прикидывая, не лучше ли обойти это место – как-нибудь, например, по Садовой, уже другое здание, позади нас, с эркерами и балкончиками, нависающими над тротуаром, вдруг, точно одежду, с шорохом сбросило с себя штукатурку, а обнажившиеся кирпичные стены заколебались и сложились как карточный домик. Асфальт вздрогнул. Поднялось из глубины квартала ватное облако пыли.

– Нет-нет, только не туда, – сразу же сказала Леля.

Она достала из кармана скомканный носовой платок, послюнявила его и осторожно потерла щеку. А затем потрогала это место пальцами.

– Что там у меня на лице? – добавила. – Больно.

Я в свою очередь тоже достал мятый платок и осторожно потер.

– Ничего особенного. Просто ссадина…

– Жжет, – пожаловалась Леля. – А все-таки неужели ничего нельзя было сделать? Извини, но мне кажется почему-то, что он еще жив: лежит там сейчас совершенно один, может быть, раненый, посреди болота, и кругом – только трясина. Испарения всякие, ряска, осока почему-то шевелится… – она медленно прикрыла и вновь открыла глаза. – Ладно. Надо идти. Я знаю, что я все выдумываю. Он, конечно, погиб. Я видела, как земля на том пятачке осела. И между прочим, он поступил совершенно правильно. Ведь так?

– Так, – подтвердил я.

– Тогда пошли.

– Пошли.

– Но это был очень красивый город, – вдруг сказала Леля.

Кое-как мы перебрались через развалины. Леля спотыкалась, и мне то и дело приходилось ее поддерживать. Больше всего я боялся, что она провалится в какую-нибудь присыпанную щебнем расщелину. К счастью, все обошлось. Она лишь слегка поцарапала локоть об один из каменных блоков. Ранка, на мой

взгляд, была совсем пустяковая. Мы пересекли Обводный канал и по безлюдному, наверное, безымянному переулку обогнули территорию, прилегающую к вокзалу. Углубляться в железнодорожные дебри мы не рискнули. Мы просто шли вдоль пакгаузов, пока они не начали сменяться однотипными серыми пятиэтажками. Собственно город здесь уже заканчивался. Леля была права. Это был действительно очень красивый город. Я вспомнил, как горит от закатного солнца шпиль Петропавловской крепости, как темнеет прозрачная синева на площади перед Эрмитажем, как блестит зеркальная заколдованная вода в каналах и как разгорается тихий волшебный свет, предвещающий белые ночи. Замирают подъезды. Цепенеют в торжественной тишине улицы и переулки. Эхо случайных шагов парит в воздухе…

Ничего этого больше не будет.

Я ощущал болезненную ноющую пустоту в сердце.

– Что-то закончилось, – негромко сказала Леля. – Не могу объяснить это словами, но чувствую – что-то закончилось. Что-то перестало существовать. Я не знаю, будет ли у нас еще что-нибудь. Может быть, уже и не будет. Но что-то определенно закончилось. Раз – и все.

– Да, – сказал я.

Я чувствовал то же самое. Действительно что-то закончилось.

И закончилось, по-видимому, навсегда.

– Пошли, – сказал я.

Здесь, среди новостроек, было ничуть не лучше, чем в центре города. Кварталы одинаковых серых домов давили на нас тупой однообразной унылостью. Словно строили их не люди, а некие механические существа. А построив, навсегда утратили к ним интерес. Во всяком случае, выглядело это именно так. Висели лопнувшие провода. Стояли троллейбусы с разъехавшимися в разные стороны штангами. Двери многих парадных были сорваны точно вылетевшим изнутри ураганом, и оттуда гнилыми тухлыми языками выплескивался квартирный мусор. Валялись матрасы, игрушки, обувь, вспоротые чемоданы. Впечатление было такое, словно район подвергся целенаправленному разграблению. Я никак не ожидал подобной картины. Насколько я знал, ни «явления», ни какие-либо «прорывы истории» новостройки не задевали. Тут не бродили «мумии» и не падали замертво птицы, сожженные душным солнцем, не разваливались, набухая, здания и не трескалась от железной травы корка асфальта, тут не свирепствовала гроза и не образовывались многокилометровые торфяные болота. Тут все было как обычно. Тут даже коммунальные службы работали вполне нормально.

Во всяком случае, если судить по сводкам, которые я читал. И тем не менее жители эти районы покинули.

– Кладбище, – передернув плечами, сказала Леля.

Она была права. Я опять чувствовал то же самое. Солнце стояло уже высоко, и болотный зыбкий туман, царивший в городе, незаметно рассеялся. Распахнулось от горизонта до горизонта синее небо, дул слабый ветер и приносил откуда-то полузабытый мной свежий лиственный запах. Однако ощущение было именно как от кладбища.

Хотя как раз здесь, в новостройках, мы встретили первых живых людей.

Это произошло неожиданно. Мы брели по широкой улице, ведущей куда-то к юго-востоку – я предполагал, что таким путем будет проще выйти из города, – и вдруг неподалеку от стеклянного магазина с надписью «Промтовары» нам навстречу вынырнули трое мужчин в рабочих комбинезонах. Причем все трое были коренастые, плотно сложенные, очень угрюмые, чем-то даже, как братья, разительно похожие друг на друга, в тяжелых армейских ботинках, с ломиками в руках, и у каждого за спиной висело по довольно объемистому рюкзаку.

Они увидели нас и остановились как вкопанные.

Мы тоже остановились, и вдруг мгновенная ниточка холода продернулась у меня между лопаток. От этих людей исходила какая-то опасная напряженность. Хотя они ничего такого не делали, просто стояли и внимательно смотрели на нас.

Видимо, тоже не ожидали здесь никого встретить.

– Ого! – наконец сказал старший.

Я сунул руку в карман и вытащил пистолет. Я не стал им демонстративно размахивать, наводить на кого-либо и произносить угрожающие команды. Я чувствовал, что здесь это не нужно. Я просто держал его у бедра, так, чтобы видели.

На всякий случай.

И у них, вероятно, тоже с собой что-то было. Старший мужчина также без лишней спешки сунул руку за пазуху. Но доставать ничего оттуда не стал. Наверное, передумал. Только все трое как-то совершенно одинаково передернулись и снова замерли.

Впрочем, больше ничего не произошло.

Старший мужчина вполне миролюбиво покашлял.

– Ну как там обстановка? – вежливо, приглушенным голосом спросил он.

– Плохо, – сказал я.

– Призраки, мертвецы?

– Всякое попадается…

– А радиация? – быстро спросил старший мужчина.

– Что – радиация?

– Ну, говорят, там – радиация просто чудовищная.

Я пожал плечами:

– Это, по-моему, ерунда. Я, по крайней мере, ничего об этом не слышал.

Двое крайних мужчин сразу же посмотрели на старшего. А тот прищурился, видимо что-то прикидывая, и усмехнулся:

– Значит, нет радиации?

– Нет.

– Ясненько. Тогда – извините за беспокойство…

Все трое тут же одинаково развернулись и, ступая след в след, ушли в просвет между домами.

Шаги их стихли.

– Могильщики, – сказала Леля.

И снова она была права. Это были могильщики. Те, которые сейчас хлынут в город и разорят его окончательно. Так что, наверное, уже ничего не останется. Пустошь, болотистая равнина…

Может быть, это и к лучшему.

– Ну, чего ты? Пошли-пошли, – нетерпеливо сказала Леля.

Затем мы еще довольно долго брели новостройками. Простирались они, казалось, до умопомрачающей бесконечности. После каждого пройденного нами квартала я думал, что этот уже последний, но за группами блочных параллелепипедов открывались все новые и новые микрорайоны. Здания вокруг торчали как спичечные коробки. Разбегались проспекты, нависали над перекрестками улиц железнодорожные виадуки. В окнах бесчисленных этажей блистало солнце. Раньше я и не подозревал, что город, оказывается, так сильно разросся. Было в этом что-то пугающе ненормальное. Ничего удивительного, что сердце его в конце концов не выдержало. Сознание омрачилось, и каменная его душа начала распадаться. Воцарилось небытие, у которого пока еще не было имени. Что-то закончилось. Что-то закончилось навсегда. Я не знал, как это правильно сформулировать. Чтобы правильно сформулировать, нужны какие-то силы. А никаких сил лично у меня больше не было. Я едва переставлял ноги по безжизненному асфальту. Очень тяготила солнечная духота. Ослепляло надрывное, зыбкое, августовское, пыльное марево. Жара от блочных громадин исходила просто убийственная. Леля постанывала и непрерывно, как рыба, вынутая из воды, хватала ртом воздух. Воздуха нам, конечно, явно недоставало. Я уже начинал подумывать, что неплохо бы, наверное, найти какое-

нибудь временное укрытие. Может быть, например, в одном из брошенных магазинов. Отдохнуть немного, поесть, подремать слегка, пока не ослабнет дневная жара. Правда, тогда придется идти через город в сумерках. А идти в сумерках, пусть даже через относительно спокойные новостройки, мне совсем не хотелось. Кто его знает, что может произойти в сумерках… К счастью, эти мои колебания продолжались не слишком долго. Мы пересекли какую-то речку, и новостройки вдруг начали постепенно отодвигаться назад. Они отодвигались, отодвигались и наконец совсем отодвинулись, даже изрядно уменьшились, превратившись в разнокалиберную череду, прикрытую дымкой. Унылая асфальтовая дорога тоже закончилась. Как-то неожиданно раскинулись по обе стороны бескрайние луговые просторы. Кое-где среди них виднелись ровные грядки с картошкой. Пахло землей, горячими травами, сыростью, наверное, близкого водоема. Далеко на горизонте синела мрачноватая кромка леса. До него было, по-видимому, километров десять-двенадцать через громадное поле. Здесь мы поняли, что идти дальше уже не можем, и в изнеможении, не сговариваясь, повалились на траву рядом с какой-то канавой.

Через некоторое время Леля сказала:

– Вот интересно, я всегда думала: а что находится там, за пределами города? Мы ведь об этом почти ничего не знаем. Мы знаем только каменные дома, дворы, площади, улицы, набережные, каналы. А ведь существует еще целый мир, который гораздо больше, чем этот город. Целый мир, и в нем живут миллионы и миллионы разных людей. Мы ведь о них даже не подозреваем. А они в свою очередь так же не подозревают о нас. Может быть, они живут и не лучше, чем мы, но как-то иначе. И меня почему-то всегда интересовало – как именно? Мы ведь действительно ничего об этом не знаем. Мы как будто с рождения были заключены в странную каменную скорлупу. А теперь эта скорлупа разрушена, и мы не знаем, как жить. Но я думаю, что на самом деле ничего страшного не произошло. Город погиб, зато открылся весь мир. Что-то кончилось, зато что-то и начинается. Извини, я не могу сейчас сказать точнее. Я сама этого не понимаю, я только чувствую. Главное, что перед нами открылся весь мир. Вот мы сейчас с тобой отдохнем чуть-чуть и пойдем дальше. И, знаешь, пойдем, пойдем – пока не придем куда-нибудь…

– Ладно, – тоже через некоторое время сказал я.

Ничего другого все равно предложить было нельзя. Я вообще не мог больше ничего предложить. Я лежал, и меня обволакивала сладкая, расслабляющая, как после болезни, дремота. Точно

дурные воспоминания, отодвигалось прошлое: «мумии», болото, обстрел на Невском, свихнувшиеся генералы… Василек, Маргарита, Леня Куриц, профессор… Было жарко, и где-то неподалеку трещали свихнувшиеся кузнечики. Медленно ползла по траве тень ватного облака. Крепенький муравей побежал у меня по ладони и – сорвался, видимо не удержавшись.

Не знаю точно, сколько эта дремота длилась, но вдруг Леля цепко схватила меня за плечо.

– Посмотри! – радостно сказала она.

Я приподнялся на сведенных локтях:

– Что?

– Вон там!

Честно говоря, я не поверил своим глазам. Поперек травяного луга, мелкими всхолмлениями поднимающегося к горизонту, между фиолетовых костерков и крупных ярких ромашек, будто чудное, вылезшее из детских снов насекомое, пробирался, нисколько, по-моему, не торопясь, желто-красный автобус. Самый обыкновенный автобус – из тех, что совершают рейсы между деревнями.

Он норовисто рыскал, видимо объезжая ухабы, как бы немного проваливался и то и дело пропадал за кустами. А потом появлялся снова и полз, направляясь к нашей дороге. Вместе с порывом ветра долетел рокочущий отзвук двигателя.

– Автобус, – изумленно сказала Леля.

– Автобус, – не менее изумленно подтвердил я.

Леля тут же вскочила на ноги:

– Поехали!

– А куда он идет?

– Не все ли равно?..

Мы побежали по дороге вперед. Леля время от времени останавливалась и махала рукой. На бегу она оглянулась и крикнула:

– Видишь, как нам повезло?

Я оглянулся тоже и, зацепившись за что-то ногой, чуть было не покатился в канаву.

Высоко над распластанным по равнине безжизненным, серым городом поднимались большие клубы пузырчато-красного дыма. Они перетекали в пустотном воздухе, стремительно уплотнялись и, как застывающий пластилин, приобретали фигурные очертания. Вот из раскаленной багровости высунулась одна когтистая лапа, за ней – другая. Далее – бородавчатая, дикого облика морда.

Зверь поднимался над миром.

– Повезло, – сказал я одними губами.

Автобус тем не менее приближался.

Пассажиров в нем почти не было, и я надеялся, что он нас захватит.

notes

Сноски

1

Amada (*исп.*) – возлюбленная.